# Переворот

# Джон Апдайк

Посвящается моей матери,

коллеге-писательнице и любительнице дальних краев

Не проходила ли над человеком такая пора, когда он был вещью...

Коран, Сура 76

## I

Моя страна Куш, зажатая между неокапиталистическими марионеточными образованиями, государствами Зандж и Сахель, — совсем маленькая для Африки, хотя и больше любых двух государств Европы. Северная ее половина занята Сахарой, а на юге естественной границей, не проложенной по французской линейке, является одна-единственная река Грионде, позволяющая вести скромное оседлое сельское хозяйство. Главный предмет экспорта — земляной орех; эти ценные плоды вышелушиваются тоннами и дробятся деревенскими женщинами в ступах, существующих с незапамятных времен, или же в древних прессах, изготовленных в Лионе, затем полученное масло перевозится в кадушках караванами верблюдов или на разболтанных грузовиках в Дакар, откуда оно морем плывет в Марсель, чтобы стать основой для производства эротически изогнутых, с сильным запахом кусков мыла, предназначенного не для моих от природы пахучих и доброжелательных соотечественников, а для антисептически чистых уборных Америки — Америки, этого источника непотребства и сверхдостатка. Наше масло земляного ореха проезжает на Запад такое же расстояние, какое наши предки в ошейниках, натиравших им шею до яремной вены, проходили под бдительным оком арабских работорговцев на Восток, где с рынков Занзибара попадали в гаремы и в сторожевую охрану дворцов Персии и Китайского Туркестана. Так Куш простирал свои невидимые крылья над миром. По океану пустыни между северной границей и Средиземноморским побережьем протекал когда-то ручеек торговли — соль меняли на золото, мера за меру; сейчас тишина здесь нарушается лишь шведскими плейбоями, спасающимися от холода и скуки на своих «вольво», которые быстро отдают все семь слоев краски колючему песку, а всепоглощающий вой харматтана[[1]](#footnote-1) заглушает рев их моторов. Они превратятся в скелеты прежде, чем сдохнут их батареи. Не Аллах ли расправляется так со всеми неверными пришельцами!

К югу от Грионде, где раскинулись леса, живут голые люди и звери, царят лихорадка и хаос. Там лучше не бывать. Если кушит попадает туда, у него начинается mal à l'estomac[[2]](#footnote-2).

Куш — край изысканной, чудесной пустоты, сохранивший название исчезнувшего царства, основанного потомками Куша, сына Хама, внука Ноя. Их царственное семейство, изгнанное в четвертом веке христианскими ордами Ахсума из земель Верхнего Нила, покинуло Мероэ, знаменитое месторождение железа, и перебралось на пустыри Кордофана и Дарфура, а затем дальше на запад, преследуемое по иссохшим саваннам дьяволами пыли; цари создавали красные города, не отличимые по цвету от камней, пока их уже ничего не значившее имя, остаток величия, не было спасено от забвения в 1968 году нашим революционным советом и им не наделили — вместо ненавистного Нуар — эту пустую голодную страну, удаленную на столько же миль, на сколько и лет, от первоначального, уже превратившегося в эхо Куша: Африка преподнесла Египту фараонов черное зеркало, и в нем был Куш.

Столица Истиклаль была названа так в 1960 году после получения независимости, а на более ранних картах именовалась Кайльевиль, в честь путешественника, который пересек Сахару в 1828 году, вымазал лицо коричневой краской, научился произносить несколько примитивных фраз по-арабски и стал европейской знаменитостью, пристроившись к каравану, следовавшему из Тимбукту в Фез, и делая то, что сотни невоспетых берберов делали на протяжении столетий, он же обзывал их животными, но при этом наслаждался громкой славой, пользуясь их доверчивым гостеприимством. До того как французы в 1905 году (чтобы воспрепятствовать продвижению британцев из Судана) создали эту страну, назвав ее Нуар, то есть Черной, земли по обе стороны реки были мало известны и упоминались как Ванджиджи. Арабский торговый город Аль-Абид, в значительной мере утративший былую славу, приютился за просторным бело-зеленым Дворцом управления нуарами, скопированным с Лувра; теперь в его многочисленных крыльях разместились кабинеты нынешнего правительства, Народный музей зверств империализма, школа для девочек, имеющая целью вытравить влияние образования, полученного в христианских миссиях, и тюрьма для политически заблуждающихся.

Территория Куша составляет 126 912 180 гектаров. Густота населения — 0,3 человека на гектар. На северных просторах страны его практически невозможно подсчитать. Появившаяся вдалеке фигура сливается с землей, как голубой ястреб сливается с небом. По стране проложено двадцать две мили железных дорог и сто семь миль шоссейных. Наша государственная авиакомпания «Эр Куш» имеет два «Боинга-727», которые вызывают изумление, когда они, сверкая, скользят над такими же сверкающими жестяными лачугами возле аэропорта. Помимо земляных орехов, здесь выращивают просо, сорго, хлопок, ямс, фиги, табак и индигоноски. Акации дают пригодный для продажи гуммиарабик. Местные жители весьма изобретательны в получении дохода от баобаба: они ткут циновки из его волокнистой сердцевины, вьют веревки из внутренней части коры, варят кашу, клей и средство от дизентерии из мякоти его плодов, а из удлиненной скорлупы делают ковши для воды, выжимают кислый освежающий сок из семян и в тяжелые времена даже варят листья, превращая их в подобие шпината. А когда времена бывают не тяжелые? Молодые баобабы обгладывают козы, так что для обработки остаются лишь старые гиганты. Стада, которые разводят кочевники, жестоко пострадали от засухи. Последний слон, обитавший к северу от Грионде, расстался с жизнью и со своими бивнями в 1959 году, издав такой трубный звук, эхо которого звучит до сих пор. В народе говорят: «Тубабы прихватили и его большие уши». И в Сахеле, и в Зандже есть немалые залежи бокситов, марганца и других полезных минералов, а в Куше из всех известных минералов, помимо серной жилы высоко в Булубских горах, есть лишь латерит, что делает большие участки земли непригодными для земледелия. (Я свободно переписываю эти факты, сидя у моря, из старого «Ежегодника государственного мужа», так что они, возможно, уже устарели.) На севере были в свое время солевые города, населенные рабами, которые совокуплялись, молились и умирали среди вечного слепящего сверкания, — эти поселения старателей, над которыми стояли надсмотрщики-туареги в синих одеждах, остались теперь лишь в воспоминаниях. Но даже воспоминания стираются в этой стране, которая на карте похожа на угловатый Череп, где на месте мозга — бесплодная пустыня. На землях вдоль неровной линии нижней челюсти, образованной меняющей русло бурой рекой, правил король, Повелитель Ванджиджи, чье тело, будучи гранью божества, излучало такой свет, что было отделено от допущенных до аудиенции занавеской из золотых чешуек, дабы не ослепить их; этот король, посаженный на трон в качестве конституционного монарха в 1956 году и вынужденный отказаться от него после революции 1968 года, ныне почти забыт. Завоеватели и правительства остаются в памяти народа в виде смутных слухов, подобно актерам, выступавшим в больничных палатах. Право, куда ни посмотри, милосердие в мире переплетается с бедой.

В природные ресурсы Куша, пожалуй, следует записать наши болезни — их целая сокровищница, включающая, помимо голода и его следствия водянки, детскую пеллагру, малярию, тиф, желтую лихорадку, сонную болезнь, проказу, бильгарциоз, онхоцеркоз, ветрянку и невенерический сифилис. Постепенно гений науки справляется с этими болезнями, но тогда сама человеческая жизнь становится болезнью перетруженной, выветренной земли. В среднем протяженность жизни в Куше равняется тридцати семи годам, валового национального продукта на душу населения производится на 79 долларов, грамотность составляет 6 процентов. Официальная валюта — лю. Флаг — гладкий зеленый. Форма правления — конституционная монархия, при этом действие конституции приостановлено, а монарх низложен. Исполнительную власть на переходный период осуществляет Чрезвычайный Верховный Революционный и Военный Совет (ЧВРВС), состоящий из одиннадцати членов; он же является законодательным органом. Все свои решения Совет принимает исходя из положений чистого и окончательно победившего социализма, каким представлял его себе Маркс, и теократического популизма реформаторских направлений ислама того периода. Председателем ЧВРВС и главнокомандующим вооруженными силами, а также министром национальной обороны и президентом Куша был (согласно «Ежегоднику государственного мужа» *является* ) полковник Хаким Феликс Эллелу, то есть я.

Однако дисциплинированность солдата, не позволяющая высовываться, мое картезианское образование и традиционно подавляемое африканское эго — все это требует, чтобы я вел рассказ от третьего лица. Существует два естества: то, которое действует, и «я», которое все пропускает через себя. Это последнее безучастно, даже когда первое находится в вихре действия, — оно невинно и в изумлении пассивно взирает на происходящее. Историческая фигура по имени Эллелу представляет для меня не меньшую тайну, чем для американской прессы, которая если и показывала Эллелу, то фальшиво, а падение его отметила настоящим фестивалем антинегритянских, антиарабских карикатур, — вот так же в осеннюю субботу или воскресенье накачавшиеся пивом тупицы американцы разражаются радостными кликами, когда игрока из чужой команды выносят с поля с раздавленной ногой. Тело Эллелу и его карьера таскали меня туда-сюда, — я никогда не знал зачем, но подчинялся.

Нам известно о нем немногое: он был невысокого роста, подтянутый и черный. Родился в 1933 году от женщины из племени салю, изнасилованной нубийским солдатом-налетчиком. Салю — оседлое племя, живущее на западе, в предгорьях, где выращивают земляной орех. Мать Эллелу, крупная, властная женщина из рода Амазегов, стала по праву наследия женой мужа сестры своего мужа, которого убили в ту ночь, когда ее изнасиловали. Земля, на которой растут земляные орехи, коричневая, перисто-коричневая, как выдернутые из нее кусты, которые сушат ценными плодами вниз, складывая их двухметровыми ометами, и Эллелу с самых первых дней — возможно, глядя на эти странные плоды, которые могут созревать лишь под землей, — не желал выделяться. На людях он всегда носил все коричневое, цвета своей военной формы, безо всяких регалий, и выглядел так же однородно и неназойливо, как сама земля, коричневая саванна, переходящая в пустыню. Даже реки в Куше коричневые и становятся голубыми лишь на миг, когда потоки ливня, кипя, с грохотом несутся вниз по вади, но внезапно ожившая в сезон дождей зелень скоро накрывает их пеленой пыльцы. Следуя предубеждениям Пророка, Эллелу не позволял себя фотографировать. Его изображения в цвете сепии в витринах магазинов и в учрежденческих коридорах Истиклаля, засиженные мухами, были официальными и невыразительными. Единственное разнообразие в его костюм вносили — по случаю некоторых событий государственной важности — сверхзащитные и затрудняющие узнавание солнечные очки фирмы под странным, названием «Noir»[[3]](#footnote-3). Говорили, что такая анонимность была его оружием, позволявшим ходить в народ под видом нищего и шпионить на манер знаменитого калифа Гаруна ар-Рашида. Полковник Эллелу был истым мусульманином. У него было четыре жены, и он (так говорили) не удовлетворял ни одну из них — настолько всеохватна была его любовь к иссушенной земле Куша.

В семнадцать лет, стремясь вырваться из суровых условий деревенской жизни, где из-за своего незаконного рождения и вдовства матери он занимал отнюдь не престижное место, он записался в Troupes coloniales, то есть в колониальные войска, и затем отправился служить во французский Индокитай, где пробыл до разгрома полковника де Кастри под Дьенбьенфу в 1954 году — к этому времени Эллелу уже дослужился до звания сержанта. В бою он обнаружил, что обладает полнейшим спокойствием, и это показалось его начальникам достойным похвалы. На самом же деле такое поведение объяснялось психологией земляного ореха. В самых тяжелых ситуациях, даже когда орды генерала Жиапа в четыре раза превышали число защитников крепости, а отвращение азиатов к чернокожим проявилось в истреблении черных солдат, Эллелу верил, что тупое терпение спасет его от града пуль. Во время следующей кампании, когда его дивизия участвовала в братоубийственной войне со сторонниками независимости Алжира, в военных документах не просматривается следов Эллелу. Он вновь выходит из тени около 1959 года в ранге майора в качестве атташе при короле Эдуму IV, Повелителе Ванджиджи. Провал галльских империалистов в их ставке на Бао Дая не окончательно испортил им вкус к марионеточным монархам. Королю было тогда за шестьдесят, из которых двенадцать лет он провел под домашним арестом, наложенным колониальными представителями Четвертой республики за его предполагаемое сотрудничество с вишистским правительством Нуара и его германскими спонсорами, — он испытывал тем больший стыд, что у него перед глазами был пример героического сопротивления, организованного на юге Феликсом Эбуе из Французской Экваториальной Африки. Эллелу продолжал оставаться близким сподвижником короля и либерально-буржуазного элитарного правительства, которое король наделил своей потускневшей властью, вплоть до переворота 1968 года, когда он, хоть и был вторым лицом при горько оплаканном народом герое, генерал-майоре Жан-Франсуа Якубу Соба, сыграл решающую, правда, весьма подозрительную, роль. В 1969 году Эллелу стал министром информации, позже в том же году — министром обороны, а после успешного убийства генерала Соба в двенадцатый день Рамадана — президентом. Согласно «Ежегоднику государственного мужа» у него есть квартира в грандиозном правительственном здании, построенном французами, и другая квартира в казармах Собавиля. Жены его живут в четырех отдельных виллах в пригороде, который, как и в дни империалистического порабощения, все еще называется Ле Жарден. Похоже, Эллелу придерживается того, чтобы никогда не находиться в определенное время в определенном месте. Больше узнать что-либо о легендарном руководителе страны и представителе третьего мира довольно трудно.

Почему король любил меня? Я с тревогой задаю себе этот вопрос, вспоминая его изрезанное бесконечными морщинами лицо в окружении жестких седых волос, похожее по цвету на черноту высохшей фиги; то, как он кивал и кивал, словно голова его была смонтирована на дрожащей пружине, как крякал от веселья или алчности, точно раздавленная ногой дорогая коробка, как чуть колыхались, жестикулируя, его маленькие, до нелепого унизанные драгоценностями руки, настолько не тронутые работой, что они казались двухмерными, как они взлетали в безнадежном веселье и печали, словно завихрения пыли на улице. Его светлые глаза, не голубые и не карие, а скорее зеленые, поблекли от слепоты, став желтыми, как у кошки, и всегда напоминали мне, что его династия пришла с севера, — эти исполненные презрения чужестранцы, хоть и темнокожие, наглые захватчики, сами сбежавшие и принесшие с собой нечто хуже личной жестокости — страшное представление о неумолимо уходящих времени, истории, оставляя нас с мыслью, что живем мы и умираем бесцельно, бессмысленно. Что видел этот слепец, глядя на меня? Я могу лишь предполагать, что среди столь многих личных проблем, озабоченный планами собственного благосостояния, благосостояния своих кланов и кланов своих жен, он видел меня в новом цвете — я был окрашен краской патриотизма. Эта случайно образованная аморфная страна, полученная им от французов, эта краюха земли с границами, очерченными анонимным картографом на бесславной Берлинской конференции в 1885 году и десять лет спустя более жестко установленными в качестве оккупированной военной зоны, не получившей мирного статуса вплоть до 1917 года и по сей день находящейся с ее стройным населением красивого шоколадного цвета в закладе у Банка Франции, — этот край, обозначенный не на каждой карте, что он такое? Исторически существовавшее королевство Ванджиджи расширялось, а потом сжималось, как желудок, который столетиями не получал пищи; к тому времени, когда галлы — по таинственному наущению де Голля — отказались от колониального господства и создали организацию, с помощью которой можно исподволь управлять страной, Ванджиджи превратилась в название и в предмет первостепенной важности в голове одного старого узника. И он, в свою очередь, увидел во мне, беглеце, вернувшемся, пылая приобретенными благодаря знаниям страстями, то, чего не обнаруживал в себе: представление о судьбе Куша.

В год Пророка 1393, что по комической арифметике неверных считается 1973, в конце сезона дождей, который был на редкость сухим, президент отправился навестить короля. Народ считал Повелителя Ванджиджи мертвым, казненным вместе со своими министрами и двоюродными братьями в те первые пьянящие месяцы революции во внутреннем Дворе Правосудия, где ныне девочки из Антихристианской школы играли в хоккей и волейбол. А на самом деле короля Эдуму втайне держали пленником во Дворце управления нуарами, где вдоль стен бесконечных коридоров на уровне костяшек пальцев идущего человека тянулась, наподобие внутреннего горизонта, зеленая полоса. Пол был усеян осыпавшейся с потолка штукатуркой там, где еще уцелело несколько застывших завитков ар нуво. В постоянно царившей здесь полутьме солдаты отдавали честь проходившему по коридорам диктатору, а их наложницы, вскрикнув и взвихрив лохмотья, ныряли в двери кабинетов, превращенных в казармы. В этот час запах паленых перьев несся из комнат, где некогда клерки с усиками, словно прочерченными пером, выстраивали паутину надуманных приказов. Из апартаментов короля, возле которых стояла стража, веяло ароматом клевера и доносилось монотонное чтение Корана. Пытаясь развеять скуку своего заключения, а возможно, и снискать расположение пленившего его фанатика, старик обратился к истинной вере, и азан перед наступлением вечера читал ему суры, в которых описывается рай: «Для неверных мы приготовили кандалы с цепями и пылающий огонь. А правоверные будут пить из чаши, окунутой в фонтан амброзии из бьющего ключом источника, у которого освежаются слуги Аллаха...» Старый мерзавец чаровник раньше гордился своей варварской любовью проливать кровь и менять свое окружение, и, когда французы ослабляли контроль, он, пользуясь привилегией короля, казнил людей. Особенно страдали от этой его прихоти молодые наложницы. И хотя из окон дворца доносились их крики под топором, которые не удавалось заглушить даже с помощью подушек, у него никогда не было недостатка в созревших для супружества, трепещущих, полногрудых заместительницах с кожей цвета оникса, которые появлялись в его дворце под нажимом жаждущих угодить ему семей, а также под влиянием чего-то близкого к тяге к самоубийству и какой-то ненасытности, таившейся под влажным страхом в них самих. «Они будут возлежать на мягких диванах, не чувствуя ни палящей жары, ни жестокого холода. Деревья будут простирать над ними свою тень, и плоды гроздьями висеть над ними». Обитель короля освещал глинистый свет клонящегося к закату солнца. Король знал поступь Эллелу и величественным жестом божества дал знать своему чтецу, юноше из племени фула в сливово-красной феске на бритой голове, чтобы тот умолк.

Король никогда не был крупным мужчиной, а теперь и вовсе усох. Только его маленький горбатый нос не претерпел с ходом времени изменения и торчал посредине лица словно одинокий фрукт на куске торта, поданном на щербатой тарелке. Его лишенные глубины желтые глаза быстро двигались и, казалось, все еще видели. И действительно, осматривавший короля доктор сообщил, что он по-прежнему способен различить резкое движение и увидеть свечу, если она поднесена так близко, что может обжечь ему брови.

— Сиятельнейший из сиятельных, — начал Эллелу, — твой недостойный представитель приветствует тебя.

— Нищий приветствует богача, — ответствовал ему король. — Чему я обязан такой чести — твоему посещению, Эллелу, и когда я буду освобожден?

— Когда Милосердный сочтет твой народ достаточно сильным, чтобы выдержать твое правление.

Они разговаривали на арабском языке, пока напряженность разговора не вынудила их перейти на французский. Все языки, на которых они говорили, были не первыми для них, а вторыми, так как вандж для одного и салю для другого были языками хижины и деревенского совета, — языками, которым их учили матери и которые исчезли вместе с расширением их мира. Таким образом, эти новые языки казались им неуклюжими масками, в которые они вынуждены были облекать свои мысли.

— Я не прошу, чтобы мне вернули власть, — возразил король, — а просто чтобы разрешили подставить лицо звездам.

— Да звезды тут же запишутся в твои солдаты и приставят копья к нашему горлу, а народ страдает от засухи, и твое возвращение воспламенит его.

— Я не вижу улыбки на твоих устах, Эллелу, но слышу, как издевка корежит твой голос. Изложи цель твоего визита, а иронию оставь Аллаху, в чьих глазах мы как мыши в глазах льва. Есть у тебя дело, достойное того, чтобы потревожить покой нищего старика?

И он опустил руку на колено с легкой грацией, такой обманчивой при тяжести нанизанных на пальцы колец с гранатами, изумрудами и серебряной филигранью. Король, одетый в люнги из полосатого белого шелка, сидел среди подушек и валиков, положив кисти рук симметрично на колени скрещенных ног. Лоб его был перетянут лентой из тканого золота, такой же как занавеска из несравненного металла, которая раньше скрывала от его излучений смертных, осмелившихся явиться к нему с петицией. Давно не стриженые волосы стояли торчком вокруг его головы, словно ореол из шерсти, страшный и комичный. Эллелу с омерзением вспомнил мутные фотографии американских хиппи в истиклальской подпольной газете «Нувель ан нуар-э-блан», этих сынков корпоративных юристов и профессиональных раввинов, которые, желая подчеркнуть нелепую сексуальную распущенность своих реакционных, пропитанных наркотиками душ, которую они путали с действительно необходимой революцией, ходили с повязками на голове в подражание краснокожим, беззастенчиво истребленным их предками.

Глядя на смещенного короля, столь уязвимого, столь нелепо мужественного, Эллелу почувствовал потребность признаться ему, словно непутевый сын пьянице-отцу:

— Я был на севере. И то, что я там увидел, тревожит меня.

— Зачем ты ищешь треволнений? Вождь не должен раздирать себе душу. Он — неподвижный стержень, застывшее солнце.

— Народ голодает. Вот уже пятый год, как нет дождей. Пастухи отбирают просо у своих жен и детей, чтобы накормить скот, а животные все равно падают и их раздирают из-за мяса, которое едва покрывает кости. Я видел, как на пир слетаются хищники, их забрасывают камнями и съедают. Люди едят полевых и летучих мышей, едят сцинков и скорпионов, ящериц и муравьев, они обгладывают каркасы, которые оставляют даже шакалы. Волосы у детей делаются оранжевыми. У них пучатся глаза и животы. Головы становятся, как черепа мумий, спекшихся в песках. Когда они от слабости перестают даже хныкать, наступает самое страшное — молчание.

— Это предшествие молчанию в раю, — с улыбкой заметил король.

И в наступившем их собственном молчании Эллелу понял, что потерпел поражение. У него было такое чувство, что он находится в центре космического поражения, что он не умеет передать реальность страданий, как и не желает предотвратить их. Предоставленный самому себе, без позы и маски, Эллелу онемел, почувствовав весь ужас ответственности, и стал искать вокруг себя человека, с которым мог бы эту ответственность разделить. Человек из свиты короля, читавший Коран, сидел, скрестив ноги, на зеленой атласной подушке, опустив взгляд, держа согнутый палец на странице, которую намеревался перевернуть. Я сразу увидел, что это полицейский офицер, и понял, что мой разговор с королем будет полностью доложен Микаэлису Эзане, моему министру внутренних дел. Понимал я и то, что король в какой-то момент произнесет мудрые слова, чтобы заполнить пустоту, которую сглаживала его улыбка. Когда я находился в числе его придворных, слова короля за ночь наливались смыслом в моем мозгу, как роса наливается на обратной стороне листа. Сейчас мой взгляд обежал его узилище. Хотя тут были предметы из чистого золота, какие способны произвести лишь крайне бедные мастера-фанатики, верящие в загробную жизнь, было здесь много и того, что можно назвать хламом: какие-то рваные тряпки, деревянные прутики, связанные вместе каким-то дурачком словно для игры, мешочки с ароматной трухой, кости и кусочки некогда живой материи, высохшие и почерневшие до неузнаваемости, и просто грязь, особенно скопившаяся в углах, а частично разбросанная нарочно по узорной крышке комодика из слоновой кости, по голове и узловатым, плечам толстенького божка из черного дерева и по резной седловине священной скамьи Ванджиджи. Эта последняя была задвинута боком в угол, одна ее нога, покоящаяся на львиной голове, была сломана и так и не починена. В самом деле, разве можно починить столь священную вещь? Руки мастера дрожали бы, прикасаясь к такой святыне. Тут и там валялись амулеты — цитаты из Корана, часто придуманные, в цилиндриках из коры или кожи, а также пустые чаши, из которых выветрилась жидкость, хранившая души. Возможно, и мою тоже. Как часто, подумал я, разыгрывалась здесь моя смерть и с помощью хрупких построений джю-джю осуществлялся побег короля? У меня похолодели руки при мысли о том, объектом каких горячих молитв я был по всей стране, и страх перед лежавшей на мне ответственностью огромным прозрачным шаром готов был снова накатиться на меня. Я переключил внимание на стены, где висели в рамках портреты, собранные этим королем эклектической чувствительности за годы своего конституционного царствования, когда он выписывал западные журналы: де Голль, Нкрума, Фарук, гравюра, изображающая короля Эфиопии Иоганнеса IV, плакат с Элвисом Пресли в расшитом блестками костюме, Мэрилин Монро, посылающая, округлив губы, поцелуй с ложа из шкуры полярного медведя и, наигранно расчувствовавшись, прикрывшая жирно намазанные веки, а также страница, вырванная из журнала с бодрящим названием «Лайф», что означает «Жизнь» и что, однако, не спасло его от смерти, — вырванная неровно, но помещенная в пышную рамку и изображающая маленькую танцовщицу в лакированных туфельках, которая прыгает, блестя глазами, сознающими, что ее снимают, со ступеньки на ступеньку по лестнице, ведущей в никуда. Рядом с ней стоит пара длинных ног в клетчатых брюках, принадлежащая — к такому заключению я все больше прихожу — черному мужчине, чьи руки скрыты белыми перчатками, а голова не поместилась на странице. Король прервал полет моих мыслей.

— Белые дьяволы, — сказал он, — дают зерно. И молоко в виде порошка. И лекарства, от особой магической силы которых волосы у детей снова могут стать черными.

Не в силах оторвать взгляд от черного танцовщика без головы, я воскликнул:

— Пища из грязных рук — это грязь! Независимый Куш не принимает подачек империалистических эксплуататоров!

— Der Spatz in der Hand, говорили мои старые друзья, ist besser als die Taube auf dem Dach[[4]](#footnote-4).

— Дары приносят люди, люди приносят пули, пули несут с собой гнет. Африка достаточно часто проходила этот цикл.

Король, уступая доводам рассудка, изящно пожал плечами, как делал это до революции, веля покалечить пажа, задремавшего в приемной.

— Твои друзья русские, — сказал он, — щедро шлют к нам шпионов и прошлогодние ракеты. А сами покупают у американцев пшеницу.

— Только для того, чтобы распространить революцию. Американские крестьяне, видя, как их обкручивают, кипят от ярости на грани бунта.

— Мир раскалывается на две половины, — сказал король, — но не так, как нам предрекали, — не между красными и свободным миром, а между толстыми и тощими. В одном месте пища гниет, в другом — люди голодают. Зачем же усугублять недобрую работу природы, которая разделяет эти половины?

— Я не творец этой революции, а ее орудие, — ответствовал я королю. — Это не я, а Куш отказывается от подачки. Больной должен либо выбросить из себя блевотину, либо еще хуже заболеть. Когда произошла революция, задачей Совета — генерала Соба, Эзаны и моей...

Король устало кивнул, предвидя, что за этим последует, — голова его на своей тонкой пружине кивала, кивала.

— ...было не вдохновлять народ, а защищать от его распалившихся страстей капиталистических интриганов, которые с твоей легкой руки заполонили Истиклаль. Если бы не наше вмешательство, их бы всех перебили, не дожидаясь, пока их вышлют.

— Многих и убили. А их тонкогубых жен отправили в гаремы социалистической элиты.

— Твои слова — бессмыслица, — сказал я.

— Позволь сказать тебе о том, что бессмысленно: рука дающего протянута, а у просящего сжата в кулак.

— Святое место для просящего — улица, а не правительственные коридоры.

— Я ежедневно молю дать мне свободу.

— Твоя свобода зависит от того, как хорошо ты спрятан. Я завидую такой свободе.

— Еще бы не завидовать. Смерть людей на севере падает на твою голову. — Король улыбнулся и поднял кверху слепые глаза, похожие на замутнения на дешевом хрустале. — Это хорошо. Люди преклоняются перед Повелителем, который предлагает им умереть. Если бы я не был таким нежным отцом, если бы моя политика не ограждала моих детей от неистовства Абсолюта, они не повернулись бы ко мне спиной. Где бедность, там и драма. Твое правление будет долгим, Хаким Феликс, если сердце твое не смягчится.

Я не мог закончить на этом разговор. И стал приводить свои доводы.

— Сила Куша в его неиспорченности. На землях наших угнетателей разжиревшие миллионы забыли, как следует жить, и обращают свои взоры на обездоленных мира, чтобы вспомнить об этом. У наших границ лежат горы ящиков с американскими товарами, от которых исходит дух отчаяния. Я поехал туда и приказал их сжечь.

— Отсветы столь знакового поступка проникли даже в эту отдаленную пещеру. Я хвалю тебя, полковник Эллелу, властитель лавы и пепла. Только у Сатаны есть подобное царство.

— Ты говорил сейчас как один из его легионов, как тот, чьи глаза все еще не видят света Пророка. Хотя ты делаешь вид, будто исповедуешь ислам, центр твоей веры находится за Грионде, где все еще царят террор и пытки, где джю-джю по-прежнему затуманивает умы людей, а муха цеце отравляет их кровь. Здесь же небо являет нам свой лик. И существует лишь один Бог, невидимый, безликий. Хвала Аллаху, Повелителю миров.

— Благодатному и милостивому, — заключил король. — Ты несправедливо судишь об искренности моей веры. Я считаю ислам прекрасно применимой на практике религией, даже целенаправленной, самой новой в своем роде. Что же до жестокости, то в сельве по ту сторону реки таится несравнимая по силе ярость джихада. Я слеп, но не совсем, как те праведники, которые, подняв глаза к небу, убивают и бывают убиты во имя того, чтобы попасть в рай с тенистыми деревьями, как, я слышу, написано в Коране. — И он повел рукой в сторону чтеца, сидевшего с бесстрастным видом, тихо, как машина, которая ждет, чтобы ее включили. Полицейский шпион был молодой и гладкий, точеные черты его женственного продолговатого лица застыли под сливового цвета феской. — Твое небо, — сказал мне король, — сверкает весь день как лезвие сабли. Дух неба возненавидел дух земли. Твой край проклят, злополучный Феликс. Ты навлек проклятие на этот край своей ненавистью ко всему миру.

— Я только ненавижу существующее в мире зло.

— Ты сжег пищу, тогда как твои подданные голодают. И говорят, что это ты принес на север смерть.

— Один американец покончил жизнь самоубийством. Мы стояли и смотрели — ничего не могли предпринять.

— Это было ошибкой. В Африке о смерти одного белого больше кричат, чем о жизни тысячи черных.

— Ты много слышишь в своей пещере. У меня тоже есть уши, и они слышат, как люди перешептываются, говорят, что старик король где-то живет и втягивает страну за собой в старческое бессилие.

Король неспешно вернул тяжелую руку на колено, на прежнее место — так пепел втягивается в очаг.

— Тогда покажи меня народу — пусть увидят, какой я крепкий.

— Они говорят правду. Ты стар. Ты был уже стариком, когда я был еще совсем молодым.

— Молодым и беспомощным. Кто вытащил тебя из глубокой тени, где ты таился, — таился в таком страхе, что даже забыл языки Куша, кто поместил тебя возле себя, одел в блестящую новую форму и научил, как управлять государством?

— Ответ напрашивается сам собой, мой господин. И то, что ты дышишь и задаешь мне этот вопрос, является достаточным доказательством моей благодарности. Даже когда я был очень молодой, ты лгал, сокращая свой возраст, а с тех пор у целого поколения выросли усы.

— Кого, кроме меня, может волновать мое физическое состояние, коль скоро я больше уже не король?

— Люди, хоть мы и пытаемся их просветить, по-прежнему считают, как считали их отцы, что расстаться с королевским троном можно, только пролив кровь. Естественная смерть короля — позор для государства.

— А ты? Как ты считаешь?

— Я считаю... я считаю, что мы расплатились друг с другом.

— Тогда убей меня. Убей меня на площади перед мечетью Судного дня и покажи людям мою голову. Ороси землю моей кровью. Я не боюсь. Мои предки кипят в земле, как перебродившее вино. Мысль о смерти для меня слаще капающего с дерева меда.

— Люди спросят, почему этого прежде не сделали — в утро Возрождения? Министров и приспешников короля избавили от позора их жизни, почему же его пощадили? Почему все эти пять гиблых лет Эллелу держал в живых душу реакции?

— Ответ прост, — поспешил сказать король. — Из любви. Несвоевременной любви и неполитичной верности труса. Скажи им, что их полковник — человек, в котором много всего скрыто. Скажи им, что не только они, невежественные, цепляются за кровавое безумие джю-джю, но и их вождь тоже, прогрессивный и страстный проводник исламского марксизма, который, чтобы успокоить их страдания, не придумал ничего лучшего, как убить больного старика, узника, бывшего когда-то вождем отсталого, мифического Ванджиджи! — И король рассмеялся, словно пугающе треснул хрусталь, и оцепеневшему Эллелу показалось, что это треснула его судьба. Король заговорил снова — его маленькая, облаченная в шелк фигурка затрепетала, приподнялась, словно на крыльях песни. — Скажи им, что ниспосланное свыше безумие снизошло на их вождя, превратившего Куш в маяк третьего мира, предмет удивления и скандала в капиталистической прессе, источник ликования миллиарда сердец! Но запомни, полковник Эллелу: убьешь меня — и жребий будет брошен. Не будет больше волшебства среди воспоминаний о Нуаре. — Язык подвел его, и он уже шепотом произнес конечное «ре» в ненавистном старом названии страны. В глазах его, лишенных глубины, отражался угасающий свет дня из окна, сквозь стекло которого в облупившейся зеленой раме проникал гнусавый призыв муэдзина к первой молитве салят аль-магриб, — эхо разносило его под безоблачным небом, темневшим как кафельный купол.

— День начался, — сказал король. — Иди в мечеть. Президент должен показывать свою веру.

Когда Эллелу уже шел по коридору, где теперь стоял более сильный запах паленых перьев и гуще, заговорщически звучало бормотание солдат и их подстилок, до него донесся красивый голос молодого чтеца, продолжившего оборванную нить повествования: «Прислуживать им будут юноши, наделенные вечной молодостью, и будут они выглядеть, как рассыпанный жемчуг. И, глядя на эту сцену, ты поймешь, что пред тобою царство блаженства и великолепия»[[5]](#footnote-5).

«Они будут облачены в одежды из тонкого зеленого шелка и роскошной парчи, и украшениями им будут служить серебряные браслеты. Их Повелитель даст им чистую воду для питья». На севере стояла самая настоящая засуха. К полудню первого дня поездки наша компания из трех человек, собравшаяся на заре в гараже дворца, увидела, что бескрайние поля земляного ореха разбиты на участки с жалкими посадками маниоки и маиса, оскорблявшими глаз своим безнадежным видом. Редко попадавшийся крестьянин, обрабатывавший эти каменистые поля, поднимал в знак приветствия костлявую руку, когда наш «мерседес» пролетал мимо, оставляя позади призрачную гору пыли. Глинобитные кварталы Истиклаля с однообразием домишек из высохшей глины, нарушаемым в центре города деревянными фасадами индусских лавок, смесью арабского и индусского, и чудовищами из бетона и стекла, навязанными нам до революции французами, а потом восточными немцами, вскоре растворились, как только мы оставили позади жестяной пригород осевших кочевников за низким, почему-то словно водянистым горизонтом; каменный серо-коричневый покой изредка нарушало удаленное скопление соломенных крыш, окруженных эуфорбией, или печально стоящая у дороги хибара, возле которой ржавая банка на палке рекламировала эту отраву — запрещенное местное пиво. Не раз приходилось нам объезжать скелет жирафа, лежащий поперек дороги, — животное из последних сил притащилось сюда, привлеченное тонкой порослью травы, которая выросла среди этой пустыни благодаря воде, пролившейся из кипящих радиаторов проезжающих машин. Однако за все утро мы не видели ни одной машины. Когда высоко стоящее в небе солнце одолело даже наш великолепный кондиционер, мой шофер Мтеса подъехал к скоплению хижин, построенных из веток акаций, скрепленных глиной и оплетенных колючим кустарником, — эти прибежища уже полчаса маячили на горизонте. Мой охранник Опуку, обследовав спящих обитателей, обнаружил среди них высохшую старуху, которая, ворча, притащила нам несколько матов из рафии и нехотя принесла пересоленный кус-кус. Вода из ее калабаша имела сладковатый привкус и, возможно, была с примесью наркотиков, поскольку мы так крепко спали, что проснулись лишь много позже того, как прозвучала молитва салят аль-аср, да и то не сами, а благодаря молодой женщине, совершенно обнаженной, если не считать остроконечного украшения на носу и ожерелий из волос носорога, — она явно хотела усладить нас дарами своих чар, натертых до ядовитого блеска прогорклым маслом. Эта печальная и грациозная рабыня получила пинок от Опуку, сонное ругательство от Мтесы и поучительную сентенцию от меня о том, как высоко ставит Пророк непорочность в женщинах и как Он призывает мужчин не обижать сироток. Наспех исполнив дневные молитвы, мы дали старухе пригоршню бумажек, именуемых лю и так названных, по утверждению уходивших злобно настроенных французов, потому что их пустили в обращение in lieu[[6]](#footnote-6) твердой валюты. Когда Опуку, человек с бычьей шеей, громоподобным голосом объявил, что я являюсь президентом страны и обладаю властью дарить жизнь и смерть всем кушитам, в доказательство чего Мтеса подъехал на «мерседесе» с развевающимся на крыле зеленым флажком, наша почтенная хозяйка, взвыв, рухнула на колени и, закрыв глаза, чтобы не видеть нашей щедрости, стала умолять смилостивиться. Что и было ей даровано в виде нашего отъезда. Мы поехали в ночь, ночь молочно-синюю, без огней, если не считать внезапно вспыхивавшей вдалеке огненной точки костра, сверкавшего как звезда с неизъяснимой влажной красотой. Было заранее условлено, что мы проведем ночь в районе, именуемом Хулюль, на секретной советской базе.

Ни одна дорога не вела к утопленным в земле бункерам, никакие вентиляционные шахты или входы не выдавали их присутствия. Случайно забредшие сюда вместе со своими верблюдами и козами кочевники, возможно, заметили, что целые акры земли были перекопаны и снова возвращены на место, а возможно, даже наткнулись на выступающие из земли сооружения из цемента и алюминия, замаскированные пластмассовыми кустами терновника и слоновой травой, но когда кочевник чего-то не понимает, он идет дальше, ибо узость ума присуща жизни, которую ведут кочевники и от которой может свихнуться более открытый ум. В определенном смысле от самой земли исходит забвение, она подобна сковороде, с которой испаряется все имеющее отношение к человеку и исчезает в небесной голубизне. Так, например, недалеко оттуда, в низине Хулюль, стоят красные развалины строения, именуемого Халядж, и никто не помнит, почему оно так называется или кто и какому Богу поклонялся тут среди колонн, над которыми теперь нет крыши.

Даже в расположении секретной базы была своя непоследовательность. Три комплекта ракет «СС-9» в своих подземных укрытиях были нацелены на север, на Средиземное море, в западном направлении — на аналогичные американские установки на территории их лакея Сахеля, а в восточном — на устарелые порты Занджа на Красном море, которые при определенных преобразованиях в процессе ядерной катастрофы могут стать настолько стратегически важными, что их надо будет взорвать. Наши кушитские ракеты были орудиями «третьей волны», иными словами, к тому времени, когда их запустят, основные промышленные и наиболее населенные центры будут стерты с лица земли. Подобно игрокам на шахматном турнире, у которых осталось лишь несколько ладейных пешек и символические короли, великие державы, позевывая за коньяком, будут продолжать бесцельную игру до конца, чтобы решить, какого рода свобода — свобода от анархии или свобода от запретов — воцарится на оставшейся сферической пустыне. Этот мир, который забавно представлять себе, будет не только выглядеть как Сахара, но в нем будут господствовать не до конца уничтоженная Африка в союзе с издавна вооруженными полинезийцами, эскимосами, обитателями Гималаев и потомками британских каторжан, поселившимися в Австралии. А еще забавнее то, что, по утверждению Микаэлиса Эзаны, упорно сомневающегося в наших советских союзниках, эти ракеты являются на самом деле макетами с боеголовками в виде мешков с местным песком, и установлены они тут согласно торжественно заключенному договору только для того, чтобы побудить сверхдержаву-противника установить за счет обременительных затрат настоящие ракеты в соседнем Сахеле. Так или иначе, в данном случае кусок земли в восемь метров шириной и два метра толщиной был приподнят по заранее договоренному сигналу с наших прожекторов (тусклый свет, яркий свет, выключить, тусклый свет), и группа русских солдат внизу при ярком электрическом свете в обширном бункере возликовала от такого развлечения. Когда мы приехали, все они, готовясь к нашему посещению, были уже пьяны.

Мтеса и Опуку, моргая от удивления при виде этого пузырика солнца, плененного под землей, были тотчас заключены в волосатые объятия и чуть не оглохли от выкриков на славянском языке и предложений полных стаканов водки, от чего Опуку сначала не отказался. Я громко оповестил по-французски всех присутствующих:

— Pas d’alcool, s’il vous plait, le Dieu de notre peuple nous l’interdit[[7]](#footnote-7).

И, многократно повторив этот озадачивший всех отказ, я добился для себя и моей небольшой команды права пить в ответ на бесконечные тосты мутную балканскую минеральную воду (принесенную из погреба) и трезвым взглядом наблюдать за этими чужеземцами. Русские находились здесь с 1971 года, со времени секретных переговоров о сдерживании ядерной угрозы союзниками СССР, и за прошедшие с тех пор два года сумели обставить бункер с царской роскошью советского суперкомфорта, начиная с ламп, прикрытых абажурами с бахромой и с каменными основаниями в виде борющихся медведей, которые стоят на дорожках из украинского кружева, и кончая непременными, писанными маслом портретами Ленина, выступающего перед рабочими на фоне солнечного заката, и Брежнева, чарующего роскошными бровями пеструю толпу евроазиатских детишек. Единственный среди русских лингвист, тощий очкарик — младший лейтенант, говоривший по-арабски с иракским акцентом, а по-французски будто шлепавший в галошах по русским шипящим, — перепил и в середине банкета упал замертво, а мы продолжали пировать с минимальными тостами за героев наших соответственных стран. «За Лумумбу», — говорили они, и я отвечал, когда стаканы были снова наполнены: «За Стаханова». «Насер — да, Садат — нет» было встречено громовыми аплодисментами, a «Vive Шолохов, écraze Солженицына»[[8]](#footnote-8) еще более бурными. Мой хозяин, полковник Сирин, который в одной этой установке распоряжался оборудованием на сумму, равную всему годовому военному бюджету Куша, обнаружил, что я понимаю по-английски, и, несомненно, куда грубее, чем намеревался, предложил почтить «всех добрых негров». Я ответил семьдесят седьмой сурой Корана («В тот день горе верящим в ложь! Идите во тьму, извергающую три столба дыма») в переводе на мой родной язык салю, чьи гортанные звуки привели в восторг опьяневших красных. После того как взаимные запасы героев были исчерпаны, кто-то притащил аспидную доску, и мы стали пить за буквы наших алфавитов.

— За «Щ»! — предложил полковник, выжав из шипящего звука максимум.

Я тактично ответил, предложив тост за прелестное окончание «Q».

— За «Ж», самую прекрасную букву во всем чертовом мире! — похваляясь, произнес он.

Я, смею думать, переплюнул его, изящно предложив:

— За «Z».

Затем были представлены награды и монументальная книга с фотографиями сокровищ, собранных монахами пещерного монастыря в Киеве, а затем эти странные люди принялись плясать вприсядку и, демонстрируя мужскую силу, стали жевать свои рюмки точно печенье. Поскольку они сами были наилучшей аудиторией для подобных проделок, я уговорил молодого и сравнительно трезвого адъютанта показать нам наши спальные места. Несколько офицеров, спотыкаясь, последовали за нами, а один особенно крепкий славянин игриво пнул Мтесу в спину, когда мы преклонили колена, чтобы запоздало помолиться.

Не в силах сразу заснуть на мягкой советской постели с парчовым пологом и каменными маленькими подушками, я стал размышлять об обычаях и оргии, что нам довелось наблюдать, и из глубин моей памяти возникла аналогия, которая, казалось, кое-что проясняла: эта тугая бледная кожа, торчащие волосы без малейшего завитка, продолговатый разрез глаз, короткие ноги и крепкое тело, чья мускульная сила, казалось, собрана в один узел на затылке, — всем этим русские напоминали мне буйное, малоприятное стадо диких кабанов, которые в дни моего детства появлялись с севера, из болот у реки, и опустошали овощные посадки нашей деревни. В них, безусловно, была агрессивная сила и жестокость, но отсутствовала магическая мощь льва и гиппопотама или невесомая магия газели и сорокопута, так что когда кабана убивали копьем или забрасывали камнями, а он верещал и извивался, — этих животных нелегко убить, — раздавались неуместные взрывы хохота. Даже в смерти глаза кабанов сохраняли слезящийся блеск, выдающий тяжесть гнета, под которым живет тот, на кого охотятся.

В какой-то момент ночью в нашей заставленной комнате зазвонил телефон. Я снял трубку, но на другом конце не послышалось голоса и не было щелчка. По длинному туннелю тишины я, казалось, смотрел в центр Кремля, где страх никогда не спит. Да и наши хозяева рано встали, чтобы проводить нас. Они были в свежей, отглаженной форме, и лица их — эти квадратные, полуазиатские лица, слишком широкие для мелких черт — были выбриты, лишь неестественно блестящая, туго натянутая, кажущаяся совсем тонкой кожа выдавала загул, происходивший всего несколько часов тому назад. По установленному правилу они никогда не выходили на поверхность, даже до того, как голод достиг экстремальных размеров и они могли бы свежим молоком и мясом пополнить свой рацион из мороженых продуктов и порошков, — такое было впечатление, что даже ломтик пахучего местного козьего сыра мог распространить роковую заразу в этой гигантской капсуле, этом герметически закрытом отростке родины-матери. В этом они не походили на американцев, которые бродят повсюду, будучи, словно дети, уверены, что их все любят. Обособленность советских людей не объясняется их самоуверенностью и сосредоточенностью на себе, как у французов. По условиям договора, заключенного по их, а не нашему, настоянию, солдат или техник, обнаруженный под открытым небом без машины, подлежит заключению в тюрьму и изоляции от населения. Создается впечатление, что мы имеем дело с чрезвычайно пугливой державой, этаким бегемотом, который боится даже такой тощей черной мыши, как Куш с его бедным населением. Мы с полковником обменялись рукопожатием. Я поблагодарил его за гостеприимство, он поблагодарил меня за мое. Он сказал, что Россия и Куш — братья по единодушному патриотизму своих многоязычных народов, исповедующих идеи прогресса. Я ответил полковнику Сирину, как только мог яснее (его очкарик-переводчик по-прежнему лежал в бессознательном состоянии): наши два народа, сказал я, имеют «une essence religieuse»[[9]](#footnote-9), а наши страны — возможности для «vacances magnifiques»[[10]](#footnote-10). Мтеса и Опуку присутствовали при этом малопонятном обмене любезностями, широко раскрыв глаза от изумления, и «мерседес», кашляя от обильно залитого сибирского дизельного топлива, вынес нас вверх по пандусу на пласт пустыни, который поднялся на пневматических рычагах, на обжигающе яркий свет, и перед нами вновь предстали мерцающие горизонты.

Низина Хулюль с ее гравием и спекшимся песком такого ржавого цвета, словно реки, когда-то впадавшие в это потрескавшееся дно озера, были окрашены кровью, уступила место, когда солнце достигло своего апогея, подножию Булубских гор. Дорога превратилась в извилистую тропу с предательскими ямами, усеянную осыпью кварца, которая бросала основательный вызов нашим стальным колесам с шинами «Мишлен». Дали стали голубыми; по мере того как мы поднимались выше, стали появляться пучки растительности, колючей и безлистой, которые расшатывали камни своими корнями. На склонах, прерывая наш нелегкий, извилистый подъем, встречались следы пастбищ: глина, напрочь утоптанная копытами, навоз, все еще отличимый от минералов, поваленные скелеты пчелиных ульев с обглоданными от отчаяния соломенными крышами. Ость, появляющаяся на выбитых скотом пастбищах, зеленой каймой тянулась вдоль этого края отчаяния. Наш путь пролегал не прямо через Булубы, а по их склону, — на востоке горизонт был низкий, но волнистый, и зоркие глаза моих спутников обнаружили дымок лагеря кочевников племени теда или опасных туарегов. Стремясь проверить, действительно ли они обнаружили зловещий дымок, я увидел нечто совсем другое: две золотистые параболы появились над дальним неровным гребнем, и пока я, не веря собственным глазам, смотрел на них, исчезли из вида, когда машина завезла нас за откос. Ни Мтеса, ни Опуку не смогли подтвердить того, что я видел, хотя мы остановили машину и обследовали местность, пытаясь найти точку для обзора. В скалах здесь пролегали сверкающие полосы каких-то диковинных гладких минералов. На остановке мы прочитали молитву салят аз-зур и легли спать в тени, под навесом скалы; по нам вскоре побежали ящерицы, словно наши спящие тела стали частью огромного бесчувственного скопища неизменного камня, — их крошечные ножки щекотали нас, как первые капли дождя.

Дни нашего путешествия после того, как я видел ядовитые золотистые параболы, слились в моей памяти, — нами овладела своеобразная завороженность расстоянием. Мы пересекли немало разного рода земель: отливающие оранжевым блеском ущелья, участки черной глины, где некий безумный небесный архитектор расставил с равными промежутками аспидно-черные глыбы, полосы лилового гравия, перемежавшиеся с перемещающимися холмами янтарного песка. В широком поясе перехода от высохшей травы к голой пустыне попадались островки пастбищ, они существовали до засухи, и их население — как людей, так и животных — накрыло наступавшее море смерти. Мы видели дикие зрелища: видели, как нагие женщины лазают по мимозам и обрывают концы веточек, чтобы их сварить; видели, как дети рвут дикую крапиву под названием крам-крам; видели, как мужчины нападают на муравьиные кучи и разбрасывают их в поисках сокрытых там зерен. Даже из скважин с самой соленой водой все было выпито, а окружающие деревья превращены в пни с ободранной изголодавшимися людьми корой. Рука тяжелеет и перестает писать, когда я вспоминаю этот кошмар. Самое гротескное, что солнце каждый день бьет по всему этому со спокойной яростью, с какою оратор произносит свою речь, забыв, что говорил то же самое накануне. Приближаясь к северо-западной границе, местам, более густо населенным благодаря пронесшимся слухам о готовящемся событии, я оставил «мерседес» и облачился в шерстяные лохмотья суфи, чтобы не отличаться от моего страждущего народа.

Команда заезжих колодцекопателей подобрала меня, считая, что я принесу им счастье. По правде говоря, они нуждались в этом — их было четверо: двое мужчин-моундангов, карлик из племени галла и женщина из племени capa, которая готовила еду и обслуживала всех нас. Их главный — Вадаль, высокий мрачный мужчина, чье смуглое усталое тело было как бы укрупненной копией его импотентного пениса, который он с мрачным видом выставлял на обозрение в складках своей изношенной галлябие, — не обладал чутьем на воду. Снова и снова команду его встречали радостными кликами в поселениях, приветствовали звяканьем тамбуринов и грохотом большого тобола вождя, а через несколько дней упорного копания и попыток восполнить свои тщетные усилия за счет жалких, бесценных для пастухов запасов семенного зерна и спекшейся крови, их приглашали на торжественное совещание с каидом и отсылали под град проклятий и камней. Вадаль представился мне как человек в прошлом состоятельный, чьи обширные стада горбатых зебу засуха превратила в груду костей, но его женщина шепотом сообщила мне, что он — мерзавец без роду и племени, у которого никогда не было даже собственной дворняги. Его отец был дибией в деревне на юге, а сына изгнали оттуда за святотатство, за то, что он опорожнялся на фетиши в ярости от своего бессилия, а это, по заверениям его женщины, она не сумела выправить даже самыми хитроумными способами. Однако судьба ее связана с ним, так как этот несчастный пария проник к ней в хижину, когда она, красавица-девственница, спала на участке своего отца, и поступил с ней, как с фетишами, — осквернил ее, закрыв ей путь к замужеству. Вот ей и пришлось пойти с ним, хотя у отца ее были стада, застилавшие собой горы, а мать была внучкой бессмертного леопарда, чей силуэт можно теперь увидеть в небе, вычерченный звездами. Возможно, она рассказывала мне это, чтобы как-то провести ночь, поскольку мало спала и приходила ко мне, даже ублажив кого-то, в ту пору, когда мы продвигались на север, переходя из одного многолюдного селения в другое, побираясь и танцуя, и обещая ливни, если нас пощадят. Звали ее Кутунда, и при лунном свете она выглядела неуемной и не знающей сна женщиной, увлеченной своими рассказами, способной к языкам, умело владеющей собственным языком, таким же сильным, как и ее запах. Я ощущал силу ее языка, так как рот у меня был нежный: желая доказать свою принадлежность к дервишам, я не раз клал горячий уголь из костра себе в рот и делал вид, будто глотаю его. Такое возможно, когда дух необходимости пронизывает тело и от страха не высыхает слюна. «Бог ближе к человеку, чем вена на его шее», — гласит Коран. В пословице на языке салю это выражено так: «Судьба следует за человеком, как его пятка». Зловоние, исходившее от Кутунды, было сладостью для меня, а ее хриплый хохоток во время совокупления засел во мне как кусочек кремня. Мы часто спали в ямах наших неудачно вырытых колодцев. Самый глубокий из вырытых нами колодцев — я-то не рыл его, а стоял на краю и, распевая священные гимны, избегал комьев грязи, которые выбрасывал в моем направлении карлик, — одарил нас вместо воды римской вазой, украшенной завитками волн знаменитого, темного, как вино, моря, которое находится невероятно далеко на севере, а также металлическим диском, служившим, должно быть, зеркалом. В давние времена Сахара была зеленой, и люди на колесницах пересекали ее травяные просторы. Это как раз и было запечатлено на нашем национальном флаге — ярко-зеленое безбрежное поле. Земля здесь приобрела металлически серый цвет, вспыхивающий блестками, и кожа людей, с которыми мы сталкивались на нашем пути, тоже стала сероватой, что у людей чернокожих является предвестником смерти. Черные были тут рабами, бузу, ибо мы находились на территории туарегов, чьи светлые глаза блестели над синими тагильмустами, — они так обматывали вокруг себя все шесть метров ткани, чтобы был закрыт и рот, который они считают грязным: дырка, которая поглощает, так же грязна, как и та, что из тела выбрасывает. Верблюды здесь были без горбов и умирали со странной, характерной для верблюдов внезапностью: садились на задние ноги и без вздоха испускали дух. Когда бормотание дневных молитв умолкало, среди палаток наступала тишина, хуже тишины смерти, так как она была преднамеренной, — лишь хныкали дети, да и то младше восьми лет, когда они еще не знают успокоительной дисциплины религии. Они были такие худые, что их тела приобрели красоту скульптур: тонкий слой плоти приподнимался на двойной связке ребер, так же были обрисованы руки и ноги, кожа плотно облегала бедренные и плечевые кости; натянута она была и на лице, так что губы не скрывали зубов, а на висках, прикрыв пустоты черепа, кожа пульсировала как барабанная дробь, зато некоторые выпуклости приобрели лоснящуюся гладкость — разбухшие животы и выпученные глаза, которые словно магниты бегали под детскими бровями, напоминая о божествах, смотрящих сквозь прорези в ритуальных масках. У истощенного скота не было даже крови, а в этих степях засохшая кровь, смешанная с кислым молоком в густую кашу, была главной едой. Наша команда колодцекопателей из тех, кого кормили, превратилась в кормильцев, делясь запасами козьего сыра, пасты из земляных орехов и сушеной корюшки, — их приносили мне вечером из холодильников «мерседеса», который следовал за нами на расстоянии нескольких миль, серый, как призрак, и почти невидимый, если не считать поднимаемых им столбов пыли, стоявших потом часами над степью.

Когда я спрашивал окружающих на моем полузабытом салю или моем плохом берберском, винят ли они Аллаха в том, что оказались в таком положении, они непонимающе смотрели на меня, утверждая, что Бог велик, Бог милостив. Как можно винить источник сострадания? А несколько человек с пылающими глазами, используя последние искорки энергии, подняли с земли камни и швырнули бы в меня, если бы я вовремя не повернулся к ним спиной.

Когда же я спросил других, винят ли они полковника Эллелу, президента Куша и председателя Чрезвычайного Верховного Революционного и Военного Совета, один мужчина вместо ответа спросил:

— Да кто такой Эллелу? Это же ветер, ток воздуха между горами.

Мне было неприятно это слышать, и я почувствовал себя потерянным в этом огромном прозрачном шаре возложенной на меня ответственности.

А другой сказал мне:

— Полковник Эллелу изгоняет кяфиров, которые украли наши облака, и когда последний белый дьявол примет ислам или когда голова его упадет в пыль, тогда придет Эллелу и, взрезав небо, выпустит из него воду, как пастух, взрезав яремную вену на шее быка, выпускает кровь.

И я почувствовал себя обманщиком в своих грязных лохмотьях, и рот у меня все еще болел от ночных игр в чудеса.

А третий пожал плечами и сказал:

— Ну что он может сделать? Он всего лишь солдат, который убил Повелителя Ванджиджи, чтобы обеспечить себе пенсию. И когда Эдуму отправился к праотцам, подземный мир высосал счастье из земли.

Это заставило меня задуматься над тем, какой линии следовать в политике: надо ли мне убить короля? Одни не слышали об Эллелу, другие считали его имя просто вымпелом, третьи ненавидели его за то, что он был освобожденным рабом, одним из барратинов с юга. И никто, казалось, не думал о нем как о человеке, который может избавить страну от голода. Один только я надеялся на полковника Эллелу, которому следовало быть в Истиклале, подписывать документы и принимать парады, а не продираться с несколькими бездомными сквозь толпы кочевников, потянувшиеся к границе, услышав о предстоящем чуде.

Граница Куша на северо-западе на девять десятых воображаемая. На протяжении десятилетий колониализма границу не замечали гордые регибаты, теды и туареги, перегонявшие в обоих направлениях через нее свои стада, не соблюдая формальностей и не неся за это ответственности, — обширные министерства, занимавшиеся французской Западной Африкой, отличались друг от друга лишь таинственной разницей в отчетности в Париже. Но начиная с 1968 года, когда наша очистившаяся страна обрела политическую ориентацию, отличную от соседнего Сахеля, географической двойняшки Куша, а идеологически — антитезиса модели неокапиталистической проституции, приодетой в прозрачные панталоны антиизраильских выступлений, — на границе появились заставы для символической охраны нашей исламско-марксистской чистоты на этих неуправляемых просторах. Приближаясь к заставе, мы увидели противоестественную гору бурых ящиков, занимавшую в длину расстояние одного дня пути, порой скособоченную и искаженную атмосферными зеркалами миража.

Тысячи людей — целое озеро, вылившееся из пустоты, — собрались посмотреть на это видение, маячившее в нескольких метрах от границы, в местечке, именуемом Ефу. Застава занимала три низких строения из мелкозернистого песчаника, расплющенных банок и обожженной солнцем глины: тут были казармы для солдат, камеры для заключенных, в которых никогда не было ни одного заключенного, и помещение таможни, чья крыша была не плоской, как у двух других строений, а куполообразной, и на ней в свете угасающего дня развевался красивый кушитский флаг. И в самом деле, вспыхнувшая зеленая полоса оповестила о закате солнца, словно этакий замирающий крик, раздавшийся из-под горизонта, чей накал повторяла шафранная полоса у основания западной части неба, куда ушел шлак дневной печи. А над головой передовой разведчик звездных армий дрожал словно жемчужина, подвешенная над гигантским хрустальным бокалом божественного нектара. При этом неверном свете, под звуки, издаваемые верблюдами, и звяканье их колокольчиков, среди запахов пищи, готовящейся на кострах, разведенных с помощью сухого навоза и порубленного тамариска, я пробирался вперед, к месту противостояния, где четверо молодых пограничников в прочных шлемах и парадных белых костюмах — ни один, на мой взгляд, не старше восемнадцати лет — стояли, застыв и источая страх, перед ропчущей толпой, которую привлекла сюда эта гора помощи, высившаяся на краю враждебного Сахеля. Управляемый франтоватым негритюдом, чей безупречный александрийский стих о смуглых красавицах, которые несут на голове, покачивая бедрами, свои нагруженные калабаши, прозвучал после стихов Валери из карманных изданий антологий и чьи сменявшие друг друга парижские жены сохраняли стройность благодаря взяткам, получаемым от корпораций тубабов и сверхуспешных японцев, Сахель выглядел с воздуха лоскутным одеялом из жестяных крыш и бассейнов при отелях, высохших полей для гольфа и сельских полей, простроченных терпеливо вырытыми оросительными канавками глубиной с кисть руки. Такое презрение охватило и переполнило меня при мысли о соперничающем с нами государстве и его экономическом превосходстве, что, когда я добрался до первых рядов толпы, я забыл о моих лохмотьях мистика и предстал перед солдатами с таким видом, словно было ясно, что я олицетворяю собой власть.

Я смело шагнул вперед, и сержант, командовавший солдатами, поднял ружье и нацелился мне в грудь.

— Я Эллелу, — объявил я.

Кутунда, хотя никто ее об этом не просил, из женского любопытства или из своего представления о верности, последовала за мной и обхватила меня сзади руками, чтобы я не шагнул под пули.

— Эллелу, Эллелу, — прошел за моей спиной шепот по толпе, разрастаясь и спадая. Люди не сомневались, что это я: голод удивительным образом уничтожает скептицизм.

Самый молодой из четверых солдат шагнул вперед и прикладом ружья ловко, словно отбрасывая скорпиона, оторвал от меня мою защитницу.

— Он просто бедный колдун! — сквозь окровавленные губы выкрикнула Кутунда с песка, куда ее швырнули. — Простите его, он сумасшедший!

Солдат равнодушно кивнул и снова вскинул ружье чехословацкого производства, купленное поштучно, о чем Микаэлис Эзана не раз говорил, иронизируя по поводу коммунистического братства, — чтобы обойтись и со мной, как с Кутундой, но тут я извлек из складок моих лохмотьев медаль, которой советские власти за неделю до того наградили меня. При виде медной звезды с барельефом Ленина парень заморгал. А толпа позади меня подхватила мое имя, и теперь словно ветер понес его вперед, оно набухло, так что казалось, некое божество подтверждало мое право на власть. В воздухе вихрилось: «Эллелу! Эллелу!» Сержанту же, который, изучив медаль, прижал ее к груди с улыбкой, обнажившей отсутствие двух нижних клыков, я посоветовал как соратнику сравнить мое лицо с портретом президента Куша, который наверняка висит где-нибудь у них в служебном помещении.

Не сразу поняв меня, он наконец отправил капрала за портретом. Парень вернулся не скоро, — видимо, долго искал — с олеографией в рамке, наполовину затушеванной въевшейся пылью. Лицо в рамке поднесли к моему лицу. Сержант рассматривал меня, а я рассматривал медаль, которую он продолжал прижимать к груди. Я старался придать лицу спокойное авторитетное выражение, как на портрете, — во всяком случае, оба наши лица были покрыты слоем одной и той же пыли. Тем временем Кутунда целовала мне ноги в приступе то ли обожания — все-таки я ее вождь, — то ли скорби от того, что меня могут убить как безумца, но это было трудно определить по ее поцелуям, которые щекотали мои ноги, как фонтан подножие статуи. А от взволнованной толпы позади меня, помимо запаха навоза от горящих костров, кислого запаха пота и гнилостного дыхания, появляющегося при пустом желудке, донесся — словно заточенным мечом разрезали воздух — сладкий и острый, проспиртованный и невинный запах тоника для волос, какой может исходить из открытой двери парикмахерской в Висконсине. Он появился и исчез.

Я позволил себе быть слишком оптимистичным. Недооценил злонамеренной черты в характере моего сержанта. Ему хотелось оставить у себя эту медаль.

— Никакого сходства, — громко объявил он на нескольких языках, и меня потащили прочь; Кутунда по-прежнему пыталась создать из своего тела препятствие для моего продвижения, тогда как моя участь трагически перевернулась — машине, можно сказать, был дан обратный ход.

Тут толпу разрезал, словно выдох Аллаха, «мерседес», и Опуку с Мтесой в своих ливреях, с набором пистолетов в кожаных кобурах, положили конец спорам о моей личности. Их оружие сказало: *«Он — Эллелу».* Буквально через несколько минут я был уже в своей форме хаки и в черных очках, сержант простерся передо мной, и в знак ироничного прощения медаль была подарена ему.

Позвольте мне, однако, — прежде чем перейти к апогею этой авантюры (подробности которой в процессе письма смешиваются, как обточенные морем камушки) — сказать в утешение тем, кто менее легко отделался, что в тот момент, когда меня схватили и потащили на возможную казнь или в лучшем случае на длительный допрос, который доставил бы удовольствие другим, а не мне, мной овладело благодатное отупение и чувство отрешенности, и я смотрел на себя с таким же небрежением, с каким сытый ястреб смотрит, как тушканчик исчезает в своей норе в песках пустыни.

Вновь обретя свое достоинство, я стал разглядывать видение, маячившее по ту сторону границы: пирамиду ящиков, мешки и коробки с дикарскими названиями фирм. «США», «США», «США» — возвещали они, а также «Кикс», «Трикс», «Чекс», «Попс». Сумерки в нашем краю после зеленой вспышки длятся недолго, и я не мог разобрать, что было написано на верхних коробках, но, похоже, там были картофельные чипсы. Почти не осталось следов того, как эта гора пищи для детей и инвалидов оказалась в пустынном афтубе Ефу, — на прямой, как след от реактивного самолета, утоптанной трассе, уходившей в сильно субсидируемые глубины Сахеля, остались отпечатки колес, но ни одной машины видно не было. Не было и признаков человеческой деятельности вокруг этого форта из провианта, который высился напротив нашей заставы на симметрично расположенном пустом пространстве страны, не являвшейся нашим союзником. Показался лишь один человек — белый мужчина в рубашке на пуговицах и костюме из легкой шелковистой ткани; он шел размашистым шагом в нашем направлении не спеша, уверенной подпрыгивающей походкой, для какой требуются иные декорации — главная улица с навесами в Америке летним днем в час ленча, когда десятки мелких бизнесменов, зажав в губах зубочистки, прогуливаются по ней, оглядывая конкурентов и обмениваясь радостными рукопожатиями со знакомыми. У этого тубаба хватило, однако, такта не протягивать мне руки: дни, проведенные в пустыне, несколько поубавили в нем убежденности, что все рады его видеть. Он говорил по-французски с таким трудом и с таким ужасным произношением, что я перевел наш разговор на английский.

Брови его под мальчишеской челкой с непременной сединой поползли вверх.

— У вас американский акцент.

— Нам приходится изучать чужие языки, — сказал я ему, — поскольку никто не утруждает себя знанием наших.

— Повторите еще раз, кем вы являетесь?

Таких людей, как этот мужчина, я знал хорошо. Как и многие в его разбухшей стране, он был чудовищно высокий, с руками, костяшки и ногти которых были шириной в клееный картон за пять лю. Возраст его нелегко было определить: преждевременная седина и прищур у этих янки сбивает с толку, как и вечно ребячливое, смущенное, обаятельное и полное радужных надежд выражение лица. Они, эти сыны одновременно самого экспансионистского и самого широковещательно идеалистического из властных сообществ, хотят иметь все сполна: съесть и курицу, и яйцо, одержать победу и быть балованным дитем, казаться одновременно практичным и простодушным. Я представил его себе ребенком в душном, обставленном мягкой мебелью родительском доме на какой-нибудь извилистой пригородной улице — как он, прищурясь, смотрит на модель самолета в хрупкой клееной раме или лижет лежащие горкой коллекционные марки, не сознавая, что в ковре под его ногами открывается пропасть, временная бездна, где его ждет респектабельный авантюризм службы за границей и этот момент — вечер среди толпы туарегов, когда шафрановый свет все еще озаряет протянувшийся на запад безопасный Сахель. Во мне шевельнулась жалость, как первый позыв к рвоте, но я подавил его. Он был молод и находился на низкой ступени властной лестницы — все еще получал назначения в малозначительные страны, стоял с подносиком у входа в магазин, где продают лакричные конфеты, карамельки и шоколад; если он будет трудиться не покладая рук и не будет воровать, то, когда голова его станет совсем белой, а стройная жена сморщится, его переведут в глубь магазина, в заднюю комнату, где оптовики, вдыхая ароматы джутовых мешков и уксуса, будут хрипло делать свои заказы, заботясь о каждом пенсе. Лучше бы ему стать профессором и преподавать управление в маленьком заснеженном колледже на Среднем Западе. Перед моим мысленным взором возникла его жена — веснушчатая блондинка, уже следящая за своим весом и уже слегка закалившаяся в роли помощницы и жены дипломата, готовая быстро упаковать свое непрерывно меняющееся достояние, приспособиться к новой расе слуг, выучить новый набор фраз для хождения по магазинам, весело, ловко и соответствующим образом принимать тех, кто выше их, кто ниже их и кто равен им, в карусели сменяющих друг друга представительств и зарубежных организаций. Я даже знал, как она занималась бы любовью — со смущением и одновременно с агрессией, напряженно следя за соблюдением так называемого «равенства плоти», воспламеняясь, как базука, которую заело, от порнографических пластмассовых фетишей и сексуальных поваренных книг ее белого племени, и, однако, произведя инвентаризацию всех уступок данной культуре, — с известной грацией, беспомощностью и настоящим твистом под конец... Снова подступила тошнота. Я представил себе их квартиру в Дакаре или Лагосе, их «первоначальный дом» в пригороде, в Мэриленде или Виргинии, со стеклянными столами и невыключаемым электричеством, этакий островок света, вырезанный из нашей тьмы, и чувство жалости исчезло. И я сказал высокому непрошеному гостю:

— Я гражданин Куша, и меня послали сюда спросить, почему вы устраиваете беспорядок на наших границах и как понять наличие этой горы отбросов!

— Это не отбросы, приятель, это манна. Дар твоему пораженному засухой краю щедротами американского правительства и американского народа совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Самолеты «С-130» американских военно-воздушных сил доставили все это на аэродром в северном Сахеле, а меня направили сюда из отделения американской помощи в Танжере по просьбе людей из ФАО в Риме, чтобы выяснить, в чем загвоздка, мешающая распределению срочной помощи в нуждающихся районах Куша, и чтобы ускорить дело. Я уже две недели сижу здесь, в этой дыре, поджаривая задницу и пытаясь вступить в контакт хоть с кем-то из властей. Кто бы ты ни был, ты самое приятное, что я видел за сегодняшний день.

— Могу я задать несколько вопросов?

— Валяй.

— Скажите, пожалуйста, кто сообщил вам, что нам якобы нужны продукты?

Он поднял загорелую руку ко лбу и отбросил прядь сухих волос. Его костюм, предназначенный для коктейлей на посольских лужайках, изрядно помялся здесь, где так мало растительности и такая плохая почва. От пота у него образовались темные полосы не только на воротнике, но и на прорезях карманов — всюду, где кожа часто соприкасается с материей.

— Кого ты пытаешься обмануть? — спросил он меня. — Эти людишки *голодают*. Весь мир знает об этом — их можно увидеть каждый вечер в шестичасовой передаче «Новостей». И американский народ хочет помочь им. Мы знаем, что это — страна социалистическая, где процветает ксенофобия; мы знаем, что Эллелу — шизофреник и параноик, но нам на это плевать. Такого рода человеческая катастрофа перечеркивает все политические соображения — так считает мое правительство.

— А ты знаешь, — спросил я его, — что программа вашего правительства по вакцинации скота привела к увеличению поголовья нашего скота, несмотря на то что в этом районе нет ни фуража, ни воды?

— Я читал об этом в каком-то докладе, но...

— И что глубокие колодцы, которые иностранные правительства помогали бурить, испортили кочевникам пастбища, так что у нас теперь пустыни, окруженные колодцами? Кроме того, знаешь ли ты, что на протяжении пяти лет в этом районе не менялся климат и что «человеческая катастрофа», как ты это называешь, является для нас условием человеческого существования?

— О'кей, о'кей, лучше поздно, чем никогда. Мы теперь тут, и из-за чего задержка? Я не могу добиться, чтобы кто-то поговорил со мной.

За моей спиной усилилось ворчание терявших терпение туарегов и вместе с ним усилилось и быстро исчезло неуместное здесь сладкое дыхание парикмахерской.

— Я буду говорить с тобой, — сказал я, повысив голос, чтобы те, кто меня услышит, могли по крайней мере понять, что я пошел в наступление. — Я — Эллелу. И я говорю от имени народа Куша. А народ Куша не приемлет капиталистическое вмешательство в любой форме. В желудках моего народа нет места для объедков со стола общества, которое угнетает народ и где нет Бога. Дайте вашим черным свободу, прежде чем сваливать ящики с канцерогенным мусором на священную землю Куша!

— Послушай, — взмолился он, — Зандж принимает тонны зерна в день, и у них там работают *китайские советники*. Все это политическое дерьмо следует отбросить в сторону, и вообще, нечего на меня орать: я в колледже все время участвовал в маршах за гражданские права.

— И как и следовало ожидать, теперь интегрировался, — сказал я. — Ты, видимо, полагаешь, что я понятия не имею о методах, применяемых твоей страной. Что же до Занджа, то мне говорили, что вы облагодетельствовали его голодающих граждан тоннами второсортного сорго, грубым зерном, выращиваемым для скота, от которого у людей возникает жуткий понос.

Услышав это, он поутратил немного наглости и заговорил более доверительно.

— Угу, кое в чем мы напортачили, но не забывай, эти дикари привыкли есть мясо и молоко, содержащие высокий процент протеина. Они едят лучше нас. А мы посылаем то, что имеем.

— Ясно, — сказал я, глядя вверх, на террасу ящиков, освещенных факелами, которые кто-то из толпы свидетелей зажег за моей спиной. На целом ярусе значилось: «Пшеничные колечки», а на стене из картонок, уходившей в темноту, к горевшим над пустыней звездам, крупными буквами снова и снова повторялось: «Тотал».

— Послушай, — пытался продать мне свой товар американец, — эти каши к завтраку — стоит добавить к ним немного молока и сахара, если они у вас есть, — это же динамит, не отказывайся от них. Вы же едите корни кактуса — мы это знаем. — И уже другим тоном, по-мальчишески уважительным, он спросил: — Ты в самом деле Эллелу? Мне нравится кое-что из того, что ты написал в изгнании. Мы должны были читать это в Йеле по списку политической литературы, которую я изучал.

Значит, он знал, что я был в изгнании. Это уже вторжение в мою личную жизнь. Смятение охватило меня. Я снял солнечные очки. От горевших факелов было удивительно светло. Мне что же, причитается гонорар? В глубине моего мозга отдавался речитатив толпы: «Эллелу, Эллелу...» И, словно стремясь уйти от линчевания, я сделал шаг вперед, через невидимую границу между Сахелем и Кушем, к темневшей горе гуманитарной помощи. Увидев, что в этом политическом барьере образовалась пробоина, американец доверительно произнес: «Они действительно хотят получить этот товар», — тоном, дававшим понять, что противостояние окончено: я-де подпишу бумаги, он сможет оставить свой церемонный дар, веснушчатая жена примет его в свою постель в Танжере, а начальство рекомендует вернуть его в Вашингтон. Увы, ни в моей душе, ни в этой ночи ему не было уготовано спасение. Его бледный облик теперь, когда темнота полностью окутала нас, казался призрачным, бесформенным, а вернее, делал его похожим на паразита, напоминающего лишенное солнца нутро более благородного и независимого существа. Кочевники и их рабы зашуршали, переходя вслед за мной через границу, сгрудились со своими мерцающими факелами, образовав полукруг перед утесом из картонок — картонок с гигантскими латинскими буквами — и полиэтилена, так как наши благодетели отправили свой низкосортный сорго в прозрачных мешках, поэтому внутри видны были щепки и дохлые мыши, а скользкая поверхность отражала свет факелов, — факелов, которые, выбрасывая красные искры, высвечивали ступеньки алюминиевой лестницы, приставленной к этой скале, капли пота на серой, как у паразита, шее американца и взволнованные глаза туарегов.

— Эллелу, Эллелу...

В свое время их бормотание чудом высвободило меня из пустыни, а теперь мне надо было высвободить в себе силу к действию, показать себя лидером.

Рабское поведение нашего тубаба, который тяжело дышал и явно с трудом подавлял в себе панику, взывало к жестокости. Почувствовав, что сейчас состоится сделка, detente[[11]](#footnote-11), он сказал мне:

— Без дураков, тут уйма настоящей еды: когда это разгружали, я, помнится, видел «Спэм» и порошковое молоко.

И он полез по лестнице, чтобы отыскать эти товары, а туареги тотчас подступили ближе, размахивая факелами и возмущаясь тем, что он туда забирается. Я с трудом расслышал то, что он кричал:

— Вот оно... «Карнейшн»... добавить три части воды...

— Но у нас нет воды, — крикнул я ему, стараясь, как мне теперь кажется, выиграть время для нас обоих. — В Куше вода ценнее крови!

Американца поглотила тьма, царившая между факелами и звездами.

— Это не проблема, — послышался сверху его голос. — Мы привезем сюда свои команды... устроим зеленую революцию... системы переносных траншей... пруд с лилиями на том месте, где ты сейчас стоишь... вот оно... нет, это суп-пюре из сельдерея...

Его голос, доносившийся сверху до массы туарегов, казался голосом ангела-сумасброда и вызывал у них невероятное раздражение. Они подошли еще ближе вместе со своими факелами, и источник голоса стал виден: белое пятно то исчезало, то появлялось все выше и выше на откосах и в расселинах воспламеняемых упаковок.

От отупляющего чувства ответственности рука моя налилась свинцовой тяжестью, тем не менее я высоко поднял ее и резко опустил, подавая сигнал, чтобы неизбежное исходило от меня.

И факелы опустились к основанию пирамиды — она превратилась в погребальный костер. Увидев дым и поднимавшиеся к нему языки пламени, а также то, что все склоны под ним окружены ликующими патриотами-кушитами, молодой американец, к чести своей, не стал молить о пощаде или пытаться спрыгнуть в безопасное место, которого не было, а наоборот: полез на самый верх и, призрачно освещенный пламенем, стал ждать своего мученического конца, к которому его на всякий случай практически и духовно, должно быть, подготовили в ходе обучения дипломатическому ремеслу, какое предоставляет его вероломная империя. Мы поразились, как тихо он умер. Или его крики заглушил рев надувшегося, как палатка, пламени, поглотившего эту гору сокровищ, украшением которой — подобно черной звезде — стала в свою последнюю минуту его корчившаяся фигура? Когда он стоял возле меня, я сквозь запах пота от долгого бесполезного ожидания и слабый устричный запах его убежденности почувствовал исходившие от жертвы запахи дома его детства, спертого воздуха в коридорах, мыла в уютной ванной, его юношеских пристрастий, ауры, окружавшей его алкоголиков-родителей, не имеющих представления о сексе, смрад пепельницы, говорящий о неудовлетворенности. Какое смутное желание творить добро, созданное мерцающим голубым светом телевизора с его странными тенями со всего света, привело этого человека к роковому краю, тогда как он считал, что находится в абсолютной безопасности? Я успокоил трепетавшее сердце некоторыми цитатами из Книги книг, которая все предвидит и, следовательно, всеобъемлюща: «В тот день люди разлетятся как мотыльки и горы станут холмиками шерсти. В тот день люди будут с опущенными лицами, сломленные и усталые, обожженные палящим огнем, и пить они будут из кипящего фонтана. Будут в тот день и люди с сияющими лицами в величественном саду, довольные плодами своего труда».

А туареги и их рабы подняли веселую возню. Опуку и Мтеса подошли охранять меня. В мою ладонь проскользнула маленькая рука. И я увидел, что Кутунда с запекшейся разбитой губой все еще находится со мной, значит, теперь я, а не Вадаль, ее покровитель.

Произошел первый гигантский выброс огня, и мы носом почувствовали, сколько сожжено зерна благодаря нашему победоносному жесту, так как в воздухе стоял благодатный аромат печеного хлеба, а ночь в пустыне увидела чудо — снег, — когда хлопья обгоревшего картона в изобилии полетели вниз, на землю.

## II

Осенью, как называют это время года тубабы, Эллелу вернулся в Истиклаль, и происшествие, случившееся с ним на прямой дороге южнее Хулюля, близ исчезнувшего города Хайр, усугубило его каникулярное настроение. Треугольник, состоявший из него самого, Мтесы и Опуку, превратился в четырехугольник: к ним добавилась Кутунда, чье немытое женское тело привнесло в «мерседес» новый запах, пересиливший еле уловимый маслянистый запах германского изделия, неистребимую вонь верблюжьего навоза и висевший в воздухе запах жуткого костра, который проник в окна и, как дурное воспоминание, напрочь пропитал серый бархат. На протяжении многих миль они ехали молча — в мозгу каждого крутились свои колесики: Мтеса был занят управлением своей чудо-машиной, Кутунда думала о том, что с ней станет, и выпускала сквозь свое потрепанное куссабе зловонные щупальца страха и покорности судьбе, а Опуку, судя по всему, спал — его круглая голова почти не двигалась на мускулистой шее, несмотря на происходившую перед его мысленным взором смену картин (о чем Эллелу догадывался по тому, как Опуку время от времени стонал), — он видел жестокость, пламя костра, его одолевало похотливое желание обладать бледными, с прямым носом кочевницами в черных одеждах. В Куше мы не перестали мечтать о слиянии черной и белой кожи, толстых и тонких губ оседлых фермеров и кочевников, перемещающихся со своими стадами.

«Мерседес» ехал всю ночь, чтобы из темных закоулков нашей памяти стереть воспоминание о костре. Заря прорезала тьму и исчезла. Вблизи Хайра местность плоская и розовая, почва соленая и воздух мерцает: точка, увиденная вдали, растворяется при приближении или становится кроваво-красным валуном, который, казалось, упал из стратосферы. Эллелу, сидевший в мятом костюме цвета хаки, смотрел вперед, сквозь ветровое стекло, поверх плеча своего шофера, в то время как голова забывшейся Кутунды тяжело лежала на его плече. Тут точка, появившаяся на шаткой вершине треугольника, до которого сузилась ширина дороги, — горизонт все время качался на своей опоре, справа отступали бугристые подножия Булубских гор, а слева в облаках пыли с трудом различались очертания колючих зареба, — стала разрастаться со скоростью, далеко превосходящей скорость «мерседеса», и на расстоянии приблизительно в два километра превратилась в машину. Через несколько секунд — а время согласно законам относительности тянется как резина — чужеродная машина промчалась мимо с быстротою тени от крыла ястреба. Эллелу подивился, ибо это не был грузовик для перевозки земляных орехов, чье присутствие объяснимо, и не военный транспорт, а машина, которая никак не могла раскатывать по Кушу: это был большой грузовик с открытым кузовом, к плоской поверхности которого были цепями привязаны две одинаковые груды — некогда пузатые, а ныне механически спрессованные американские автомобили карамельного цвета. Моторы с них были сняты, а салоны, где некогда бунтовали дети, а взрослые занимались любовью и старики набирали мили на отдыхе, были раздавлены.

Резко повернув голову, чтобы проследить за грузовиком, быстро исчезнувшим среди подпрыгивающих розовых складок северных земель, Эллелу разбудил светленькую Кутунду. А кожа у нее была светлая или просто смуглая под слоем грязи, лицо круглое и большой рот, но губы не вывернутые. Ее губы, когда она пыталась ответить на его поцелуи, были словно приклеены сном к мелким, слегка вдавленным зубам. Она почувствовала тревогу Эллелу и смотрела на него широко раскрытыми глазами. А полковник схватил Мтесу за плечо и пронзительным лающим голосом, каким он объявлял по радио о каком-то строгом нововведении или репрессалии, спросил:

— Что это было? Ты видел?

— Грузовик, — ответил шофер.

— Какой грузовик?

— Большой. Быстрый. Здесь нет ограничения скорости.

— А ты когда-нибудь видел такой грузовик?

Ответ был дан после раздражающе долгого обдумывания:

— Нет.

— Откуда, ты считаешь, он ехал?

Шофер пожал плечами.

— Из города.

— Из Истиклаля? Да никогда в жизни. Где он мог взять эти... эти *штуки*, которые он вез? И куда он их вез?

— Может быть, из Занджа в Сахель. Или наоборот.

— Да кто же пропустит его через границу? Кто продаст ему горючее?

— Странная штука, — согласился Мтеса, но это занимало его не больше, чем если бы он увидел необычную птицу у скважины с водой или диковинно покалеченного нищего на улице. Невежда видит чудеса каждый день.

Эллелу пришло в голову, что Мтеса сочиняет в угоду ему, а на самом деле ничего не видел.

— А ну, скажи мне, что ты видел. *Какую* странную штуку?

— Большой грузовик, который вез раздавленные voitures[[12]](#footnote-12).

— Что за voitures?

— Не «бензи».

Эллелу откинулся на спинку сиденья с чувством понесенного поражения. Он бы предпочел, чтобы грузовик привиделся ему. Лучше самому обезуметь, рассудил он, чем довести до безумия всю страну. Если то, что он видел, было реальностью, значит, он вынужден — вопреки желанию — действовать, принять меры против чужеродного вторжения, ибо он знал, что это явление для Куша оскорбительно, тогда как оно вполне обычно на шумных, насыщенных отравляющими газами, опасных шоссейных дорогах Соединенных Штатов. Кутунда, которая доселе спала и ничего этого не видела, сочла нужным занять единственное непокореженное место в машине, и измотанный Эллелу провалился в освободившуюся уютную пустоту, пахнущую мускусом и навозом, дымами и голодом Куша.

По возвращении в Истиклаль Эллелу поселил Кутунду в квартире над мастерской, где плели корзины, а на самом деле торговали гашишем и хатом; ее присутствие здесь и его подозрение, что в столице готовится заговор, подстегивали его стремление все чаще отправляться в город переодетым, особенно в ту часть, которая именовалась Хуррийя, пользовалась дурной репутацией и, словно груда глиняных коробок, предназначенных для свалки, высилась у восточной стены просторного Дворца управления нуарами с его шестнадцатью пилястрами, олицетворяющими шестнадцать наиболее распространенных глаголов, которые во всех сложных временах употребляются с глаголами «быть» и «иметь». На фасаде дворца поверху стоят восемь мраморных статуй неестественной белизны, не испорченной климатом, они изображают восемь буржуазных добродетелей: Assiduité, Economie, Médiocrité, Conjugalité, Tempérance, Optimisme, Dynamisme и Modernité[[13]](#footnote-13). Глухая стена дворца сверкает на заре как обещание вечной сладострастной роскоши, вздымающееся из плена земли над маленькими соломенными крышами, потрескавшейся черепицей и жестью, придерживаемой камнями.

Таким показался дворец Эллелу, когда он продрал глаза, лежа рядом с Кутундой на соломенной подстилке. Во сне ее жесткие тусклые волосы, так не похожие на мягкие упругие колечки, коротко остриженные или хитроумно заплетенные в косички, которые украшают головы сестер Эллелу или трех из его четырех жен, разметались и прилипли к лицу; в ее черных волосах встречались рыжеватые пряди, а уголь, которым она обвела глаза, размазался. На запыленной коричневой коже ее щек в падавшем сбоку свете видны были прочерченные по диагонали ритуальные шрамы — по одному на каждой щеке. Звуки окружавшей их трущобы — стук калабашей, скребущий звук от сгребаемого в кучу горячего пепла, хруст развертываемых пакетиков гашиша внизу и бормотание детей в школе Корана на другой стороне крутого, цвета охры, проулка — не позволяли снова заснуть после того, как он совершил молитву, и Эллелу лежал возле тяжело дышащей в беспамятстве Кутунды, словно страдающий от жажды человек возле колодца, сознавая, что его народ умирает, что начинает он свой день с остатками дня вчерашнего, что звуки, которые он слышит — стук, скрежет, хруст, бормотанье, — это звуки безнадежности, звуки, издаваемые на помойке курицами, слишком тощими, чтобы их резать, и клюющими камни, которые никогда не станут семенами. Сам Аллах высох и состарился и куда-то ушел.

Когда Кутунда проснулась, Эллелу спросил ее:

— Это поможет, если убить короля?

Она справила свою надобность в горшок и принялась голышом прохаживаться по комнате, небрежно прорезая ногами мечи и часовых солнца, которые неощутимыми рядами проникали в комнату через горизонтальные щели ставен. Блестящие конусы пыли вращались в воздухе словно точилки брадобрея. Комната была неправильной формы, с гнутыми стропилами из тамариска. Стены из утрамбованной глины были цвета кожи моей любовницы, ее тень мелькала на них, когда она с быстротою, порожденной алчностью, с медлительностью наслаждения занялась самоукрашением: чуть тронула сурьмой каждое веко, надела золотые кандалы на запястья и многорядные ожерелья из красивых бус, нанизанных на волосы из хвоста зебры, на шею — все, что разрешено иметь наложнице диктатора. Сообразно своему положению моя бродяжка придала лицу серьезное выражение, готовясь дать совет. Лишенная тени палаток и канав севера, Кутунда выглядела старше, чем в тот момент, когда я овладел ею. Решительные складки на лбу и вокруг поджатого рта указывали на годы раздумий, разочарования прорыли свои каналы: наверное, лет десять прошло со времени ее первого загрязнения. Она щурилась, — возможно, нуждалась в очках.

— Расскажи мне про этого короля, — сказала она.

— Он слабый, но умный, мой пленник и в определенном смысле мой покровитель — вот почему я и не стал казнить его, когда произошла революция и его насильственная смерть не выглядела бы чем-то исключительным. Сложившаяся политическая и культурная обстановка отдаляла Эдуму от рабочих и крестьян. Его правление было коррумпировано, чему способствовала его личная тирания, — а он был безрассудно жесток в античном, эмоциональном плане, — а также буржуазная идеология его министров, которые, желая укрепить свое положение среди жалкой, ничего собой не представляющей элиты, продавали американцам то, что их отцы продали французам, считавшим, что они по-прежнему этим владеют. Министры уговорили иностранцев путем немалого подкупа взять еще одну концессию и построить еще один отель из стекла, который служил бы публичным домом для кяфиров, — это было единственной их акцией в войне с нищетой. Сложность правления в Африке состоит в том, моя дорогая Кутунда, что при отсутствии серьезного развития торговли или промышленности правительство держит в своих руках все богатства страны, и, следовательно, люди, стремящиеся разбогатеть, монополизируют правительство. Пороки Эдуму были бы заурядными, если бы он держался правильной политической ориентации, а именно: если бы предложил каким-то образом отбросить издавна существующие формы авантюризма и эгоистических интересов, с чем можно было мириться, когда они сдерживались личными взаимоотношениями в рамках маленького племени, но что становится насилием в более широких рамках. Консерватизм Эдуму, который я бы скорее назвал безответственностью и бессилием, прикрывался немалым личным обаянием, даже добротой по отношению к избранным из его окружения, и улыбчивым обскурантизмом безнадежного циника.

— А король, — спросила Кутунда прищурясь, от чего шрамы на щеках поехали вверх, и своим вопросом, как я понял, возвращая меня к проблеме сегодняшнего дня, уводя от риторики студента политических наук с таким серьезным видом, что мне стало страшно за Эдуму, ибо у этой распутной женщины (а к ее запаху прибавились сейчас ароматы специй и духов из лавок черного рынка) голова хорошо, по-мужски работала, — король, он старый?

— Старше, чем кому-либо известно, но, боюсь, едва ли он окажет нам услугу и соблаговолит умереть.

— Никакая это будет не услуга, — сказала Кутунда. — Его смерть лишит правительство видимости инициативы, какою явилась бы его казнь в качестве небесного преступника.

Она употребила термин, бытующий в племени capa и обозначающий человека, совершившего преступление не против соотечественников, а против всеобъемлющей гармонии общепринятых понятий, — на современный язык это можно было бы, пожалуй, перевести как «политический преступник». Совсем обнаженная, если не считать серег и косметических мазей, Кутунда принялась расхаживать по комнате с важным видом, сознавая значение, какое я придавал ее словам. Ее пятки решительно стучали по полу, а пальцы ног словно вдавливались в него, — эти метания из угла в угол по маленькой комнате побудили меня вспомнить, что ее бабка была леопардом. Ноги у нее были толстые и слегка искривленные, ягодицы зрелой женщины восхитительно подрагивали. Я почувствовал зов секса. Мои плечи расправлялись при мысли о том, сколько времени я провел, слушая нагих женщин.

— Надо найти центр болезни, — продолжала она. — Этот центр, я думаю, лежит не в короле, который помимо своей воли является таким, каков он есть, а в твоем милосердии к нему.

— Он подобрал меня, когда я был меньше песчинки — солдат с фальшивыми документами, и пристроил к себе. Он сделал меня сыном, хотя у него уже было пятьдесят сыновей. Да я скорее пролью кровь родного отца, солдата-нубийца, чье лицо исчезло, словно унесенное ветром, чем этого старого тирана, который все мне прощал и до сих пор прощает.

— А что ты такого сделал, что он тебе все прощает?

— Я плод изнасилования. А теперь я правлю голодающей страной.

— А почему у тебя были фальшивые документы?

— Потому что правда ничего хорошего мне не дала бы, да и тебе не пошла бы на пользу.

Ее глаза цвета песка, с трудом, казалось, удерживавшие фокус, скользнули по мне, и она поняла, что слишком много себе позволила. И продолжила свою речь, уже подлаживаясь под мое настроение:

— Мы должны найти центр зла, который мешает небу слиться с землей. Они ведь возлюбленные, земля и небо, и ими владеет страсть такой силы, что они разлетаются столь же стремительно, как и сходятся. Они похожи на мощные машины, какие есть у белых людей: хватит одной злой искры, чтобы они остановились. Демон ведь не захватывает все тело, а лишь точечку величиной с булавочную головку, так как демон недостаточно для этого велик — он должен быть совсем маленьким, чтобы летать. Он может войти в тебя через ноздрю или задний проход и поселиться в горле или в маленьком пальце на ноге. Ты не пытал короля, не искал в его теле такого места, где он не чувствует боли? Там скорей всего демон и сидит, и если ловко всадить в это место раскаленный кинжал, он оттуда выскочит. Но операция должна быть точной. Излюбленным местом для дурных духов являются пальцы — разумно было бы отрубить старому королю руки. Но я вижу, тебе не нравится такой план.

Я молчал — лишь пытался представить себе, как это было бы: кровь, льющаяся из вен, точно из кувшина, призрачные очертания отрубленной руки с пальцами, сохранившими свои отпечатки, и с линиями жизни на ладони, хотя жизни в восковой руке больше нет.

Голова Кутунды исчезла в новом зеленом куссабе, одном из нескольких, заменивших ей лохмотья, в которых я ее нашел. Расшитые золотой ниткой круглые манжеты стягивали рукава. В одежде она выглядела тоньше и игривее, из серьезного политика превратилась в ехидную ревнивую женщину: она явно ревновала меня к королю.

— Отрежь ему яйца, — посоветовала она, — и выставь их на весах статуи Правосудия над главным входом во дворец. *Ванджиджи*, — пренебрежительно произнесла она. — Со времен моего деда никакого Ванджиджи не было, да и тогда его жители славились трусостью и алчностью. В войну они дожидались, пока мужчины другой деревни уйдут, затем являлись туда и убивали детей. Вырви королю глаза и засунь ему в задницу, чтобы они выследили, где живет его демон.

— Демон поселился *в тебе*, — заметил я, хватая ее за яркую ткань, когда она стремительно шла мимо. Бронзовые и серебряные браслеты на ее щиколотках зазвенели.

— Богу негде сесть в Куше! — Она увернулась от меня, губы ее растянулись над скошенными вовнутрь зубами. — На самой высокой вершине сидит сморщенный старик в отсеке, его охраняет солдат в хаки, который хотел бы зарыться в песок. И вот Состраждущий летит дальше, Его река дальше течет, на небе нет ни тучки, и в Куше по-прежнему все сохнет. Ты должен устроить спектакль, полковник Эллелу, чтобы Аллах заметил нас. А то про нас легко забыть. Нужна кровь. Кровь — это дух, и она притягивает дух. Раздери короля: привяжи его ноги к четырем жеребцам и кнутом пусти их вскачь. От криков короля выскочит атом зла и наступит счастье. — Она обнажила в улыбке свои детские зубки, наклонила круглую голову и принялась заплетать косички.

— В твоем плане что-то есть, — услышал я свои слова, хотя при мысли о том, чтобы разорвать моего патрона на части, мои ноги перестали чувствовать вожделение и налились свинцом.

Однако на этой стадии собственного морального распада полковник не пренебрегал своими обязанностями. Обычно он уже сидел за своим столом из зеленой, как все военное, стали, в своем фанатически строгом кабинете, занимавшем угол Дворца управления нуарами и выходившем на Аль-Абид — на гниющие навесы над пыльным суком[[14]](#footnote-14), на шаткие верфи и пироги, тощие, как копье, — задолго до того, как Микаэлис Эзана являлся из соседнего кабинета с докладом; они пили вдвоем утренний шоколад и в нескончаемом диалектическом споре намечали путь страны в будущее.

Эзана так и сыпал фактами и цифрами, он был сторонником получения займов от Всемирного банка и грантов от ЮНЕСКО, проектов сооружения плотин и оросительных систем, капиталовложений, ловко добываемых в результате игры на соперничестве двух сверхдержав (и этой теневой третьей, Китаем, обладающим нужными размерами, но недостаточной массой, субстанцией, чтобы называться сверхдержавой), а в последнее время стал питать надежду на финансовую помощь своих братьев по исламу, нефтяных, опьяневших от долларов, шейхов Кувейта и Катара. В начале Возрождения Эллелу разделял упоение Эзаны этими манипуляциями, рожденными независимостью Куша, не менее сложными и фантасмагорическими, чем манипуляции в мире духов, которыми занимаются колдуньи и марабуты по ту сторону Грионде. Но, видя, что из всех этих планов ничего не получается или хуже чем ничего: дорогое оборудование по очистке земляных орехов перестает работать из-за отсутствия ремонтников, прорытые колодцы превращаются в центры опустошенных пастбищ, единственная построенная плотина стала рассадником улиток, зараженных бильгарциозом, — Эллелу отошел от этих нечистых начинаний и стал со стороны не без иронии смотреть на энергичные попытки Эзаны подключить мир к участию в судьбе Куша. Министр внутренних дел, ранее носивший грубый костюм борца за свободу народа цвета хаки, теперь перешел на костюмы из Лондона, сшитые в Милане туфли, парижские носки с вычурными стрелками и подозрительно мягкие гонконгские рубашки, хотя носить мужчинам шелк запрещено всеми моральными авторитетами ислама; на запястье у него были швейцарские часы, на черном циферблате которых, если нажать на маленькую кнопочку сбоку, загорались час и минуты арабскими цифрами. Подчиненные таращились на эти часы, недоумевая, где же в такой узкой черной глубине хранятся минуты, которые не выскакивают для обозрения. Таким же феноменом являлся и Микаэлис Эзана, который мог в ответ на вопрос представить нужные факты и цифры, но в них недоставало глубины, они были поверхностными. В этом выражалась ограниченность Эзаны, ибо при всех своих способностях и амбициозности он не обладал масштабностью личности, этикой, вдохновляющей склонностью обдумывать свои шаги, что помогает руководителю отбросить неуверенность и повести за собой народ. Сторонний наблюдатель, глядя на двух совещающихся руководителей, заметил бы, что, хотя они оба невысокие и чернокожие, Эзана выглядит более черным, — его круглое лоснящееся лицо источало, излучало черноту. А у Эллелу лицо было матово-черное от долгого ополаскивания водой. Он терпел Эзану, так как кристалл, на котором начертаны вероятности, предсказал, что Эзана никогда не сменит его. Популярность Эллелу по мере того, как сведения о его личной яркой победе во имя народа над капиталистической диверсией распространялись по югу, выросла так сильно, что подозрения в безумии уже не способны были ее подорвать, поэтому он посмел этим утром, пока шоколад остывал перед ними, рассказать Эзане об увиденном.

— Возвращаясь с того места, где мы дали отпор вторжению, — сказал Эллелу, — мы увидели в районе Хайра странную вещь.

— Странный грузовик, — поспешил поправить его Эзана. — Я же министр внутренних дел, товарищ, я твердо взял под контроль эту таинственную историю. Бюро по транспорту теряется в догадках. Из двухсот двадцати шести машин, зарегистрированных в Куше, семьдесят семь являются общественными такси и сто четыре находятся в распоряжении членов правительства; мы провели обследование оставшихся сорока пяти зарегистрированных машин, и ни одна не отвечает описанию четырехосного перевозчика спрессованных для свалки шасси.

— Кто дал тебе, товарищ Эзана, такое полное описание?

— Вас было четверо в автомобиле, двое из этих четверых, насколько мне известно, не спали. Выводы делайте сами.

Мтеса — предатель?

Эзана успокаивающе улыбнулся. Толстые пальцы, унизанные драгоценными камнями, словно на редкость яркими каплями подступающего сладострастия, описали ситуацию в воздухе.

— Воздух Куша прозрачен, тут не может быть тайн, только умолчание, — сказал он. — Речь идет о грузовике. Я не могу взять на себя ответственность за него. Он необъясним.

— Кроме того, — отважился продолжить Эллелу, успокоенный дотошностью собеседника, который свел все туманное к цифровым данным и, пожалуй, сумел развеять даже неосознанную апатию диктатора, — по пути на север в проломе Булубских гор я заметил вдали золотую дугу, возможно, две золотые дуги — я в этом не уверен.

Эзана перестал жестикулировать и застыл.

— А кто-либо, кроме тебя, мой президент, видел это?

— Ни Мтеса, ни Опуку не могут подтвердить, что я это видел, хотя мы остановили машину и обошли окрестность в поисках удобного места для обозрения. Опуку указал мне на дымок, поднимавшийся от какого-то лагеря, и побудил меня посмотреть в том направлении. Если они и видели... можно было бы сказать... я подумал... странное это место.

— Это случилось, как я понимаю, наутро после утомительного вечера, который вы провели с русскими на ракетных установках, что само по себе способствует невольному отключению от реальности.

— Это правда. Но я не настолько устал и не находился под парами алкоголя, который тек рекой под оглушительный хохот этих варваров, чтобы меня могли подвести собственные глаза. А не могли быть там поблизости древние развалины или какие-то дополнительные советские установки, о которых неизвестно министру внутренних дел?

— Ты министр обороны, и тебе известно мое мнение об этих военизированных маскарадах, которые устраивают суперпараноики. Нет никакой надобности удваивать макеты ракет, а если бы они приняли такое решение, зачем рекламировать местоположение ракет сверкающими шпилями?

— Это были арки, а не шпили.

— Не важно. Блеск песка и нагретые слои воздуха производят странные трюки. Дьявол пустыни развлекается, устраивая trompe-l'oeil[[15]](#footnote-15). Успокойся, мой президент. Я думаю, слухи о голоде чрезмерно подействовали на тебя, лишив спокойствия духа.

— Слухи? Это же факт.

— Преувеличенные слухи, спорные факты. Западная пресса с наслаждением описывает нашу некомпетентность. Кочевники всегда снижали наши показатели. Они ведут архаический, никчемный, деструктивный образ жизни. Их нелепое клеймение скота приводит к гибели животных. Надо использовать эту возможность и сделать их оседлыми. Снявшиеся со своих мест кочевники и фермеры, чьи посевы постиг неурожай или их уничтожили не ведающие законов стада, уже сгрудились на окраинах Истиклаля, их палатки и лачуги, разбитые рядом с аэропортом на виду у прилетающих самолетов, создают впечатление нищеты, которую ничто радующее глаз не скрашивает. Древних стран, в которых они жили, больше не существует, они граждане нашей новой страны, — не страны туарегов, или салю, или фула, или моундангов, а Куша, и Куш должен протянуть им руку помощи, расселить, дать образование, принять в армию. Голод, который так тебя тревожит, — на самом деле это следствие Возрождения, случайное незапланированное климатическое явление.

Хотя Эллелу и был тронут этим отзвуком собственной риторики, тем не менее спросил:

— А кто даст средства на то, чтобы расселить, дать образование, набрать этих людей в армию, как ты сказал?

Эзана уставился в верхний угол комнаты.

— В ущелье Иппи, — произнес он, — есть интересные геологические залежи.

Эллелу не слушал его. Он встал и торжественно произнес:

— У каждого блока богатых стран есть государства-клиенты, чье процветание стратегически важнее для них, чем наше. Наше место за столом на самом краю, так будем лучше стоять и по крайней мере тревожить совесть пирующих.

От раздражения блестящее лицо Эзаны замкнулось.

— На этом пиру ни у кого никогда не было совести, — сказал он. — Мы *за* столом, товарищ, и тут уж ничего не поделаешь. Такого не бывает, чтобы народ не выжил в нашем мире. Человек — да, может уйти в святость, но народ как коллектив стремится к процветанию. Народ — он как растение, он ниже человека, а не выше.

— Однако народ смотрит вперед и должен что-то видеть. Ты говорил о случайности — это святотатство. Голод существует, и, следовательно, ему должно быть объяснение — марксистское и божественное. Я думаю, это значит, что наша революция была осуществлена недостаточно тщательно: она оставила гнездо реакции здесь, во дворце, на этаже под нами, в дальнем крыле. Я знаю, тебе известно, что король еще жив. Что ты скажешь, если мы публично его казним?

Микаэлис Эзана пожал плечами.

— Я думаю, это не будет чем-то необычным. Король ведь уже принадлежит предкам.

— Это приведет в ужас мировую буржуазию, которая сентиментально относится к монархам, — предупредил Эллелу. — Их стремление прислать нам плоды своих восьми добродетелей может поугаснуть, и бумаг в твоем ведомстве поубавится.

Эзана снова пожал плечами.

— Казнь короля перережет связь с колониальным прошлым. Он твой личный узник, поступай с ним, как считаешь целесообразным.

Он принялся укладывать назад в портфель смятые бумаги — диаграммы, карты, компьютерные распечатки, которые, как обычно, не вызвали интереса у президента. А Эллелу сел и стал пить остывший шоколад. Но не только это портило его вкус — примешивалось что-то еще, что-то с привкусом солода, искусственное, чем-то разбавленное, мягкое, витаминизированное. Внезапно Эллелу осенило, и он буркнул Эзане одно лишь слово:

— Овальтин!

Ситтина, моя третья жена, жила на вилле, окруженной кустами олеандров и бамбука, среди детей, которых она даже не пыталась представить моими, и недоконченных картин, недотканных материй, брошенных на станке, и платьев с блестками, которые оставалось лишь подшить. На клавесине всегда лежал клавир, открытый на той же фуге. Она обладала слишком многими талантами и ничего не доводила до конца. Черная, как сажа, стройная, с серьгами в виде больших колец, свисавших не с мочки, а с округлого верха ее ушей и по мере того, как она поворачивала свою прелестную, маленькую, откинутую назад головку, задевавших то одно плечо, то другое, она относилась ко мне свысока и держала меня на расстоянии, — почему-то я находил это, как ни странно, жизнеутверждающим.

— Значит, на кухне дворца для разнообразия варят овальтин вместо настоящего ганского шоколада, — сказала она. — Ну и что? Ты считаешь, что сжег все продукты, которые янки сюда присылают? Не так-то это просто: каждый день они производят новые тонны своего мусора. Пусть тебя это не тревожит, Феликс. Посмотри правде в лицо: Африка помешана на торговле. Где еще ты можешь купить на рынке щипчики для ногтей? Я хочу сказать, этому нет удержу.

Она бросила все это через плечо на своем американском английском. Дочь вождя тутси, она была отправлена во время истребления хуту в маленький колледж для черных в штате Алабама и установила там несколько рекордов по спринту. Округлость ее икр и длина ног полонили мое сердце в расцвет восстановленного правления Эдуму, когда она в 1962 году участвовала в панафриканских играх в Нуаре. Хотя в нашем браке она была всегда непостоянна, как ветер, с которым состязалась, когда бежала, я никогда не считал ее плохой женой. Часто, когда я в свои тридцать лет лежал в постели с другой в бездумные шестидесятые и полон был мужской силы, у меня возникала эрекция при мысли об ее остро стоящих сосках и ягодицах, напоминающих гладкие фасолины. Однако в реальности она была более сложной, чем представлялась в моих мыслях. Мы с Ситтиной уже четыре года не занимались любовью, хотя младшему из детей, с вытянутым черепом и блестящей кожей, который, лепеча, вперевалку передвигался по комнате, преследуемый попугаями и любимыми обезьянками пата, еще не было и двух лет. На Ситтине было дашики с большим вырезом и длинными рукавами и штаны цветов радуги из жатой вуалевой ткани — они колыхались и хлопали по ее прекрасным, стремительно передвигающимся ногам. Она была увлечена одним из своих никогда не доводимых до конца проектов — моделированием одежды, и ее наряд, одновременно современный и вневременной, настолько западный, насколько и африканский, был создан ею самой. Но, говорила она, перебивая свой рассказ обращением к требовавшим внимания детям, — а они поглядывали на меня, в моем костюме хаки безо всяких украшений, как смотрят на садовника или посыльного, который вошел в дом дальше положенного на целых шесть шагов, — нынче просто невозможно добыть материю и даже иголки и нитки, на рынках нет ничего, кроме самого дешевого мерикани, выцветших штук материи, должно быть, привезенных еще миссионерами; кроме того, в результате революции резко сократилась европейская колония и заказчиц не стало, а жены кушитов никуда не выходят из своих домов, да и албанки — это дикарки с прямыми волосами, пахнущие мокрой шерстью, а эта жуткая госпожа Эзана — и как только он может ее терпеть — *такой* синий чулок! — расхаживает повсюду с голой грудью, чтобы показать отсутствие политических отклонений.

— Pas chic[[16]](#footnote-16), — сказала Ситтина.

Слова ее казались жалобой, но это не звучало в голосе. У меня создалось впечатление, что я пришел на другой день после того, как она ходила к любовнику или кто-то посещал ее, — отсюда эта благостность, эта манера тараторить на отвлеченные темы.

— А что ты предпринимаешь по поводу засухи? — спросила она. — Даже козья голова стоит невероятных денег. За одну кассаву дают двести лю. Поставишь на подоконник молоко, киснуть, — через пять минут его уже нет, украли. Беженцы с севера приходят в город и воруют. А что еще беднягам делать? Прошлой ночью моего ночного сторожа полоснули ножом по горлу, он надулся и ушел домой. Не спрашивай, где я была, — не помню. У меня забрали блюда из нержавеющей стали и две мои старые награды, а вот украсть Шагала у них ума не хватило.

Картина Шагала — обычный несуразный еврей, с улыбкой глядящий на зеленую луну, — была подарена королем нам на свадьбу. Сейчас она висела на дальней стене между маской праздника урожая в Ифе и сомалийской попоной крайне замысловатого рисунка. Ситтина, носившая имя королевы Шенди, обставила просторную гостиную виллы в «артистическом» стиле изделиями из Нижней Сахары, их строгие черные и коричневые цвета, шкуры с рыжим отливом и пустые тыквенные бутылки, все еще пахнущие той породой, от которой они были осторожно очищены на последней стадии производства, сосуществовали с прямолинейными и идеально отполированными машиной поверхностями датских кресел и кофейными столиками из стекла и алюминия, спасенными из разграбленных европейских кварталов в 1968 году. Эта комната с ее побитыми и потрескавшимися, случайно попавшими сюда вещами и атмосферой не осуществленных до конца намерений казалась дешевой подделкой по сравнению с пришедшей мне вдруг на память комнатой с белой лепниной и ненадбитыми безделушками, — комнатой неопровержимо уютной и нерушимо солидной, хорошо пригнанной, как киль корабля, застланной ковром от стены до стены, уставленной прямой, полированной шишковатой мебелью без чехлов, включая встроенный телевизор и странный, конической формы столик с тремя полочками-подносиками, на которых стояли прозрачные сверкающие пресс-папье, а в центре — свернутые в трубочку бумажки или пластмассовые цветы, дурные глаза всех цветов, казавшиеся многоликими сестрами серо-зеленого циклопического глаза невключенного телеэкрана; вся мебель в той экзотической далекой комнате создавала ощущение безжизненности, окуренности, исключающей вторжение в эту чистоту, которая давила на меня, пока я ждал, когда спустится по лестнице некто — олицетворение любви, женщина, такая же идеальная и белая, как дерево, в лоне которого она жила; натертые ступеньки и тонкие балясины перил делали своеобразный пируэт у основания лестницы, этакое созданное плотничьим искусством завихрение, так диссонировавшее — будучи одним из вторжений в мое восприятие, что в последнее время стало часто случаться, — с темными грязными тонами, господствовавшими на вилле Ситтины, с нежной хрупкостью африканских изделий, с ломкими блюдами, с идолами, с домами из глины, которую сначала размачивают, потом придают ей форму, а затем высушивают шкурами и сухими кореньями, вновь превращающимися в прах и траву, как и сами люди, которые в минуты веселья поднимаются из глины и потом снова в нее опускаются перед ничего не выражающим лицом Аллаха, которое верующие видят сквозь семь покрывал рая в последний блаженный миг. Моя память предала проклятию настоящее. Небрежная красота Ситтины, исходившее от нее в этой неприбранной комнате желание, чтобы я ушел и она могла вернуться к своему образу жизни, — а ее забавляло ничего не завершать, — все это усугубляло отчаяние, какое знают лишь те, кто живет меж двух миров.

Но кто в современном мире не живет меж двух миров?

— Я рад, — сказал я ей, имея в виду Шагала. И добавил про засуху: — Мы принимаем меры.

— Господи, Феликс, от тебя так и несет меланхолией.

— Извини. Кое-что в тебе подействовало так на меня.

Стремительным жестом она подняла руки, проверяя прическу, а волосы ее были подняты и ловко заколоты двумя высушенными рыбьими хребтами. Женщины Куша не жалеют труда, заплетая и скручивая волосы в необыкновенные прически. Несомненно, существует марксистское объяснение этого феномена, кроющееся в несоответствии количества имеющейся рабочей силы количеству имеющихся материалов, — обилие в наших музеях изделий, требующих упорного труда, вся наша история свидетельствуют о невероятном переизбытке жизни, времени, заполняющем все щелочки, в то время как тропические растения оплетают каждый дюйм, заслоняя свет. Ситтина кокетливо повела рукой. И с запинкой произнесла:

— У меня назначена встреча вне дома, но если мой господин... пришел осуществлять свои... права, я никуда не пойду. И буду рада. Однажды... мы... Я пытаюсь извиниться, хоть и не уверена, что причина во мне. До революции мы были достаточно долго вместе. Разве не так?

— Так, Ситтина. Твоя тень в темной комнате... — Я не мог докончить фразу: память опустила свое покрывало.

— Я что, стала врагом народа, и потому ты меня отталкиваешь?

Воспоминание о ее теплой тени, о внезапном охвате ее длинных ног, о моей руке под крепкими ягодицами заслонило эту душную гостиную с ее злокозненной пляской балясин и таращащимися стеклянными objets[[17]](#footnote-17), и я почувствовал, что на меня нахлынули волны прошлых переживаний и мне трудно достаточно ясно объяснить то, чем я хотел с ней поделиться

— При старом короле мы жили, следуя его примеру, его жизнестойкости и его никем не опровергнутой уверенности, что он прав, — прав, требуя и потребляя то, что многие, отрывая от себя, давали ему, несмотря на свою бедность. Когда его сбросили с трона, многое, что считалось — назовем это здоровым и морально нейтральным, — ушло с ним, так как было неразрывно связано с коррупцией, буржуазным феодализмом, старым взглядом на вещи. Ты и я — мы оказались среди невинно пострадавших. Извини.

— Я бросила отца ради тебя в такое время, когда его загнали в горы, — сказала она. — Когда волна убийств спала, он предложил мне занять мое место принцессы тутси. Я отказалась. И продолжаю оставаться с тобой, хотя вся Африка говорит, что ты сумасшедший.

— А это так?

— Так говорят. Я не могу судить, правы люди или нет. По нашим традициям, безумие священно, мы взывали к безумцам, чтобы они правили нами.

— Обязательство, которое ты намерена выполнять, возбуждает тебя?

— Возбуждало. Теперь же ты меня сбил с толку.

— Помнишь наши свидания под стадионом, когда мы были детьми короля?

— Король, король. Теперь *ты* король.

— Ты по-прежнему воркуешь, когда раскрываешь ноги?

— Я же сказала: я остаюсь. — И она плюнула — в знак вежливости, как это принято у тутси.

— Уходи. Во мне кипит тяжелая кровь.

— Должна сказать, ты прямо-таки источаешь чувство вины.

— Со временем, когда страна снова станет здоровой, мне приятно будет числиться среди тех, кто служит тебе, Ситтина.

— Ты бежал, когда в нашей армии никого не оставалось, кроме тебя. И, насколько мне известно, ты привез с севера девчонку племени capa и поселил ее над мастерской, где плетут корзинки.

— Это дело чисто государственное. Женщина является моим советником.

— Спроси моего совета, — она говорила в ритме с движениями рук: закрутила тюрбан на голове и обмотала конец ткани вокруг горла, — и я скажу тебе: отдай Куш обратно старику Эдуму и лягушкам и снова наполни приличным паштетом наши лавки.

— Мне понравились твои слова насчет безумия, — сказал я. — А ты знаешь, — продолжал я, почему-то не желая завершать этот рваный визит, — у англичан одно время был план затопить всю Сахару, только потом они поняли, что это — плато. Они считали, что Сахара наполнится водой, как ванна, потому что на их картах она находится ниже Средиземного моря!

Ситтина тем временем расхаживала по комнате, целуя то одного ребенка, то другого, словно черная птица, опускающая узкую голову в воду за рыбой; машинально она поцеловала и мужа, только тут ей пришлось наклоняться совсем немного, так как диктатор Куша был всего на шесть дюймов ниже ее. От ее дыхания, которое стало более глубоким от волнения, вызванного предстоящим уходом, пахло анисом. Она пошла к двери — крой штанов и тюрбан удлиняли ее фигуру, и она казалась выше ростом.

— Я люблю тебя, — сказал Эллелу, но она его не услышала.

Суд над королем проходил гладко. Известие, что он еще жив, как ни странно, не вызвало удивления. Население никогда не покидало это чувство. За здоровье монарха по-прежнему пили в барах пальмовое вино и поминали его в тесных закутках, где правоверные жуют кат, а неверные заглатывают барасу и пиво из кукурузы. Даже в школах в перечнях властителей Ванджиджи окончание правления Эдуму IV обозначалось тире, без даты.

Для иностранной прессы распространялись слухи, один за другим, и постепенно приподнимались покровы над развитием событий во Дворце управления нуарами. Согласно первому слуху, король жил в изгнании за рекой среди верных ему ванджей, которые по-прежнему меняли рыбу и зубы гиппопотамов на соль и бусы джю-джю по правилам, издавна установленным капитаном Бокассой из бывшего Убанги-Шари. Согласно следующему слуху король, поверив дурному совету, перешел через Грионде, чтобы возглавить ревизионистский промонархический переворот; эта нелепая затея, основанная на фантастичных разведданных ЦРУ о том, что народ Куша разочаровался в Возрождении и в ЧВРВС, конечно, провалилась, встретив на северном берегу реки непоколебимую солидарность кушитов, сильных своим национальным сознанием. В третьем слухе утверждалось, что последователи короля понесли ужасающие потери, а самого короля взяли в плен, и из захваченных бумаг (это был уже четвертый слух) стало ясно, что нехватка продуктов в последние годы объясняется не плохим климатом Куша или его неплодородными землями, а деятельностью в правительстве заговорщиков-роялистов. Согласно пятому слуху, подполковник Микаэлис Эзана великолепно вылавливает и удаляет этих антинародных профеодальных предателей из министерства внутренних дел и Бюро по транспорту, которые, как это было обнаружено, экспортировали продукты питания в соседний Сахель, где вдоль границы был обнаружен крупный противозаконный запас продовольствия, уничтоженный благодаря личной бдительности и действиям самого полковника Эллелу в ответ на информацию, поступившую от патриотки Кутунды Траорэ из храброго племени capa.

Упоминание Кутунды было не моей идеей, а Эзаны. Он встретился с ней в моем кабинете, куда она приходила среди дня, чтобы, спасаясь от жары, насладиться прохладой кондиционированного воздуха и принести мне обед, состоявший из перченой сырой баранины и маниоки с медом, купленными на рынке Хуррийя, а также подзанять несколько лю. Шуршание бумажных денег с замысловатым рисунком приводило эту невинную душу в восторг; в деревне, где она жила девочкой, было, помимо голов скота, всего два вида денег — гигантские железные палки, которых женщине не поднять, и крошечные круглые зеркальца, которые не найти, если уронишь. Эзана плохо говорил на языке capa и часами взвизгивал и хохотал с Кутундой над собственными грамматическими ошибками.

Для народа Куша было сделано следующее объявление:

*Ко всем гражданам Куша*

Чрезвычайный Верховный Революционный и Военный Совет Возрождения объявляет, что злополучный Эдуму, ранее известный как Повелитель Ванджиджи, признан виновным в тяжких преступлениях и проступках против народа и окружающей среды Куша, что привело к огромной нехватке продуктов питания, неурядицам и страданиям народа. Национальная честь Куша и воля Аллаха требуют осуществить правосудие над этим реакционером и дискредитированным эксплуататором масс, который за время своей пародии на правление присвоил средства производства и источники дохода, а кроме того, бесчеловечно и безжалостно приказывал убивать и позорить тех, кто служил ему, а своим приближенным высказывал сомнения в существовании единственного подлинного Бога, Состраждущего и Милосердного, чьим Пророком является Мухаммед. Само присутствие в стране вышеуказанного Эдуму размывает и подрывает научный социализм Куша. Это пятно на нашем флаге будет с радостью убрано в двенадцатый день Шавваля сего 1393 года на площади перед мечетью Судного Дня Беды в священной столице Истиклале.

Полковник Х.Ф. Эллелу,

Президент Куша,

Председатель ЧВРВС

Это обращение, напечатанное на зеленых транспарантах, было расклеено на стенах города и прочитано нараспев на арабском, берберском, французском языках, а также на языках тамахаг, салю, capa, тши и га с высоты минаретов, из окон Дворца управления нуарами, с обветшалых деревянных балконов индийских лавок и крытых травой крыш приречного рынка-сука. Объявление об этом висело даже во вращающемся ресторане стеклянного небоскреба, который восточные немцы возвели во славу социализма.

Однако на казнь народу пришло немного. К середине утра солнце уже высоко стояло в небе и глина на площади, утрамбованная прохожими до гладкости слоновой кости, резала белизной глаза и жгла необутые ноги. Несколько военных грузовиков стояли в ряд с опущенными бортами, чтобы создать помост для церемонии. Короля Эдуму в белых одеждах вывели солдаты, которые, судя по их осанке и ауре и по тому, как они вели себя и держались, встретили великий день стопками кайкая, король же шел, подскакивая после допроса, во время которого главным объектом внимания были его ступни, и щурясь от непривычно яркого света, чувствительного даже для его больных роговиц. Жидкая толпа, по крайней мере наполовину состоявшая из детей, которых отпустили из школ, стала было приветствовать его и тут же погрузилась в озадаченное молчание, увидев, как короля, которому за это время не раз помогали высвободить тщедушное тело из просторных сверкающих люнги, подняли на доски стоявшего в центре грузовика, где на складных стульях сидели Эллелу, Эзана и девять других полковников. Плаха была вырублена из кроваво-красной бафии. Король неуверенно стал возле нее, сначала не зная, куда должно быть обращено лицо. Позади него неровной дугой, удвоенной, как иногда бывает удвоена радуга, зонтами, стояли в кузове других грузовиков и даже сидели на крыше кабинок его жены и потомки, а также менее важные правительственные чиновники. Из четырех жен Эллелу ни одна не соблаговолила появиться, зато Кутунда Траорэ присутствовала, разодетая в изумрудное бубу и в тюрбане, созданном Ситтиной. Она оживленно переговаривалась то с одним чиновником, то с другим, вскидывая голову и покачивая бедрами, — словом, изображала из себя хозяйку церемонии. Эллелу тщетно пытался найти в ее лице следы той грязной потаскухи, которую он встретил с колодцекопателями. Почему, пытался понять он, поколение за поколением, из века в век всей полнотой энергии обладают вульгарные люди? Тем не менее детский восторг и чувство собственной значимости, что источала Кутунда, поражали в этой атмосфере смущения, когда на площади было так мало людей и не слышалось фанфарного звука радостного облегчения и всеобщего согласия, на которое он рассчитывал.

Впрочем, она была не одинока — еще один человек совсем не выглядел подавленным, и это был король. Став инвалидом от старости и пыток инквизиции, чувствуя себя не так уверенно под пустым куполом неба, как среди тесных стен своего заточения, король тем не менее держался стоически. Его лицо цвета темной фиги, окруженное нечесаной шерстью, светилось мужеством под сверкающей золотом повязкой. Невзирая на наглые выкрики, его маленький горбатый нос был повернут в том направлении, где стояли горожане. А они, за исключением нескольких детей, держались подальше от грузовиков, нырнув в проулки и под навесы кафе, полосами тени окружавшие площадь. Толпа была не единой, она не заполняла площадь, а состояла из отдельных сгустков, пожалуй, столь же неподатливых с виду, как сгустки крови, из которых Аллах сотворил людей. Король поднял руки.

Он заговорил на языке, какого Эллелу не знал. Несколько человек из толпы, которая перестала перешептываться, вышли из проулков и из-под навесов на жаркую глину, чтобы лучше слышать, — это были те, кто понимал язык вандж. Таким образом, самые суровые и черные лица появились впереди, оставив позади обладателей коричневых, красновато-коричневых, просто смуглых физиономий. А король, будучи слепым, смотрел прямо на солнце и ораторствовал:

— Народ Ванджа, радуйся со мной! Сегодня я присоединюсь к нашим предкам, которые живут под землей и являются нашей кровью! Безумная солдатня, которая пытается править нами, — это марионетки в руках наших предков, которые поиграют ими с минуту, а потом отбросят. Если их правление справедливо, почему же Бог небесный пять лет не дает нам дождя? Они говорят: Эдуму — средоточие болезни, но когда я был Повелителем Ванджа и, околдовав французов в их маленьких круглых шапочках, заставил быть у меня полицейскими и писцами, дождь шел в изобилии, и пальмы орошали своим вином землю, и в Нуаре не хватало верблюдов, чтобы возить наши земляные орехи в Дакар! В чем меня обвиняют эти несчастные солдаты, эти апостолы «socialisme scientifique»[[18]](#footnote-18) (на языке вандж нет такого понятия)? В черной магии, в том, что я «un élément indésirable»[[19]](#footnote-19) среди пресловутой чистоты Куша! А я говорю: Куш — это фикция, дурной сон, приснившийся белому человеку, и те, кто делает вид, будто правит здесь, люди перевернутые и вдвое согнутые. На самом деле они белые, только в черных масках. Посмотрите на них — вот они сидят позади меня со своими толстыми женами и еще более толстыми детьми! Какое эти люди имеют к вам отношение? Никакого. Они пришли издалека грабить и порабощать. По древнему закону Ванджиджи я бросаю им вызов: пусть тот, кто меня обвиняет, казнит меня! Если демон даст силу его руке, чувство вины проползет по его плечу и бременем ляжет на его душу. Если же он дрогнет, я останусь жить, и у тех, кто говорит на языке вандж, по-прежнему будет Повелитель и живая связь с богами предков!

Толпа бессвязно зашипела и забормотала — солнце, близясь к зениту, выжигало цель и ясность из церемонии. Полковник Вамбутти, говоривший на языке вандж, нагнулся и шепотом передал содержание сказанного королем на ухо Эллелу. Президент кивнул, поняв брошенный ему вызов. Он поднялся и стал глазами искать меч палача.

Нельзя отнять у ныне дискредитированного (в некоторых областях) Эллелу проявленного в этот час величия духа. Он трусовато отсутствовал на допросах короля, а когда старик, которому так отбили стопы, что они превратились в месиво мертвенно-белой плоти, признался, что сговорился с дьяволом пустыни Рулем и с Жан-Полем Шремо, христианином, премьер-министром Сахеля, устроить засуху и деморализовать народ, Эллелу бродил по городу в обличье торговца апельсинами. К тому времени когда президента отыскали и привели в застенок, король уже отказался от ранее данных показаний и при виде Эллелу принялся зачем-то нелепо перечислять названия американских фирм, выкрикивая:

— «Кока-Кола»! «Полароид»! «Шевроле»! «Ай-би-эм»!

Возмущенные марабуты и профессиональные палачи хором решили, что тут и в самом деле не обходится без дьяволов. Эллелу побелел и вышел вон.

Не так повел он себя сейчас. На него снизошла некая сила и одарила его спокойствием. Он шагнул к королю.

Король тихо произнес, повернувшись к солнцу:

— Я знаю эту поступь.

— Ты уверен?

Король не повернул головы, словно не хотел даже смутно увидеть мое лицо. Он предпочитал смотреть в сияющую пустоту.

— Еще одна поговорка пришла мне на память после нашего разговора.

— Какая же, мой Повелитель?

— Wer andern eine Grube gräbt, fället selbst hinein. Кто роет другим яму, сам туда упадет. Так мои старые друзья говорили про своего фюрера.

— Все мы провалимся в яму. И та, что ждет тебя, не глубже других. Ты просто стоишь у края ее.

— Я думал не о себе, а о полковнике Эллелу. — И он рассмеялся — звук был такой, словно маленькую изящную коробочку раздавили ногой. От его тела слегка попахивало гвоздикой.

— Не я совершаю это действие, — сказал я, — а Куш.

— В таком случае, значит, о милосердии не может быть и речи?

— Этому меня не учили.

— Твоему учителю, очевидно, приходилось слишком многому тебя учить.

— Было бы богохульством отнять у Самого Милосердного его прерогативу. Зачем говорить о милосердии людей, когда может свершиться правосудие?

— А такое возможно?

— Увидишь.

Я протянул за его спиной руку. Опуку держал гигантский ятаган, взятый для этой церемонии из Народного музея империалистических зверств, так как французы во имя соблюдения этнических традиций разрешали таким классическим способом казнить до тех пор, пока не привезли гильотину, которая ныне тоже находилась в музее. Верховный Совет отказался от мысли использовать в данном случае гильотину, поскольку это отзывало неоколониализмом. На заре Возрождения приговоренных к смерти всегда расстреливали. С внутреннего двора Дворца квадратными облачками, похожими на куски пирога, вытащенного из печи, поднимался синий дымок. Подумать только! В моем экзальтированном мозгу собралось много не связанных между собой образов. Представьте себе нож гильотины, обернутый соломой и холстиной, чтобы уберечь острие, но, возможно, в обертке возникли прорехи, и отблески металла полетели по пустыне с вьючного верблюда, который, покачиваясь, нес гуманное орудие убийства в это самое удаленное и наименее доходное сердце Африки.

Бронзовая рукоятка ятагана в виде перевитого шнура чуть не выпала у меня из руки, таким неожиданно тяжелым оказалось лезвие. В этой жизни, сотканной из иллюзий и мимолетных впечатлений, так приятно встретить что-то тяжелое, прикоснуться к свинцовой сердцевине вещей, к камню из пещеры Платона. Мне пришла в голову мысль об апельсине. Я высоко поднял меч, так что отблеск его сверкающего острия пролетел по площади, как ястреб смертоносной яркости, резанув по глазам толпы и затвердевшей глине фасадов, по боязливо закрытым ставнями окнам, по выбеленным, изрешеченным гвоздями стенам и квадратному, устремленному в небо минарету мечети Судного Дня Беды. Раскаленное небо поглотило промелькнувшие блики и снова обрушило их на землю, когда опустился ятаган. Похоже, речь короля требовала ответа.

— Народ Куша! Не слушайте богохульства этого преступника! По счастью, ваш президент берет в руки орудие Господних правил! Да будет славен тот, кто верен им! «Неверные слишком любят эту мимолетную жизнь и тем самым готовят себя к тяжелому Судному Дню!» И Судный День настал для так называемого Повелителя Ванджиджи! Он — пустая торба, маска без лица! Во время своего правления Эдуму прибрал к рукам богатства, созданные вашим трудом. Он взял себе ваших самых стройных женщин и назвал лучшие ваши земли своими. Тубабы собрали налоги под его троном; под прикрытием его королевского слова из страны вывозили богатства, схороненные Богом в наших горах и в нашей реке. Благодаря этому предателю неверные распутницы в странах, где царят туман и облака, щеголяют в наших драгоценных камнях. Сентиментальные элементы в Верховном Совете до сей минуты сохраняли ему жизнь! Это было ошибкой, безобразием! И Бог за это проклял нашу страну! Мечом, который я держу, я очищу страну! В священных книгах написано: «Идолопоклонство хуже резни». Те из вас, кто подошел поближе, чтобы услышать слова на языке вандж, выслушайте и эти слова! Повелитель Ванджиджи — сгусток крови, пятно на чистоте Куша. Его жизнь была долгой и мерзкой. Он хитрит. Его мудрость бесплодна. Он издевался над Эллелу. Он издевался над Революцией. Я действую сейчас не от своего имени, не как Эллелу, а как дыхание Возрождения, сдувающее комочек грязи! Божья воля придает моим рукам силу! Да увидят те, кто сомневается!

Тем временем Опуку и один из полковников — по-моему, полковник Батва, бывший борец-призер, — пытались заставить короля опуститься на колени и положить голову на плаху в форме седла из красной бафии. Король по слепоте или из представления об унижаемом достоинстве не желал подчиняться — даже подумать трудно, сколько пинков выдержало его старческое тело; толпа немного похихикала. Несмотря на красный туман, рожденный в мозгу моим словоизвержением, я физически ощущал, что он чувствует, как борется его хрупкое, негнущееся тело. Я вошел в его оболочку во тьме, ничего не видя, стискиваемый и толкаемый выступами мускулов. Кто-то схватил меня за волосы, что-то твердое ударило по подбородку, нагретая солнцем бафия обожгла горло. Пахло дымом. Апельсин в моем мозгу покатился. Голова короля лежала на плахе. Посмотрев вниз, я увидел, что стою опасно высоко. Путь, который должен проделать по воздуху ятаган, казался длинным водопадом хрусталя. Несколько капель пота засверкало в сети морщин на оголившейся шее старика, когда Опуку, пожалуй слишком уж грубо (мелькнуло у меня в мозгу), натянул вперед волосы Эдуму, свалявшиеся и желтые, как шерсть овцы. Я вгляделся в нужное место между двумя позвонками. Почему-то в мозгу всплыло воспоминание о засахаренном яблоке, какие продают на окружной ярмарке в Висконсине, — жесткая глазированная поверхность, тоненькая деревянная палочка, а сверху колпачок из кокоса. Самое трудное надкусить его. Король прочистил горло, словно намереваясь обратиться к кому-то из нас. Но его мысль, тоненький ручеек в жарких песках страха, так ничего и не родила, а то место, где уютно сходились две морщины между двумя шейными шишечками, притягивало напряженное внимание, словно оттуда исходила струйка пара. Руки Опуку глубже погрузились в шерсть, будто в ответ на то, что король напрягся для борьбы, и я понял, что момент, который я всем своим существом хотел оставить позади, был все еще на секунду впереди. Грудь моя наполнилась божественным вдохом, и ятаган опустился. Хотя лезвие прошло насквозь, до дерева, звук оказался более топорным, более многообразным, чем я ожидал.

Солнце. На глинистую площадь обрушивался еще один беспощадно яркий день. Зеленый металл там, где облупилась краска на зазубренном крае лезвия, привлек мое внимание. Я обнаружил, что жду — в пустоте резкой тишины перед тем, как толпа разразилась победоносным ревом, — когда король, как предвещало его покашливание, скажет еще что-то.

От этих воспоминаний чернила сохнут на моем пере.

Могучий Опуку держал в вытянутой руке голову короля — так центр баскетбольной команды противника демонстрирует свой пугающий захват одной рукой. Меня затопило чувство облегчения от совершенного, так что я не сразу заметил, как мало крови вытекло из отрубленной головы. Этот медицински объяснимый факт — мозг в своем стремлении выжить вобрал в себя, как губка, всю кровь — не забудут в унаследованном мной королевстве. Глаза короля, хвала Аллаху, были закрыты, а его тело в шелковом белом люнги подрагивало с какой-то омерзительной силой, даже руки хлопали. Опуку ногой в сапоге нажал на тело, и из отрезанного горла, романтически расцвеченного багрово-красным и синим, с рыданием выплеснулась кровь. И перед моим мысленным взором неожиданно возникла плоская часть того засахаренного яблока, на которой оно лежит, пока не затвердеет, и где толще всего сахаристая тягучая глазурь. Вкус этой глазури, когда ее откусишь, и ее упорную сопротивляемость я ощутил так же живо, как и прорезавший стоячий воздух радостный крик Кутунды, похожий на вопль плакальщицы, более искусственный, чем вой собаки. Туча москитов прилетела напиться.

Так это выглядело с грузовика: москиты, кровь, зазубренное металлическое острие и никак с этим не связанные воспоминания ярмарки, — все это спрессованное солнечным светом в момент, где отсутствуют и чувства, и смысл, но где тем не менее ощущается разлитое облегчение. С позиции же толпы все выглядело совсем иначе: коричневая аккуратная фигура Эллелу в солнечных очках выступила вперед и одним взмахом, словно ударом рычага, изменила калибр самой маленькой марионетки на временно устроенной сцене. Голову подняли в воздух. И тут неожиданно появились другие марионетки — туареги в синем с закрытой тагильмустами нижней половиной лица; человек двадцать прискакали с восточной стороны площади на прекрасных арабских лошадях, смешались с людьми в хаки на зеленых грузовиках и после потасовки унесли с собой меньший из двух останков короля.

Во время стычки Опуку получил рану в плечо, а жена полковника Эзаны — непристойное предложение, но нападение было настолько стремительным (будь толпа такой многочисленной, как ожидалось, туарегов остановили бы и разгромили) и нацеленным, судя по всему, лишь на захват отрубленной головы, что, казалось, прошел вихрь, шумный, однако безопасный. Некоторые люди в толпе сочли этот эпизод частью устроенного правительством спектакля.

Эллелу с поразительным присутствием духа обратился к несбежавшим зрителям:

— Граждане Куша! Не бойтесь! Так называемый Повелитель Ванджиджи мертв — предполагаемым спасителям пришлось удовольствоваться неописуемыми отходами его физических останков! Душа его отправилась в вечный огонь! Силы империализма и реакции снова потерпели поражение! Нет никакого сомнения в том, что эти оголтелые террористы являются наемниками американского бумажного тигра, а возможно, это фанатики капиталисты затаились под одеждами туарегов! Мы, Верховный Революционный и Военный Совет Возрождения, смеемся над их нахальством и предлагаем принявшему социализм народу Куша насрать на их насилие, продиктованное индивидуализмом и предпринимательством! Не беспокойтесь: мерзкая кража будет отомщена! Разойдитесь по домам и приготовьтесь к ливню! Вы были свидетелями очищения, чрезвычайно приятного Аллаху и глубоко благостному для нашей зеленой и милой страны!

Эллелу выкрикнул все это, отдавшись на волю бушевавшего в нем бешеного ветра, дыхание которого он мог направить только в воображаемые уши своего народа, а сам знал, что обвинения его проблематичны, так как он видел глаза рейдера, выхватившего голову короля из разрезанной руки Опуку, и это не были волчьи глаза тарги или североамериканца, голубые и ледяные, а янтарные узкие глаза дикой свиньи, озабоченной выживанием. Кроме того, Эллелу, застывший в спокойствии бойца, готового к сражению, ожидавший в течение микроскопически четких миллисекунд, как бы его не сбросили с быстротою льва, набрасывающегося на зайца, и слишком спокойный, чтобы поднять в самозащите свой окровавленный ятаган, вдруг ощутил среди запахов немытых тел и шкур арабских скакунов еле уловимый сладковатый запах, приведший ему на память пирушку в каменном бункере. Водка.

Пока столица еще перемалывала эти удивительные события (на которых большинство нерадивого населения, лишенного гражданского сознания, непатриотично отсутствовало, события эти при пересказе выглядели нереальными), Эллелу, переодевшись торговцем апельсинами, спустился в район Хуррийя повидать Кутунду. Теперь последствия засухи и голод докатились уже и до столицы, поэтому никаких апельсинов не было, и торговец вместо них оглашал гулкие проулки песней, в которой говорилось о них:

Округлый и крепкий, как груди моей любимой сестрички,

Он смеется, обнажая десны,

И подглядывает с подстилки, не настало ли для него время;

Шершавая при касании, как собственные яйца,

Пятнистая восковая шкурка легко рвется и кисла на вкус,

А пальцы все мокрые от ее едкого сока;

Когда шкурка сброшена, словно толстые лепестки розы,

Плод делится на полумесяцы,

Каждый в своей тоненькой детской шкурке, нежной, как пыльца;

Алчно вырванный из среды своих братьев,

Каждый сегмент заплачет яркими слезками сока,

Предваряя взрыв во рту едока;

Как сладок этот сок! Губы жжет,

А реки в нашей душе устремляются вверх,

Славя чудо этой симметрии!

А цвет... какой же это цвет? Цвет

Полоски небес над дюнами

До того, как она вспыхнет зеленью, возвещая наступление ночи.

За такую песню, которую певец исполнял во многих вариациях, — в одних воспевая пупок и твердые пуговки на противоположных полюсах апельсина, в других создавая рапсодию о пресной, мохоподобной внутренней стороне кожуры, где капли нектара лежат как драгоценные камни на бархате коробки, а в третьих делясь наслаждением, с каким выплевываешь косточки, — ему бросали из окон монеты или рачки, которые усыпали его путь, как капли непролившегося дождя, а то присланные богачами служанки совали ему в руку бумажные деньги: дело в том, что покупать становилось нечего, лю были в изобилии, у многих скопились даже горы наличных. Люди пытались подкупить его, чтобы он спел им про бананы, или кускус, или про весеннего барашка, которого жарят на вертеле с перцами и луком, но он говорил «нет», он — продавец апельсинов и может, чтобы прогнать реальность голода, вызывать в памяти лишь *их*.

Кутунда находила свою квартиру над мастерской слишком маленькой. Ее приобретения — свободные одежды, громоздкие украшения, столики маркетри, подушки для сидения, мягкие игрушки фирмы «Стейфф», косметические приборы, фен и очиститель для воды — завалили маленькую комнату, которая месяц тому назад была с благодарностью воспринята как значительное улучшение по сравнению с палаткой или канавой. Эллелу, снимая грязную одежду и коромысло торговца апельсинами, заметил на запястье Кутунды часы с пустым черным циферблатом.

— Это подарок, — призналась она. — Смотри: нажимаешь вот тут, и цифры выскакивают! Это называется электронным колдовством.

— За какие же заслуги ты получила их от Эзаны?

— За мои услуги государству — за мудрость и совет.

— Призывая к убийству беззащитного короля?

— Я призывала лишь к тому, что ты уже решил в душе, но тебе недоставало мужества это осуществить.

— Я теперь думаю, что недоставало безумия. Ну что хорошего это дало? Небо все такое же пустое, как циферблат твоих часов, а в душе у меня поселился ужас. С того дня Эзана официален со мной и вежлив — я чувствую, он старается отрешиться от моего падения.

— Эзана спрячется, если ты развернешься. В Куше нет другого лидера, кроме моего полковника. Позволь мне показать тебе одежду, которую я купила, — продавщица сказала, что она сшита по моделям, сделанным принцессой тутси.

Она принялась ходить к своему набитому вещами кедровому платяному шкафу и обратно, и высокие каблуки ее отбивали такт, напоминая особенно о двадцать четвертой суре: «И пусть они на ходу не топают ногами, чтобы похвастать своими спрятанными украшениями». В той же суре утешительно сказано: «Нечистые женщины уготованы для нечистых мужчин, а нечистые мужчины — для нечистых женщин». Кутунда надела через голову крашенную в цвета радуги ткань, разгладила одеяние, посмотрела на себя, поджав губы, в зеркало, приложила к мочке уха кроваво-красную серьгу и, оскалив мелкие зубы, нагнув голову, подняв руки к затылку, резко дернула платье вверх, сбрасывая с себя, и снова осталась нагая. Ее ягодицы во время этого ритуала напряглись и вжались, их сплющенный изгиб тронул меня своим предвещанием старения.

И теперь в постели, в темноте, мое мужское естество не восприняло знакомых манипуляций ее рук и рта, а ведь с начала нашего романа в пустыне все это настолько совпадало с моими вкусами, насколько старое седло совпадает с горбами верблюда. Теперь же ее рот при всей своей влажности обжигал; когда мой член уже готов был откликнуться, раздуться и встать, перед моим мысленным взором возникла отрубленная голова короля с внезапно перерезанными пульсирующими венами, которые, словно прорвав заторы, вдруг начали рывками опустошаться в кристальную пустоту, предшествовавшую тому моменту, когда туареги — слишком поздно — галопом влетели на площадь. И моя кровь, прихлынувшая, чтобы наполнить потенцию, в страхе отхлынула.

— Ты сердишься на меня, — наконец заметила Кутунда, устав от тщетных усилий.

— Почему я должен сердиться?

— Ты оплакиваешь короля.

— Приди ему такое в голову, он мог бы поступить со мной куда хуже. Думаю, он опекал меня потому, что его забавляла моя двойственность. Даже свои благодеяния он делал иронически. Он легко относился к миру, как паук, не оплетенный липкой паутиной.

— Однако ты считал мою ненависть вульгарной и относился ко мне, как мужчины всегда относятся к покоренным женщинам. Это загадка: мужчины, которым нужны женщины, ненавидят их, а те, которым они не нужны, как твоему товарищу Эзане, — такого чувства не испытывают.

— Теперь он больше твой товарищ, чем мой. У тебя есть магические часы под стать его часам, и вы вдвоем хихикаете, болтая на языке capa и планируя мою гибель.

— *Ты сам* ее планируешь, — произнесла Кутунда так же быстро, как приложила к уху серьгу и убрала ее, а вот убрать правду не могла, хотя и хотела, судя по тому, как поджала губы. *Нечистые*, все мы нечистые с нашими мазками правды.

Я попытался объяснить ей мою импотенцию:

— Ты утратила добрый запах грязи, каким от тебя пахло в канавах на севере. Теперь от тебя несет французским мылом. А я не могу заниматься любовью, вдыхая запахи наших эксплуататоров.

— Тебя терзает печаль. Прости, что я шутила с Эзаной. Он простак, но полон слов и мыслей — его практическая жилка дает нам повод для разговора. Это очень интересно. Мы говорим о лагерях беженцев, о перевоспитании, об ирригации, о том, как путем снижения процентов и установления моратория на двадцать лет вынудить сверхдержавы и мультинациональные корпорации вкладывать капиталы в нашу страну.

— Из этого ничего не выйдет. У нас нет ничего, что им нужно. Мы ничейные кости домино. Отвлеки меня от моего позора, Кутунда, расскажи какую-нибудь историю, как ты делала в канавах, когда приходила ко мне от несчастного хромого Вадаля. — Вспомнив об этом человеке, я подумал: «А не может ли она быть источником импотенции, втягивая мужчину за мужчиной в оргию предательства? Эти современные женщины должны еще произвести современного самца, который обслуживал бы их».

Она рассказала мне странную запутанную историю сложного богохульства вроде той, что когда-то рассказывала про Вадаля, мочившегося на фетишей, только теперь рассказ был о Микаэлисе Эзане, под маслянистой черной внешностью которого скрывается дьявол пустыни Руль, — существо из выбеленных костей, отличающееся непостоянством плоти, оно создало вокруг нас озера, а то место, где мы находимся, сделало паляще сухим. Люди, томясь от жажды, кусают пальцы и сосут соленую кровь; они убивают верблюдов и пьют грязную жижу из их желудков. В этом обличье Эзана правит Кушем, гоня перед собой вихрь туарегов, отравляя своей алхимией верующую и эгалитарную республику полковника Эллелу. В далеком ущелье Иппи есть город, который может соперничать с Истиклалем, — там мужчины сожительствуют с ящерицами, а женщины позволяют жирякам овладевать ими, и вся влага, какую Аллах предназначил для Куша, содержится в прозрачном мешке под землей, куда проникают сквозь пещеру с золотыми сводами по шаткому спуску на глубину больше гипсового рудника, и Эзана, спускаясь туда, принимает форму осьминога, и втягивает визжащих тонущих девственниц в свой хобот, и ждет появления девы, смуглой, бесстрашной и девственной, с зубами, как речной жемчуг, которая ятаганом из турмалина отрежет хобот осьминога Руля, несмотря на выброшенное им чернильное облако, а затем проткнет прозрачный мешок, так что вода затопит страну и кости стад ее отца вернутся к жизни и замычат, и тамариск с мимозой расцветут, и верблюды превратятся в разумных дельфинов, и какая еще ерунда произойдет, Эллелу так и не суждено было узнать, ибо он заснул, и снились ему крепкие ноги Кутунды и кошмарные образы, какие вызывал к жизни ее голос.

Проснулся он на заре от двух настоятельных надобностей: помочиться и помолиться. Выполнив свои обязанности, он лег рядом с женщиной — во сне ее волосы разметались по лицу, и ручеек слюны вытек из угла губ, блестя как след борьбы под водой.

В изножье подстилки сквозь щели виден был розовый, безгласный в первых лучах света торец Дворца управления нуарами. Так, подумал Эллелу, выглядит для масс политическая власть: пустая стена, безоконный дворец, незаметно отталкивающий нас от себя.

А кроме того, Эллелу уловил новый, необычный, звук, примешивавшийся к скрежещущим сухим звукам трущобы Хуррийя: сгребания в кучу золы, стуку калабашей, бормотанью Корана. Откуда-то снизу доносилась музыка, трескучая приглушенная музыка чужеродных ритмов и слов, повторявшихся без устали, с экстазом религиозного песнопения и звучавших, казалось, так:

Чаф, чаф,

Ублажи ж меня, бэби,

Ублажи, ублажи.

Мама не слушает, что говорит папа,

Будем качаться в роке ночь напролет.

Ублажи, ублажи,

Ублажи меня, бэби,

Чаф, чаф, хорошо,

О-о-о-о-о!

## III

Солдаты систематически обыскивали Хуррийя в поисках транзисторов, проигрывателей, четырехканальных приемников и любых музыкальных инструментов, кроме традиционных тамбуринов, альгхайта, какаки, бу-бу, барабанов с песочными часами, тростниковых флейт или инструмента с одной струной, именуемого анзад, с декой в виде калабаша, обтянутого козьей шкурой. Эллелу в ту пору взялся рьяно насаждать чистоту нравов в области культуры, этики и политики. Так, любого человека, застигнутого за мочеиспусканием стоя, а не сидя на корточках, как Мухаммед и его последователи, забирали и подвергали допросу, пока он не доказывал, что является язычником, а не христианином. Сверхстарательные солдаты на севере, где были введены ограничительные правила, хватали молодых девчонок с берегов Грионде и пороли, считая, что они оголяют грудь в подражание декадентской французской моде. Толпам секретарш, бегающих по коридорам и приемным Дворца управления нуарами, было запрещено носить обтягивающие юбки и блузки, — теперь они покорно расхаживали по коридорам и приемным в бубу и кангах. Однако полковник Эллелу подозревал, что под этими традиционными одеяниями женщины носят эластичное западное белье с завлекательными названиями «Лоллипоп» и «Хлоп-хлоп».

Во внутренних комнатах дворца они с Эзаной совещались теперь иначе, чем прежде: новая нотка — как раздражение, следующее за соитием, — появилась в их беседах после казни короля. Эллелу выложил свой козырь, а у Эзаны все карты были еще на руках. Хотя на официальных церемониях он по-прежнему появлялся в революционной форме цвета хаки и занимал свое место на балконе или на смотровой площадке в ряду подполковников Верховного Революционного и Военного Совета, ничем не отличаясь от них, как не различаются десять пальцев перчаток, у себя в кабинете он стал носить голубые или даже оранжево-розовые пиджаки с распахнутыми на груди трикотажными рубашками и невероятно расклешенные брюки без манжет. Описывая такие брюки, подумал Эллелу, марксист сопоставил бы их с панталонами султана или кружевами бургомистра. Сам же он почувствовал, как тонкий мундир цвета хаки обтянул его спину, когда, наклонившись вперед, он, словно увещевая собеседника, произнес напряженным голосом, в котором, даже когда он звучал из громкоговорителей, чувствовалось волнение, словно после преодоления какой-то преграды:

— Существует заговор. Мечты народа разрушаются.

Эзана улыбнулся.

— А может быть, мечты народа как раз и приводят к разрушению?

— Люди признали бы, — сказал Эллелу, — что мы идем по верному пути, если бы не эта проклятая, случайно приключившаяся засуха.

Улыбка Эзаны приоткрыла золотой зуб, казавшийся квадратным по сравнению с остальными.

— Засуха не может быть одновременно случайной и проклятой. Если мы верим в проклятия, значит, мы не верим в случайности. Так или иначе, товарищ, кто в Куше сомневается, что мы на верном пути? За исключением нескольких мерзких империалистических квислингов и ископаемых, которым нравилось переучиваться в бывших винных погребах французов? Силы безопасности министерства внутренних дел, дополненные антитеррористическими отрядами кушитской армии, не обнаружили ни радио, ни грузовиков, нагруженных раздавленными «фордами» и «шевроле». Правда, в шкафчике в школе Корана солдаты обнаружили спрятанный запас пузырчатой резинки. Но ведь мы всегда знали, что существует черный рынок, на котором торгуют западными роскошествами, тайно ввезенными в нашу страну из идейно не симпатизирующих нам соседних государств или оставшимися от нашей собственной печальной дореволюционной эпохи.

Не будем, однако, говорить о пустяках, — продолжал Эзана, и Эллелу подивился нескончаемой мягкости, с какой работал его рот, исторгавший плавное гудение самоудовлетворения. — Давайте поговорим о земляных орехах. К природным бедствиям, мой президент, мировая геополитика добавила экономические беды. Главное тут в том, что американцы, которым больше не досаждает Вьетнам, а запутанная история с Уотергейтом обещает избавить их от этого злого духа Никсона, проснулись и поняли то, что давно очевидно остальному миру, а именно: что они превратились в расу нездоровых толстяков. Они ударились в оргию диеты, бега, тенниса и прочих нарциссических занятий, и — в этом *главное* — среди высококалорийных жертв их нового режима числится невкусный продукт, именуемый маслом земляного ореха. Насколько известно, эту пасту намазывают на так называемые крекеры, а также неаппетитно смешивают с химической подделкой под фрукты в виде желе и кладут между кусками их отвратительного резинового хлеба, — словом, это составляет основу еды невежественных масс. Короче, в общенациональном стремлении к похуданию и вечной физической молодости они теперь потребляют куда меньше масла земляного ореха, и люди, выращивающие орех на их славящемся апартеидом юге, вынуждены его экспортировать.

Ничто, товарищ полковник, — продолжал Эзана громче и настойчивее, видя, что его слушатель заерзал и грозит прервать его, — яснее этой настоятельной потребности экспортировать сырье, противоречащей всем империалистическим принципам, не указывает на упадок, в котором находится Америка, и на ее грядущий крах. Тем не менее на данный момент их земляной орех подрывает продажу нашего в Марселе, и фермеры, которые, по настоянию правительства, отдали свою землю под выращивание прибыльного ореха, жалеют, что они не выращивали просо и ямс, чтобы кормить своих детей. Без франков, которые могли бы принести нам земляные орехи, у нас не хватает валюты на закупку вышедших из строя частей для чешских динамо-машин, чтобы в Истиклале не прекратилась подача электричества.

— Возможно, это не так уж и плохо, — заметил Эллелу, поглаживая чашку с шоколадом, который он осторожно попробовал и нашел безупречным. — Куш вернется к Божьему свету и не станет использовать ночь для таких дел, против которых возражает Мухаммед. «При свете дня и при наступлении ночи твой Повелитель не покинет тебя». Что принесло нам электричество, спрашиваю я, кроме безбожия и еще большей зависимости от чехословацких посредников?

Золотой зуб Эзаны сверкнул, и он положил на стол перед президентом листок желтой бумаги.

— Без блага электричества, — сказал он, — мы будем лишены подобной связи.

Эллелу прочел: ПО ВОЗМОЖНОСТИ СКОРЕЕ СООБЩИТЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ КАСАТЕЛЬНО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ СЕНТ 73 ДОНАЛДА ГАЙБСА СОТРУДНИКА АМЕРПОМ РАБОТАЮЩЕГО СОВМЕСТНО С ФАО И ВФП БЛИЗ СВ ГРАНИЦЫ КУША. СРОЧНО. КЛИПСПРИНГЕР ЗАМГОССЕКРЕТАРЯ США.

Эллелу сказал:

— Они, должно быть, имеют в виду Гиббса. В Америке нет такой фамилии — Гайбс.

— Вероятное не всегда бывает реальным, — возразил Эзана. — Как наше правительство должно отнестись к этой телеграмме?

— Нет более красноречивого ответа, — сказал Эллелу, — чем оставить без ответа.

— Вслед за этим листком бумаги могут появиться люди. А следом за людьми — орудия и самолеты. Этот Гайбс кому-то нужен.

— Следовало написать: Гиббс, — поправил его Эллелу. — Гайбс — это оскорбительно.

— Как бы там ни было, правительство считает судьбу этого человека вопросом чести, и последствия могут быть несоизмеримы, как, к сожалению, часто бывает в делах между странами. У американцев нет свойственных азиатам качеств, как у наших советских друзей, которые получают такое непреходящее удовольствие в причинении боли поверженным и в выживании взаперти на протяжении своих зим. Американцы испытывают хроническое раздражение от своих нескончаемых выборов, которые делают из них лжегероев, и, насколько я понимаю, исторически достигли того опасного периода, когда религия, чтобы опровергнуть собственное ощущение умирания, хлещет других. Так христианство обрушилось на неверие мира после того, как Вольтер и Дарвин доказали, сколь нелепы его сети; так обедневший султан Марокко отправил в 1591 году войско через Сахару в Гао и Тимбукту и одержал победу, которая ничего ему не дала, но навеки уничтожила империю Сонхай.

— Я не знаю американцев, — солгал Эллелу. — Но я не думаю, чтобы они, только что вырвавшись из объятий генерала Тью, стали рисковать своими людьми, посылая их против голодающих Куша.

— Конечно, не станут, — согласился Эзана колючим тоном, более похожим на несогласие. — Пока не пройдет морализация по поводу провала во Вьетнаме, они будут — подобно нашим бывшим менторам французам — охотно продавать оружие обеим сторонам местных конфликтов и сохранять в прежнем виде поставки масла земляного ореха.

— Кстати, о земляных орехах и электричестве, — отважился спросить Эллелу, — не может ли Банк Франции рассмотреть вопрос о предоставлении нам еще одного займа?

— Проценты по существующим займам, мой добрый президент, плюс жалованье нашим чиновникам составляют сто одиннадцать процентов национального бюджета Куша.

От этих цифр сердце Эллелу упало.

Но Эзана сказал:

— Не волнуйся. Наши долги на самом деле открывают нам кредит, так как убеждают страны, владеющие капиталами, держать нас на плаву. Тем временем весь капитал перетекает в страны — экспортеры нефти. Однако оттуда он возвращается в страны, которые производят машины и предметы роскоши. Хвала Аллаху, нам в определенном смысле не надо больше заботиться о деньгах, так как они существуют над нами в аэросфере, смешивающейся с атмосферой, стратосферой и ионосферой, и невидимо циркулируют над нами.

— Из-за этих, как и из-за других, циркуляций у нас в Куше и нет дождя.

— Ты преувеличиваешь. Сегодня утром выпала невероятно обильная роса. В глобальной аэросфере бывают временные перепады, но по законам газообразования не может быть полного вакуума. Наш черед настанет, — возможно, он уже настает.

— В форме телеграмм от Большой Палки.

Этот разговор действовал на Эллелу угнетающе, особенно из-за живости ума Эзаны. Вспыхивавшая в этом человеке радость от принадлежности к элите не заражала, а вызывала противоположные чувства. Получать удовольствие от власти казалось ребячливым святотатством. Власть — это реальность, власть — это причина огорчений. Эллелу чувствовал, как его сердце проваливается сквозь покровы внешней схожести в полнейшую пустоту, на которой покоится все. Жизни, миллионы жизней зависели от воли Эллелу и тянули его вниз. Голод до боли давил на него. Энергия ушла куда-то на дно души. Он вернулся в этот край пустынь, степей и саванн, признательный за его излучение простоты, горя желанием запечатать его безупречность, но своей волей он не сумел предотвратить образование груды проблем, — скорее он стал одним из элементов этого процесса, этих неясных, вытекающих из действительности проблем, сгустком которых был Эзана с его проворными пальцами и хорошо сшитыми нарядными костюмами, этакая сверкающая росинка на раздражении народа.

— Что, если, — предложил неутомимый Эзана, имея в виду телеграмму, которую Эллелу уже переварил, превратив в снег, похожий на те первые сухие колючие снежинки, провозвестницы начала висконсинской зимы в ноябре, когда из зеленого, а затем бурого край становится белым, — мы ответим телеграммой, в которой выразим протест против вмешательства ЦРУ во внутренние дела Куша, а именно: против их неуклюжих, омерзительных — как бы это выразиться — капут-измышлений по поводу короля, которого казнили вполне законно, согласно положениям Корана и марксизма? Нам не составит труда представить доказательства виновности ЦРУ — даже следы, оставшиеся на песке, указывают на американские кроссовки.

— Да они же прискакали на лошадях.

— Несколько человек спешились в суматохе. И немало доказательств выпало из их карманов. Перочинные ножи, полосканье для зубов.

— Более чем немало, — сказал Эллелу.

— Мы можем послать по компьютеру неопровержимые снимки. А еще дешевле — отправить фотографии в «Нувель ан нуар-э-блан», на которую подписаны все западные Посольства.

— И однако же, — сказал Эллелу, — от тарги, прошедшего мимо меня, пахло Россией. Свеклой и водкой.

Эзана пожал плечами.

— Туареги пьют сладкий зеленый чай, который так же пахнет.

— Но ты же говоришь, что это были не туареги, а ЦРУ.

— Да. Разве не это самое ЦРУ устроило убийство собственного президента и его брата? Невозможно измерить всю глубину их хитроумных уловок. Они как рак, который размножается от собственных безрассудств.

— Странно слышать от моего министра внутренних дел, — заметил Эллелу, — такие озлобленные антиамериканские высказывания.

Эзана растопырил пальцы с наманикюренными ногтями, отполированными до лунного блеска, на стеклянной крышке письменного стола, словно признавая: «шутки окончены» и теперь он будет держаться «на уровне».

— Я хочу заранее дискредитировать слухи, которые могут огорчить моего президента, — сказал он.

— Какие слухи?

— Печально абсурдные. Среди суеверной болтовни нашего бедного отсталого народа бытуют слухи, что голова короля чудесным образом соединилась с духом его тела и вещает пророчества из пещеры глубоко в горах.

Эллелу не слышал ничего подобного, и этот слух, словно луч луны, попавший в глубины колодца, проник во тьму его депрессии.

— Опять-таки, — заметил он, — это отзывает Россией. Булубы близко находятся от ракетной установки.

Эзана откинулся на спинку кресла, потягивая шоколад и следя за президентом, — так черный циферблат его часов следит за сменой суток. Эллелу, чувствуя, как слегка забилось сердце при мысли, что король в каком-то смысле, возможно, выжил и, следовательно, его собственный поступок в каком-то смысле ущемлен, глотнул шоколада.

— Это не в Булубских горах, — поправил его Эзана, — а в Балаке.

— В Балаке? В Дурном краю?

Эзана почтительно кивнул.

— Где даже «Нэшнл джиогрэфик» не бывал.

Дурной край — бездорожная северо-восточная часть страны, граничащая с Ливией и Занджем. Там вы не встретите ни скорпионов, ни колючих растений, ни даже выносливых Hedysarum albagi, воспетых Кайе. Широкие вади помнят древние воды, а теперь причудливые плоские холмы обтесаны злыми невиданными ветрами. Днем в пустыне стоит слепящая жара, так что пески в некоторых впадинах превратились в расплавленное стекло, а по ночам мороз раскалывает камни с треском пишущей машинки. Геометрически идеально ровные пространства неожиданно обрываются у основания стен, словно возведенных потоком лавы, который вдруг повернул вспять, и оканчивающихся приплюснутым гребнем, где викторианские путепроходцы заметили снег в эпоху, более влажную, чем наша.

— Я должен туда поехать, — сказал Эллелу: желание это родилось в нем с такой же легкостью, с какой дьявол пыли возникает на площади перед мечетью Судного Дня Беды.

Почтительность Эзаны мигом испарилась.

— Я бы не советовал, мой президент, — сказал он. — Ты отдашь себя на милость судьбы.

— Как постоянно поступают все люди.

— Только одни при этом ведут себя достойнее, чем другие.

— Я веду себя всегда одинаково: служу моей стране.

— Да разве можно служить своей стране, гоняясь за призраками?

— А как иначе?

Возможно ведь, размышлял Эллелу (и я сейчас пишу об этом, имея уже более ясное представление), что при ослаблении, иссушении и смерти религий по всему миру в душах людей безотчетно рождается новая вера, религия без Бога, без запретов и заверений в компенсациях, религия, чьим антиподом являются движение и застой, а единственным обрядом — проявление энергии, и где изжившие себя, выхолощенные формы сбора пожертвований, обета, искупления и обретения мудрости через страдание служат утолению жажды безоглядного транжирства, что в конечном счете ведет к энтропии, а немедленно — к усталости, путанице мыслей и сну. Миллионы занимаются этой религией, так и не дав ей имени и не присвоив себе никаких заслуг. Эта пещера, о которой ходили слухи, несомненно, западня, и от ее посещения Эзана по каким-то своим соображениям хотел меня удержать, хотя и насладился бы свободой в мое отсутствие в Истиклале, но она манила меня: как человек — я хотел там побывать, а как президент — обязан был это сделать. Разве африканские тираны традиционно не были чужаками в своих владениях и не должен ли идеальный правитель попытаться привести к гармонии не только власть, силы и группировки в границах своей страны, но и пустоты, галлюцинации, тщетные надежды всех этих людей-призраков, слабых, как веревки из песка?

Однако Эллелу медлил с отъездом и пробыл в Истиклале весь месяц шавваль, который салю называют месяцем нерешительной луны. Акланы туарегов, которых западная пресса несправедливо называет рабами, выкорчевали куски соли с засохшего дна озера Хулюль и привезли на юг, чтобы обменять на корюшку, ямс, амулеты и порошок, усиливающий потенцию и состоящий в основном из тертого рога носорога. Микаэлис Эзана рьяно следил за экономическими показателями по добыче соли с надеждой, что их рост положит конец долгому экономическому спаду в Куше.

Как-то раз Эллелу при всех своих регалиях, с большим зеленым флагом, развевающимся на крыле «мерседеса», отправился к своей первой жене Кадонголими на ее многолюдную виллу в Ле Жарден.

У дверей его встретил тощий полуголый мужчина с раскосыми глазами и туго натянутой кожей цвета кофе, какая отличает племя хауса; хотя было одиннадцать часов утра, он был пьян от пальмового вина, и Эллелу признал в нем своего зятя. Комнаты на вилле были застланы козьими шкурами и рафией, а потолки почернели от дыма костров, на которых готовили пищу, поэтому атмосфера тут своими запахами походила на ту, что царила в родной деревне диктатора, где он женился на Кадонголими, когда ей было шестнадцать лет. Дети — среди них были, по всей вероятности, и внуки Эллелу — бегали, крича и хлопая побитыми, в зарубках, заляпанными дверями виллы; жалюзи и шпингалеты на окнах были поломаны и не действовали, так что в комнатах было темно, как в хибаре, а ведь они были устроены с таким расчетом, чтобы внутрь проникал мягкий свет, как на юге Франции. Запахи прогорклого масла, жареных земляных орехов, толченого проса, соленой рыбы и человеческих испражнений смешивались в воздухе в этакую кашу, которую Эллелу, немного попривыкнув, нашел чудесной: это был запах его племени салю. Он расстегнул верхнюю пуговицу своей рубашки хаки и подумал, что зря не бывает чаще у Кадонголими. Здесь чувствовалась сила земли.

Совершенно голая и в то же время целомудренная девчушка подошла и взяла его за руку так естественно, как могла взять только дочь. Он попытался найти в памяти ее имя, но вспомнил только лицо в ореоле косичек и слегка опущенные, как у Кадонголими, края губ, а также более короткое, более кряжистое тело без свойственной молодости гибкой стройности. Девчушка повела его по проходам, где стоял треск и звон, мимо комнат, где люди сидели на корточках группами и парами, где штопали, мешали пищу в котлах, плакали, кормили младенцев грудью, ругались, ворковали, предавались любви, дышали и занимались всем этим с благоволения смотревших на них жилистых деревянных фетишей, украшенных краденым мехом и перьями; это присутствие божеств не вызывало отвращения и не казалось нелепым среди циновок, камней для толчения, огромных мисок и высоких ступок, не служащих украшениями, как в эклектической вилле Ситтины, а составляющих здесь часть повседневной жизни, коричневой и примитивной, как кожура семени, которая лопается, выпуская на волю новую жизнь. На память Эллелу пришел язык его детства — с ударениями, свойственными родной части края земляного ореха, с проглатываемой буквой «л» и прищелкиваниями языком. Племянники, невестки, тотемные братья, сестры вторых жен двоюродных дядей приветствовали Эллелу, причем все с ироническим ликованием — надо же, он, из племени салю, сумел обставить чужие племена, став во главе этой страны, созданной белыми людьми, и тем самым присвоив все ее блага для их семьи. По лицам этих родственников ясно было, что несмотря на все маски, которые меняющийся мир заставлял его носить, он по-прежнему был одним из них, что никакой нектар или эликсир, который мир способен предложить Эллелу в качестве напитка, не сравнится с любовью, которую он вобрал в себя из их общей крови. И это было правдой: с тех пор как он занял свой пост, эта вилла поглотила виллы справа и слева, и в центре Ле Жарден возникла обширная деревня — в ней не хватало только круглых зернохранилищ из белой глины, окружающих, словно гигантские жемчужины, хибары.

Голая дочь провела Эллелу через двор, где из выломанных плит сложены печи. В другом конце, за аркадой, Кадонголими устроила затененную приятную гостиную, где она принимала свое многочисленное потомство. Она разбухла, как королева термитов, и часами полулежала на алюминиевом шезлонге с пенопластовыми подушками, который белые обитатели этой виллы, обожавшие принимать солнечные ванны, бросили здесь, когда однажды слуги не откликнулись на их зов, а вместо них появился молоденький солдатик и объявил, что, поскольку у них другой цвет кожи, они не принадлежат больше к истиклальской элите. Когда Кадонголими стала хозяйкой виллы, она велела перенести шезлонг внутрь и превратила его в свою дневную кровать. Двое детишек усердно обмахивали ее торс пальмовыми ветками. На щеках ее была татуировка в виде полукругов, обозначавших и украшавших невест из племени салю, пока их не запретил ЧВРВС. Мочки ее ушей были проколоты и оттянуты — по торжественным дням и праздникам она носила золотые серьги величиной с кулак; сейчас серег не было, и ее мочки толстыми черными шнурами свисали до плеч. Она приподняла розовую кисть, этакий цветок с мясистыми лепестками, прикрепленный к опухшей старой руке.

— Бини, — сказала она. — Ты похож на ворона. Что тебя мучает?

Она назвала мужа Бини, амазегским именем, под которым она знала его с того возраста, когда он сполз с колен матери и стал ходить. Кадонголими была на четыре года старше его. Когда ему было пять лет, она была уже длинноногим девятилетним существом с пронзительным голосом, властная, как мать. На правах двоюродной сестры она бережно обследовала его голову в поисках вшей. Когда они поженились, она была уже женщиной, прожившей треть жизни, и трепещущая, шуршащая, густая ее волосня вставала между ними в их первые ночи. Ее превосходство всегда присутствовало, но со временем стало доставлять удовольствие Эллелу. Он словно плавал с ней в маслянистой ванне, недооцененный, невесомый, застенчивый. Для Кадонголими он всегда будет ребенком, только что сошедшим с колен матери. Поскольку в комнате не было стульев, он сел на корточки, отломал веточку от куста, просунувшегося в дыру в стене, и начал чистить зубы.

— Боги, — неуверенно произнес он, покусывая веточку. Что-то в коре или в зелени напоминало по вкусу эти блестящие красненькие американские конфетки, которые едят главным образом зимой, в ту пору, когда зима уже отступает, когда с ветвей с треском падают сосульки и черные улицы блестят от тающих снегов.

— Не следовало тебе забывать богов наших отцов, — сказала ему Кадонголими, осторожно передвигая тяжесть своего царственного тела в ненадежном алюминиевом гамаке.

— А что они дали нашим отцам, — спросил жену Эллелу, — кроме ужаса и отупения, а это и позволило арабским и христианским работорговцам поступать с нами как с животными! У них было колесо, было ружье, а у нас джю-джю.

— Неужели ты так быстро все забыл? Боги дали жизнь каждой тени, каждому листу. Куда ни посмотри, всюду был дух. При каждом повороте нашей жизни нас приветствовал дух. Мы знали, как плясать, как просыпаться и как засыпать. Никакая беда не могла заглушить музыку, которая звучала в нас. Пусть другие умирают в цепях, — мы жили. Мальчиком, Бини, ты всегда был в движении, всегда чем-то занят. Птицей, змеей. Ты отправился сражаться в войнах белого человека и вернулся из-за моря холоднее белого человека, потому что тот, по крайней мере, напивается и трахается.

Эллелу кивнул, улыбнулся и стал кусать веточку, передвигая ее с зуба на зуб. Кадонголими говорила ему это и раньше и скажет еще не раз. Его ответы были так же предсказуемы, как слова песни. Он сказал:

— Я вернулся с настоящим Богом в душе, с Повелителем миров, с Хозяином Судного Дня. Я возвратил Кушу Бога, которому уже поклонялась половина его душ.

— Пустая половина, жестокая. Бог, которого зовут Мухаммед, — это не Бог, а изничтожитель богов. В него нельзя верить, так как у него нет атрибутов, он нигде. В нашей стране верят в то, что дает утешение, а это остатки старых богов, следы их, которые не были вытравлены. Они всюду вокруг нас, по частицам. Если что-то растет, оно растет потому, что они — в стебле. Если место священно, оно священно потому, что они — в камнях. Они, как мы: их не сочтешь. Бог, сотворивший всех нас, потом повернулся к нам спиной. Он вышел из игры, он не хочет, чтобы его тревожили. Связь с нами поддерживают малые боги, они дают нам любовь, и пищу, и облегчают боль. Они — в гри-гри, что прокаженный носит на шее. Они — в ленточках материи, которые вдова подвязывает к неопалимой купине. Они — в пыли, их так много. — Она опустила толстые черные руки с блестящей ямочкой на локте, бросила пригоршню пыли на сидящего мужа.

Возможно, в веточке, которую он жевал, содержался галлюциноген, ибо пыль как бы разрослась в воздухе, превратилась в джина, в дьявола с бескостными руками и со множеством пальцев — в призрак засухи. Кадонголими рассмеялась, обнажив беззубые десны.

— Как дети? — спросил он.

— У нас с тобой нет детей, Бини, все они от других мужчин. Ты был совсем мальчонкой и понятия не имел, куда надо совать кики. А из страны тубабов ты вернулся другим человеком и взял себе более молодых жен. Длинноногую Ситтину, которая заставила тебя побегать за собой, и Ту, Что Всегда Укутана. Потом эту девчонку-идиотку Шебу, а теперь, я слышала, появилась еще одна — блудница из пустыни.

— Кадонголими, не позволяй своим обидам, хоть они в известной мере и оправданны, перечеркивать реальность. Дети, рожденные до того, как французы призвали меня в армию защищать их плантации в Азии, безусловно, мои, но я не помню их имен.

— Ты не был призван, ты сам записался. Сбежал отсюда.

— Тебя тогда так разнесло — и в теле, и в требованиях.

— Вечно ты фантазируешь, Бини. Когда ты уехал, я была тоненькая, как бамбук.

— А когда вернулся, ты стала, как баобаб.

— Прошло ведь семь лет — разве я могла не измениться? Ты избегал меня. Избегал, так как знал, что я обнаружу все, что было с тобой во время твоего отсутствия. И все равно я это обнаружила.

— Избавь меня от необходимости это выслушивать. Продай свои открытия Микаэлису Эзане. Он поставил в Дурном краю говорящую голову, чтобы дискредитировать мое правление. Я еду туда, чтобы встретиться с этим чудом.

Жалость пробудилась в ней, как лягушка, которая, подпрыгнув, нарушает гладь пруда.

— Бедненький мой Бини, почему тебе не сидеть в Истиклале и не править, как другие властители, почему не дать своим двоюродным братьям министерские посты и не заняться пограничными инцидентами, чтобы отвлечь народ от мыслей о бедности?

— Этому имя не бедность. Босой человек не считает себя бедняком, пока не увидит, что другие ходят в туфлях. Тогда ему становится стыдно. Так что имя этому — стыд. И в Куше насаждают стыд. Необходимо потрясение, чтобы наша праведная скромность вновь проснулась.

Кадонголими сказала:

— Ты убил короля.

— Плохо убил. Эзана использует его труп для манипуляций.

— Почему ты винишь Эзану?

— Я все время чувствую его возле себя, он заполняет мои сны.

— Реальность заполняет твои сны. Эзана лишь хочет управлять разумно устроенным государством.

— Куш — государство слишком слабое, и управлять им можно только действиями. Когда мы осуществили революцию, мы обнаружили странную штуку. Национализировать было нечего. Наш министр промышленности стал искать заводы для национализации — их не оказалось. Министр сельского хозяйства искал крупные земельные угодья, чтобы отобрать их и разделить, и обнаружил, что бóльшая часть земли в юридическом смысле слова никому не принадлежит. Нищета была налицо, а угнетения не было — как такое возможно? Существовали рыболовецкие деревни, фермы по выращиванию земляных орехов, рынки кормилиц, козы, слоновья трава, верблюды, и стада животных, и колодцы. Мы вырыли самые глубокие колодцы, какие только могли, и это оказалось бедой, так как стада перестали передвигаться, животные не сходили с места, пока не съедали всю траву вокруг до самых корней. Мы стремились приобщить народ к автономии в форме советов граждан и выборов с бюллетенями, на которых были напечатаны фотографии кандидатов, а в их сознании автономия всегда существовала. Французы были у нас как видение, как яркий парад, который прошел и исчез. Французы дали образование немногим ассимилировавшимся, приняли их на работу, платили им франки и брали с них налоги. Они сами устанавливали налоги, сами управляли. Это был замкнутый круг, как их знаменитая логика, как их народные песенки. Эзана этого не видит. Он восхищается французами, восхищается развратителями-американцами и их новыми гоночными псами китайцами. Он высмеивает наших союзников русских, чей вялый монизм пульсирует в одном ритме с нашим. Он нанял русских двойных агентов, чтобы они изобразили туарегов и сбили меня с толку. Он соблазняет мою протеже из племени capa обещаниями дать ей собственный кабинет, контактные линзы и обучить машинописи! Прости меня, Кадонголими, за то, что я нарушаю твой отдых этой тирадой. Я нахожусь в постоянном напряжении, чувствую себя как в осаде, в окружении. Вот таким, полностью разоружившимся, я могу предстать только перед тобой. Только ты знаешь, каким я был, когда мотыгой обрабатывал поля земляных орехов и часами играл на обвари. Ты помнишь мою мать, ее неистовый характер. Моего отца, который вечно отсутствовал. Моих братьев с их шумными ссорами и алчностью. Моего дядю Ану с его кривой усмешкой, сластолюбием, распространявшимся даже на коз, и ногой, нервы которой перерезал нубийский штык, что принудило его заняться изготовлением масок. Я пришел спросить про наше потомство, про наших детей. Эта молчаливая девчонка с нарождающимися грудками, которая привела меня сюда, — она наша? Мы в последний раз спали вместе лет двенадцать назад, и она приблизительно такого возраста. Кадонголими, помнишь, в какие игры мы играли: я был львом, а ты газелью?

— С каждым годом, лежа здесь, забытая мужем, я помню все меньше. Я помню мальчика, который не знал, куда надо сунуть свой кики.

Ах, Эллелу! Им овладело неодолимое желание вытащить эту свою первую женщину из саркофага жира, в который она погрузилась и там замкнулась, захотелось, чтобы она вышла к нему, как в ту пору, когда они были молодыми и стройными, из зеленой завесы их деревни, где конические крыши и круглые амбары были разбросаны как капли росы среди паутины дорожек, уводивших к посадкам маниоки и к выгонам, за которыми простирались бескрайние поля земляного ореха, слегка пахнущие мускусом и крахмалом. А когда дул ветер, далекие луга покрывались белыми бегущими пятнами, словно бежал олень, белошеий и белозадый водяной самец, и сернобык с тонкими кривыми рогами. С лугов, поросших акациями, в поля земляных орехов приходили жирафы и, расставив передние ноги и нагнув шею, объедали высыхающие кучи, а деревенские мальчишки прогоняли их, грохоча мисками, ступами и трескучими бутылками из тыквы. Жирафы уносились прочь, как стая облаков, их мягкие морды были безвинны, большие глаза светились будто луны. В этой деревне, где все было на виду, заранее предопределено, взаимосвязано и благословлено, Кадонголими доверила ему в пятнистой тени пронизанных солнцем кустов свою тайну — запах полученного ею наслаждения, вкус своего пота. В пору урожая они устраивали пещеры в кучах вырытых для просушки кустов земляных орехов. И на спине Кадонголими появлялся словно выгравированный отпечаток. Она не жалела себя: отдавала свое тело всякий раз, как им восторгались, соблюдая положенный ритуал вежливости, часами плясала, молотя пятками землю, не зная покоя, как того требовал обряд. Однако, став невестой Бини, она обрила себе голову, сделала на щеках татуировку кольцами и стала держаться с достоинством уже несвободной женщины. Эллелу помнил длинный изгиб ее обнаженного бритьем черепа и серебристую ленту, которую положило на него солнце, когда она вошла, еще мокрая от ритуального окунания, чтобы предстать перед его матерью, чьей дочерью она станет. По обряду бракосочетания, которое длилось не один день, Кадонголими лежала, свернувшись, на подстилке, как новорожденная, и свекровь обмывала ей губы молоком, символизирующим материнское. Бини как зачарованный смотрел на эту церемонию продолжения женского начала — женщины властвовали над ним, окружали его всегда. И он вспомнил, как из-за бритой головы выпятилось лицо Кадонголими, ее упрямо выдвинутая челюсть, толстые губы, словно налитой опасный плод. Он помнил ее уши, которые были тогда еще изящными и проколотыми лишь для малюсеньких золотых колечек. И этот ее мягкий приглушенный соленый запах в их хижине, и губы ее влагалища как каури. Пока он спал, утро за стенами хижины гудело от того, как она растирала просо, готовя еду ему, своему мужу. Солнце подпрыгивало, пытаясь пробиться сквозь облако мякины. Эллелу ощутил бездну потерянного времени, и у него закружилась голова — он встал и выплюнул веточку. Заныла поясница — давали себя знать мышцы, растянувшиеся от непривычного сидения на корточках.

Кадонголими тоже трудно было встать. Нагая девчонка, стоявшая незаметно в тени, шагнула к ней; Эллелу, уловив движение, повернул в ее сторону голову, и взор его застлали залитые солнцем бугенвиллеи, которые исчезнувшие колонизаторы посадили во дворе, — теперь они совсем одичали. Он вместе с девочкой поставил Кадонголими на ноги, — она с хрипом выдохнула воздух, удивляясь своей инертности, своей тяжести, повиснув на Эллелу, так что у него затрещали кости рук, а потом перевалившись на тоненькую девочку, чьи грудки напоминали только что возникшие муравейники.

— Скажи же, — шепнул Эллелу жене, — она — наша?

— Ох, Бини! — с хрипом вырвалось у нее. Ей было так трудно стоять, что она с трудом говорила. — Ты — наш общий отец. Не все ли равно, кто зачал это милое дитя? Ты сам рожден вихрем страсти. Девочка любит тебя. Мы все любим тебя. В этом доме тебе будут рады, даже когда все остальное рухнет. Только не пропадай надолго. В твое отсутствие вырастают сорняки. Даже земля — и та забывает.

Однажды ярким днем Эллелу шел в жестком синем костюме правительственного посыльного по одному из узких песчаных проулков, зигзагами спускающегося с Хуррийя, и увидел женщину-мусульманку в затейливых солнечных очках. В противоположность его строгим черным очкам стекла у этих очков были круглые, чрезмерно большие, более темные наверху, чем внизу, с дужками ниже середины виска. Все остальное на женщине было традиционным: черное буи-буи, какое носят мусульманки, плетеные сандалии и чадра. Она нырнула в какую-то дверь, прежде чем Эллелу смог остановить ее и спросить, на каком незаконном и омерзительном рынке она приобрела такие очки. Он привел бы ей священные строки: «Неверные прикрывают свои глаза: правда вечно слепит их».

В пустоте, образовавшейся с исчезновением женщины, возникло воспоминание о стойке с солнечными очками, которую он видел, когда в 1954 году только что приехал в страну дьяволов молодым дезертиром и записался студентом в колледж гуманитарных наук в жизнерадостном городе Фрэнчайзе, что в штате Висконсин. В тот сентябрьский день, когда косые лучи солнца перчили красными пятнами роскошную зелень североамериканских деревьев, он прошел вместе с тысячью белых студентов собеседования, выстоял в очереди, чтобы записаться в колледж, и затем направился по широкой главной улице, кипевшей от транспорта, как танец с ножами, в книжный магазин с большим навесом, где в соответствии с требованиями своего курса нагрузился Томом Пейном, газетами федералистов, работами Артура Шлезингера, сборником замечательной американской прозы, напечатанным дурацким способом в виде альбома для вырезок, смертельно тяжелым трудом по экономике в фальшиво веселой восково-голубой обложке и тетрадями, которые ему предстояло заполнить мудростью лекторов, в обертках, пятнистых, как долго гнившее дерево, со страницами, напоминающими поля с бесконечными тонкими ирригационными канавками. Сделав покупки, Эллелу почувствовал жажду. Под навесом рядом с книжным магазином он разглядел над выцветшими картонными тотемами сквозь широкое, с меняющимися отражениями стекло, стойку с какими-то напитками, возможно, подумал он, там есть серебристый арак или — в соответствии с рекламой лосьона для загара — пальмовое вино. В ту пору Эллелу еще не был истовым и воздержанным мусульманином, каким стал позже. Он вошел. Опасности и непредсказуемости военной службы и достопримечательное бегство из Дакара, — где его собирались перебросить на войну в Алжир, — в Марсель, затем в Лондон и Торонто, где его прятали во франкоговорящем гетто за Куин-стрит, не подготовили Эллелу к восприятию американского магазина мелочей, к этим стенам и штабелям чрезвычайно привлекательных напитков с яркими, кричащими наклейками, взывающими купить их и высвободить из этого безумного плена систематически пополняемого промышленного изобилия. В коробках стояли маленькие пузырьки, в пузырьках лежали капсулы, в капсулах были порошки и жидкости, приносившие облегчение, катарсис, производившие столь действенное чудо, что юный Хаким испугался, как бы они не взорвались ему в лицо. В другой части магазина были замысловатые инструменты в прозрачной оболочке, прикрепленные к картону, служившие для приглаживания, завивки и всяческих мучений женских волос, а рядом с ними — тупоносые ножницы, детские цветные карандаши, дыроколы и йо-йо, а дальше — ряды коробок с шоколадными батончиками «Марс», «Гуд энд пленти» и «Милки уэй» по соседству со стойками, увешанными зубными щетками, полосканиями для рта и отбеливающими пастами, похожими в своей упаковке на фаллосы и имеющими такой химический состав, чтобы противостоять распаду, который созданы вызывать эти божественные сладости, неумолимо наступающие на потребителей, как солдаты на плацу. Хакиму инстинктивно захотелось расколошматить, разбросать эту махину, этот магазин мелочей, так непохожий на скромную загадочную pharmacie[[20]](#footnote-20) в Кайльевиле, где тощий француз в лаймово-зеленом халате охранял свой товар, стоя за высоким, по грудь, прилавком, — за его спиной виднелось лишь несколько сосудов с подсвеченной водой. А этот магазин больше напоминал хижину колдуньи с непонятными предметами, размноженными до бесконечности вездесущими зеркалами, которые висели даже над головой, — эти круглые выпуклые зеркала, превращавшие в карликов сыновей и дочерей тубабов с нахальными лицами, которые бродят по искусственно охлажденным проходам, точно накачавшиеся наркотиками идолопоклонники, пришедшие выбрать какое-нибудь украшение или снадобье из пестрого многообразия средств для самопоклонения. Из невидимых отверстий в стенах неслась тошнотворная музыка. Хаким в свободно висевшем на нем коричневом костюме, принадлежавшем разжиревшему сепаратисту, который держал бистро в колонизированном Онтарио, остановился перед стойкой с большими открытками, вульгарными и смешными, которые эти американские туземцы со своей древней свободой вроде бы посылают друг другу в качестве положенного оскорбления; многие открытки содержат тактильный элемент — прилепленный к картону пушок, выпуклые края, как у багдадских кованых подносов, а в некоторых открытках проделаны даже отверстия, в которых, думаешь, сокрыто что-то непристойное, а откроешь, — там нечто совсем безобидное (тарелочка с розовым мороженым).

— Не трогай.

— Pardon[[21]](#footnote-21).

Голос исходил из дряблого горла тощего старца в пиджаке, он был невероятно бледен, лоб — в пятнах явно нетропической кожной болезни.

— Руки прочь, молодой человек. А то открытки станут грязными, — кому они нужны тогда.

— Je vois[[22]](#footnote-22).

Грязными? Отойдя от открыток, Хаким чуть не налетел на стойку с солнечными очками — настоящее дерево. По правде, не дерево, а куст в рост человеческий, этакий человек со множеством черных глаз. И вся эта штука, покачиваясь, крутилась. Бини, будущий Эллелу, быстро заложил грязные руки за спину, чтобы показать ворчуну-служителю, что он не трогал этого хрупкого сооружения, — оно само по себе дрожит. По другую сторону стойки он увидел молодую белую женщину. Нетерпеливыми властными толчками тонких рук она вращала вертушку, чтобы та выдала ей идеальные очки. Она выбрала одну пару с разухабистой серебристой оправой, ловко, но довольно небрежно посадила очки на свое тонкогубое решительное лицо и резко спросила Хакима:

— Как считаете?

— Charmant[[23]](#footnote-23), — выдавил он из себя, поняв, что она обращается к нему.

Она вернула очки на вертушку, но не на то место, откуда их взяла, и схватила другие, с оправой из голубого пластика с голубыми стеклами. Эти очки, закрывая верхнюю часть лица, подчеркивали ее красиво очерченный рот и усыпанный, словно от злости, веснушками нос.

— Эти хуже, — сказал он, на этот раз вспомнив, что надо говорить по-английски. — Слишком много голубого.

Девушка примерила третью пару и теперь улыбнулась — улыбка быстро мелькнула между ее острым подбородком и костистым прямым носом, — а я, взглянув на нее, чтобы вынести в третий раз приговор, увидел зеркальные черные стекла, в которых отражался я сам в коричневом костюме меж двух убегающих вдаль стен с товарами, запечатленными в насмешливых глазах девушки, — я был плохо выбрит, плохо одет, с глазами, выпученными от молодости и страха. Девушку звали Кэндейс. Будучи оба первокурсниками, мы часто встречались и со временем стали любовниками. Она была светленькая. С окончанием лета веснушки ее выцвели, кожа стала пушисто-белой, так что мне казалось: я могу слизать этот пушок.

«Пересохшие губы болят, и реки сердца устремляются вверх, приветствуя живительный сок симметрии», — распевал Эллелу, взбираясь по узкой кирпичной лестнице, которая вела на второй этаж от старинной резной двери, такой низкой, что даже ему приходилось нагибаться, а дверь эта была рядом с дверью в мастерскую, где плели корзины и торговали гашишем, и походила на разодетого малыша рядом с озабоченной матерью; дверь в мастерскую была открыта, позволяя безымянному торговцу воображаемыми апельсинами увидеть в полутьме, как ее владелец, нагнувшись под свисающими с потолка джунглями сохнущей рафии и уже готового, но еще не оформленного плетения, вручил покупателю завернутый в тряпку длинный пакет в обмен на пачку шуршащих, покрытых пылью лю. Под обтрепанным подолом покупателя Эллелу заметил — или ему показалось, что заметил, — бумажные брюки и неэлегантный изгиб туфель на платформе. Возможно, турист. Цифры, представленные Эзаной (а министерству внутренних дел подчинялось Бюро по туризму), показывали, что, несмотря на все предупреждения, туристов стало еще больше, — они приезжали насмотреться на бедствия, причиненные голодом, и побыть в покое в этом месте, находящемся на хрупком краю, за которым ничего нет. «Покончить с туризмом», — мысленно сделал себе пометку Эллелу и отстучал на двери Кутунды под медным замком от воров, который она недавно поставила, три слога своего имени: Эл-ле-лу. «Покончить с собственностью, — подумал он, — покончить с воровством».

Поскольку утро было уже не раннее, Кутунда появилась в элегантной дакроновой юбке и жакете, с зачесанными вверх, как положено секретарше, волосами и с не слишком большим количеством браслетов, — в таком виде она отправлялась на работу во Дворец управления нуарами. И Эллелу видел, как она вбегала и выбегала из кабинета Эзаны в очках для чтения в виде двух положенных на спину полумесяцев. А когда она смотрела поверх очков, ее карие, почти черные, глаза выглядели испуганными — чувствовалось, как скрытый за ними мозг меряет время. Оскорбляла Эллелу и прерванная дуга ее вопросительно поднятых бровей, так как она выщипывала лишь волосы между бровями, а в пустыне сдирала их кремнем вместо бритвы, оставляя тоненькую полоску. Когда женщины перестают следить за своей красотой, предупреждает Маркс, мужчинам грозит экономическая беда.

— У меня назначена встреча, — сказала она Эллелу, словно он на самом деле, а не только по костюму, был торговцем несуществующими апельсинами.

— С твоим президентом. И сейчас, — сказал Эллелу. — Снимай этот нелепый капиталистический костюм.

— Я могу быть к твоим услугам в любое время после обеда, мой господин. — В тоне ее появилось больше почтительности.

— «Аллах не дает отсрочки ни одной душе, чей срок истек», — процитировал он, сбрасывая с себя одеяние.

Страх и нежелание нарушать некушитские законы пунктуальности передались ее руке, когда они вместе стали расстегивать пуговицы и молнию ее костюма. Эллелу с возрастающим возбуждением оглядел лифчик и аккуратные чистые трусики, — в той Америке, к которой он приобщился, наглаженное до блеска нижнее белье вызывало большую похоть, чем обнаженное тело, которое почему-то ассоциировалось с представлениями об эстетической красоте и святости мрамора. Ее глаза и без помощи очков обнаружили признак его возбуждения, — диктатор велел ей опуститься в своем эластичном белье перед ним на колени. Кутунда, возмущаясь и одновременно забавляясь, принялась своим щедрым ртом с широкими, но не столь пухлыми, как у более черных молодых женщин близ Грионде, губами и с зубками, сверкавшими как звезды в устроенной его нервами ночи, ритмически заглатывать его член, — их силуэты, плоские, как фигуры на рельефах Стены фараона, были почти неподвижны в зеркале до пола, которое Кутунда установила между двумя большими шкафами, купленными, чтобы хранить разрастающееся обилие нарядов. Помимо этих шкафов, обитых шелком и украшенных снаружи репродукциями «La chasse à la licorne»[[24]](#footnote-24) и других менее значительных произведений фламандских художников, швейцарскими репродукциями, столь совершенными, что видна каждая ниточка гобелена, Кутунда приобрела стальной письменный стол, на котором стояло нечто вроде диктофона плюс стопка пластмассовых подносов, а по обе стороны стола — две новые серые картотеки, по четыре ящика в каждой. Поэтому, когда Эллелу уже готов был извергнуть из себя то, что его умелая и теперь уже вдохновленная любовница довела до появления на свет, ему нелегко было найти на полу место, чтобы осуществить свое решение, а сдергивая с нее трусы, он с такой силой ударился локтем о металлический край чего-то, что слезы выступили на глазах. В мозгу вспыхнуло изречение красных: «Секс — это отвратительно» — и одновременно священный текст: «Из нетерпения сотворен человек». Он поднажал и, очутившись внизу, среди стальных ручек и торчащих ящиков, обрел чувство близости к земле, недоставало лишь привычного зловония, сопровождавшего их первые любовные схватки в песчаных выемках несостоявшихся колодцев. Ее гортанные вскрики были точно такие, как раньше, и он рассмеялся.

— Мой президент, — сказала Кутунда, обретя дыхание, — снова стал прежним.

— Случается, готовясь в путь, снова находишь то, что считал утерянным.

— Опять в путь? Прошло всего два-три месяца с тех пор, как ты ездил к северной границе и дал отпор американскому вторжению.

— И вызволил прелестную Кутунду.

— И вызволил прелестную Кутунду, — машинально повторила за ним Кутунда. Она быстро одевалась и, нажав на кнопку часов, посмотрела на выскочившие красные цифры.

— Какая встреча с Эзаной и его приспешниками, — заметил Эллелу, — может быть важнее встречи с тем, кого ты обожаешь?

— Ты на все смотришь со своей колокольни, — осуждающе произнесла Кутунда, поправляя прическу и уже берясь за портфель. — Я обожаю тебя, но карьеры на этом не сделаешь, сидя тут, над мастерской, где торгуют гашишем, и дожидаясь, когда надо включать обожание, верно? А Микаэлис занимает меня делом — читать я еще по-настоящему не научилась, но уже умею разговаривать по телефону, и теперь почти каждый день с удовольствием беседую с женщиной, которая вполне свободно говорит на языке capa, правда, с таким забавным акцентом, что мне иногда приходится сдерживаться, чтоб не рассмеяться. Она чуть ли не каждое утро звонит из Вашингтона — не помню, который у них там час, просто не понимаю, почему у империалистов другое, чем у нас, время: они, наверно, ложатся спать на заре, а обедают при звездах. Микаэлис тысячу раз пытался мне это объяснить, он говорит: мир круглый, как апельсин, и все время крутится, а солнце — другой апельсин...

— О чем же ты разговариваешь с этой женщиной из Вашингтона?

— Да о чем угодно — мы просто разогреваем линию. Она рассказывает мне про погоду, и про то, какие длинные очереди у бензоколонок, и какой милый человек мистер Агню, всегда так хорошо говорит и хорошо одет... — Она вдруг дико заозиралась в поисках чего-то и тут же нашла. Это оказался футляр из крокодиловой кожи с ее очками для чтения. — А потом мистер Клипспрингер подходит и разговаривает с Микаэлисом.

— И что же этот лакей угнетателей говорит полковнику Эзане? — осведомился я, чувствуя, как ярость, скопившаяся в моей голове, словно закупоренное шампанское, дегазируется под воздействием печального наблюдения: в движениях Кутунды больше не чувствовалось правнучки леопарда, — в ней появилось что-то наэлектризованное, дерганое, она держалась как современная женщина, подключенная к различным источникам энергии. Ее прекрасные крепкие ноги с мозолистыми широкими пятками и бедрами пантеры похудели вследствие (я полагаю) градуированной диеты, псевдомедицинские добавки для которой поступают к нам даже в разгар голода.

— Ох, не знаю: они же говорят по-английски. Наверно, насчет репараций...

— Репараций?

Моя подстилка испугалась, поняв, что все эти дела, с которыми она сталкивалась в своей чиновничьей жизни, скандализировали меня; сделав вид, будто что-то ищет, глядя куда угодно, только не мне в лицо, она пятилась и сновала со своим портфеликом — дакроновый костюм, ноги стройные, гладко зачесанные волосы, из которых вымыт весь песок и бараний жир, блестят — по заставленной мебелью, тесной комнате, а я стоял на страже у двери, хоть и голый, но как солдат, маленький коричневый человечек, в общем-то не так уж и раздраженный подобным обманом. Засевшему в желудке кому вины требовалось больше сока, чтобы перевариться.

— Мой президент, конечно же, знает, — забеспокоилась Кутунда, — о переговорах по поводу этого американца, Гиббса, который сжег себя на куче контрабанды то ли в припадке сумасшествия, то ли в знак протеста против продолжающихся усилий его страны развратить Юго-Восточную Азию, или по поводу участия американцев в недавно возобновившихся нападениях Израиля, угрожающих целостности арабского мира. Вдова Гиббса хочет получить его прах. Если я правильно понимаю, — а может, все и не так, — в обмен на прах и извинение президенту Шрелю, чья территория была нарушена...

— Да ничего подобного! Он нарушил нашу территорию, дав белым дьяволам свободно пройти.

— И ты, конечно, знаешь про Коран, изданный по системе Брайля.

— Брайля?

— Это замечательное изобретение, — с восторгом невинности стала объяснять Кутунда, — оно позволяет слепым читать на ощупь. Клипспрингер, со своей стороны, пришлет морем тысячи книг — десять тысяч, двадцать тысяч, в зависимости от цифр переписи семидесятого года, какие даст ему Микаэлис, и вместе с ними двадцать — тридцать абсолютно аполитичных инструкторов по чтению этого алфавита (буквы татуировкой наносят на бумагу, я щупала — пальцы щекочет, ты не видишь букв, ты их чувствуешь) для центра по изучению Брайля, который американцы готовы построить в Истиклале на месте библиотеки Информационной службы США, сожженной во время переворота пять лет назад. Выглядит это потрясающе — я видела чертежи: бетонные крылья, которые держатся на полиуретановых нейлоновых тросах, и над всем фронтоном стальные буквы с названием — они не знали, станешь ли ты возражать, если центр будет носить имя короля Эдуму, потому что он слепой. Тебе, конечно, все это известно. Разве Клипспрингер не говорил с тобой по телефону? Он разговаривает иногда и со мной, до того как к аппарату подойдет Микаэлис, но его арабский не лучше моего, так что я принимаюсь хихикать. Только, пожалуйста, не хмурься. Клипспрингер твердо обещает, что никаких цээрушников среди инструкторов не будет, он ненавидит ЦРУ еще больше, чем мы: говорит, они присвоили себе права конгресса делать политику, что бы это ни значило, и никто в Вашингтоне не приглашает их на приемы. Ты ведь все это знал, верно? Ну, скажи, что ты меня просто разыгрываешь.

— Я никогда не разыгрываю мою Кутунду из-за того, что она рассказывает мне такие занятные истории. Вот что передай, пожалуйста, моему старому товарищу подполковнику, а некогда капралу, Эзане. Скажи ему, что до меня дошло: оказывается, он настоящий Руль, дьявол пустыни.

— И я могу идти? Супер. Я не так уж много пропущу: сегодня должны показывать слайды, а на то, чтобы их установить, всегда уходит время. Клипспрингер прислал нам целый ящик с каруселями слайдов, на которых показаны сельское хозяйство и оросительная система в Нежеве. Ты тоже можешь пойти. Кстати, мог бы подвезти и меня. Неужели у тебя нет никаких дел во дворце? А после обеда мы занялись бы любовью, если захочешь. Извини, что утром я была не в себе — ты застал меня в плохое время, но я, клянусь, не изображала оргазма. Это правда было чудесно. Только мой президент может довести меня до того, что я себя не помню, подхожу к самому краю перехода в другой мир, и на меня находит ужас от того, что я могу туда рухнуть и перестать существовать. Это лихо.

Мне приятно было, что дитя пустыни оживилось, льстит мне и старается обворожить — так ей хочется прокатиться в моем «мерседесе».

— Я завезу тебя по дороге, — сказал я. — Мне еще надо совершить утренние молитвы.

Маленькая мечеть Капель Крови была построена в неприметном месте к востоку от Аль-Абида, откуда видна недостроенная часть дворца — стена из неоштукатуренных, осыпающихся глиняных кирпичей. Местность здесь плоская, квадратные земляные дома-тембы отделены друг от друга широкими участками земли; пучки сухой травы, по которой не ходят люди, вызывают в памяти саванну, которая простиралась здесь когда-то, до того как Бог и козы уничтожили ее. Мечеть была без минарета, и из ее основания со всех боков торчат бревна, как зубочистки из оливок. Век тому назад весь престиж перешел к мечети Судного Дня Беды, но на опустевшем дворе остался каменный фонтан, по обитому краю которого шла едва различимая надпись, представлявшая собой первую строку девяносто шестой суры: «Говори от имени твоего Повелителя, Создателя, который создал человека из сгустков крови»; во все часы дня и ночи нашей засухи этот фонтан предлагал свежую воду для омовения правоверных. Из какого источника? Прикасаясь руками к благоговейно вырезанному на камне тексту, потом подставляя их под на удивление не прекращающуюся струю холодной кристально чистой воды, потом положенным образом поднося ее к губам и векам, я думал о жажде — страстном желании, более сильном, чем все остальные, кроме желания остановить боль, и о безвестных людях, чьи имена и кости погребены так же глубоко, как песчинки, затоптанные в Истиклале, — о людях, прорывших этот неумирающий родник, к которому приходят лишь немногие.

Внутри мечети Капель Крови было пусто, там всегда пусто, если не считать выжившего из ума имама, который совершает положенные молитвы пять раз в день, а между этими молитвами там царит никем не нарушаемый покой Аллаха. «Обрати взор свой вверх — можешь ли заметить хоть единый изъян?» Стена, на которой начертан этот михраб, выложена бледно-голубой плиткой, без рисунка. Я опустился на колени, распростерся ниц, трижды повторил раку, затем сел на пятки, положил руки на бедра и дал медитации после молитвы омыть меня, очистить.

В Америке мои друзья, разоткровенничавшись поздно вечером под действием вина и пива, так как гашиш был известен только музыкантам, и интересуясь всем и вся, расспрашивали меня о моей религии, высказывали предположение — на их взгляд, эмпирическую уверенность, — что Бога нет, словно такая возможность делала бесцельными мои религиозные обряды, казавшиеся им напрасной тратой времени, плохим капиталовложением. А моя вера в ту пору не была незыблемой, и если в те ранние пьяные часы я заглядывал себе в душу, то видел много перемещающихся прозрачных покровов, под которыми не мог отчетливо и с уверенностью различить Бога. Собственно, на рациональном уровне можно было выявить много черт, указывавших на обратное. Но ведь Бог нашего Корана — последний родившийся Бог, последний яростный выдох, от которого в ужасе завертелся язык Пророка, чьи ученики с тех пор так и вертятся, — Бог, который подобно острому ножу прорубает себе путь сквозь многоголовые раскрашенные абсурдности индуизма и католицизма, методистов и фетишистов, Бог, лишенный особых черт, так что, возможно, и вера в него лишена таких черт. Некоторые наши суфии утверждают, что в атмосфере той высокой степени чистоты, в которой находится Бог, различие между существованием и отсутствием его — тривиальный пустяк, это различие при таком сиянии незаметно. Что может быть чище несуществования? Что может быть большим утешением и большей карой? Перед Аллахом стоит выбор: существовать или не существовать; передо мной — молиться или нет. Ничто не вызывает такого энтузиазма, как контакт с Абсолютом, хотя этот контакт и развивается в одном направлении. Стена из бледно-голубых плиток рождала во мне чувство покоя и равновесия, тишину, не существующую в местах сомнений и издевок.

Голубые плитки. Одна-единственная муха летала со сверхъестественной рассудительностью, избегая повторять движения и делать круги, которые могли быть приняты за геометрические. Моя мысль улетела с этой мухой в пустоту. И я понял, что должен сделать. Мне предстояло сделать шаг по прозрачным ступеням. И все во славу Аллаха, великого, милостивого. Сквозь единственное окошечко с рамой, полурассыпавшейся в прах, видна была беспредельная, интенсивная голубизна этого дня, тщетно осаждавшего толстые стены маленькой мечети. Мой взгляд впивал в себя эти плитки.

Эзана поднял глаза и удивился, увидев меня, а еще больше удивился, увидев позади меня Опуку и Мтесу. В этот час мы обычно не проводили совещаний. Спускались сумерки, и Эзана, сидя в халате из узорчатого шелка, потягивал напиток из высокого стакана, в котором плавал кусочек лайма, а у его уха жужжал кондиционер. Он читал книгу — наверняка американский роман о карикатурных сексуальных приключениях еврея-интеллектуала или освобожденной женщины. Развитие сюжета вызывало у него улыбку, которая не сразу покинула его лицо. Довольно долго на протяжении нашего разговора он держался мягко. Он спустил ноги в итальянской коже с марокканской скамеечки и собирался встать, чтобы поздороваться, но я жестом велел ему не утруждать себя.

— Я пришел узнать, — сказал я, — о переговорах с американцами, которые, насколько я понимаю, идут.

— Не переговоры, а беседы, — возразил он. — Этого малого, Клипспрингера, довольно трудно остановить, он такой... как это вы, американцы, говорите... *даритель*.

— Вы — американцы?

— Извините, мой президент, *просто* американцы. Вы вошли, когда я как раз читал эту книгу, где только и речи что о бедных, живущих во мраке невежества буржуа, которые пытаются подвергнуть психоанализу Вселенную. Я пробую читать эту ерунду, чтобы лучше понимать нашего противника. Они странная, потерянная раса, еще более бедная, чем они себе это представляют. Вот я и подумал, не придется ли нам со временем принять их у себя — у них тоже дефицит в торговле, высокий показатель безработицы, а также проявляется склонность к сельскому хозяйству как национальная черта характера и возникает необходимость ввести протекционистские тарифы, чтобы сверхэффективные и высокоразвитые предприятия бывших держав Оси не переплюнули их еле дышащие национальные отрасли промышленности. В самом деле, товарищ президент, в такое время, когда у арабов сконцентрирован весь капитал, в Сибири и в Бразилии — все сырьевые ресурсы, а у китайцев — идеологический запал, не будет ли в интересах глобальной стабильности оказать Соединенным Штатам помощь, заложив это в наш национальный бюджет на будущий год. Я, конечно, шучу.

— Конечно. Однако звучит это так, будто помянутый Клипспрингер запудрил мозги моему шеф-министру. Этот народ — настоящие пираты. Не пуская в ход ни одного солдата, их экономика выкачивает богатства со всего мира, служа алчному, тривиальному и расточительному потребительству. Я приказываю в ответ на их авансы не давать никакого ответа.

— Но отсутствие ответа — это уже ответ, который побуждает спрашивающего действовать. А ведя дискуссию, мы оттягиваем действие, и проблема растворяется. Об этом злополучном Гиббсе не упоминают уже несколько дней. Мы не можем делать вид, будто американцы не существуют: они крутят французами, а если французы перестанут давать деньги на наши земляные орехи, перестанем существовать в мире мы.

— Или начнем существовать в мире лучшем.

— Кроме того, как известно полковнику, некоторые реакционные элементы бежали от нашей революции и нашли пристанище в Сахеле. Поставка американского оружия может превратить этих смехотворных диссидентов в силу вторжения, которая обнаружит, что наши границы легко пересечь, а наше население, сколь бы оно ни было предано Эллелу, отчаянно ослаблено засухой.

— Из голодных получаются хорошие солдаты, — заметил я. — Когда дело доходит до боя, бедняки берутся за свое золотое оружие — это то, что им почти нечего терять. Их жизнь проходит в жалкой приемной дворца загробной жизни. Живописный рай, обещанный Пророком, — наша атомная бомба: от ее взрыва бедные тубабы, держащиеся за бездуховное существование, засохнут как насекомые. *Они не имеют представления о той жизни, что их ждет.* Что же до французов, то они слишком заняты тем, чтобы набить деньгами горло самолета «конкорд», и не сводят с него глаз — все достояние целого народа скупердяев заглатывает этот гусь аэронавтики. Забудь про неверных: они погрязли в материализме и его свинском удушении духа. Нашей самой верной и благородной политикой является полное к ним пренебрежение.

— Даже твои робкие друзья, советские люди, — не отступал Эзана, — испытывают на себе американское влияние теперь, когда необъявленное противостояние перешло в *разрядку*.

— Что это, товарищ, побудило тебя опуститься так низко, в тину realpolitik[[25]](#footnote-25)? Я спасу тебя от демона, которого ты заглотал. Если еще хоть на один звонок этого Клипспрингера последует любезный ответ, я велю перерезать кабели, ведущие к дворцу.

Лицо Эзаны, все его полукружия и выпуклости, потускнело от огорчения. Золотой зуб исчез, в горестной гримасе обнажились нижние зубы.

— Но завтра мы должны обсуждать возможность пристройки крыла к библиотеке Брайля — лепрозория памяти моего отца. Твоего, я знаю, унесло ветром, как щепотку удобрения, а моего отца я знал и любил. Он был бойцом, а потом, когда французы установили мир, — перевозчиком в излучине Грионде, где берега сходятся близко. Возможно, во время своих посещений южного берега он и подцепил проказу в середине своей жизни, поседел и постепенно погибал. Сначала у него не стало носа, потом пальцев. Я наблюдал, как шагала болезнь. Мое нынешнее положение и возмущение, толкнувшее меня в революцию, объясняются клятвой, которую взял с меня отец при своем последнем вздохе. Я поклялся, что высоко поднимусь по социальной лестнице, что граждане Нуара никогда не будут испытывать страданий и унижений так незаслуженно, как он.

— Лучше, пожалуй, было дать клятву, что ты встретишь собственный конец, не сетуя на судьбу, как, судя по всему, сетовал твой предок.

Эзана оставил без внимания это оскорбление своего отца. Он нагнулся в кресле, чтобы по извилистым каналам моего уха донести до моего сознания то, что хотел сказать. Мой товарищ, несмотря на свой щеголеватый костюм, предстал сейчас передо мной более голым, чем в пору ярости и страха, царивших во время Возрождения и после, когда мы сговаривались покончить с пустоголовым Соба. Эзана сказал мне:

— Мир нынче не тот, каким был. Необходимости страдать уже не существует. Единственный урок, какой дало страдание, — это как избежать еще больших страданий. То, что причиняет людям боль, может, за некоторым исключением, быть теперь устранено. Ветрянка даже в нашем околдованном крае была изолирована и ликвидирована. Мы знаем, чем надо заполнять желудки детей, хотя не всегда можем это сделать. Обесцвечивание загробной жизни, — а она обесцветилась, мой друг Эллелу, сколько бы ты ни копался в своем сердце, — придало этой жизни большую ценность. Говоря о непрекращающемся насилии на нашей планете и противопоставляя заявления ЧВРВС измышлениям, напечатанным в «Нувель ан нуар-э-блан», стоит отметить, что факт остается фактом: насилия сравнительно не так уж много, и оно намеренно сдерживается державами, которые могли бы его расширить. Война стала криминалом, это уже не спорт для джентльменов. А потеря респектабельности — дело нешуточное. Мы чувствуем это везде, даже в апатии Куша. Ненависть в национальном масштабе утратила искренность. Уверенность в своей правоте, оправдывавшая великие бойни, исчезла. Понятия расы и племени, секты и страны, определявшие человека и устанавливавшие принцип набора молодежи в армию, больше не порождают слепую лояльность; кубинцы и бельгийцы, перуанцы и индонезийцы встречаются на наших приемах во дворце, вожделеют к женам друг друга и равно жалуются на скуку дипломатической службы в этом забытом Аллахом месте заключения, в этом болоте. Подобное общение говорит о росте прагматизма в людях и сокращении безумной энергии, которая обеспечивала неизбежность удачного выполнения моей клятвы, данной отцу.

— Эти понятия, которые ты принижаешь, — сказал я, — являются камнями, на которых зиждется человечество. Если они рассыплются, мы будем иметь дело с кучей пыли, состоящей из индивидуальных атомов. Это будет не мир, а энтропия. Как все уютно чувствующие себя трусы, ты, товарищ Эзана, переоцениваешь мир. Возможно ли, — спросил я, — чтобы природе был присущ некий принцип соперничества, идущий от первого вторжения существа в божественную первозданную пустоту? Безмятежно спокойные небеса, как доказано астрономами, сияют благодаря немыслимым по своим размерам взрыву и потреблению, а блестящая поверхность мрамора или бархатистость девичьего века объясняется физиками распадом крутящихся в вихре частиц и титаническим напряжением, порожденным несовместимыми разрядами. Еще один пример: мы с тобой были долгое время в ссоре, и правительство Куша родилось из диалектического расстояния между нами. Из полезной войны, которая между нами шла, родился синтез, и этот синтез, по крайней мере на время, нейтрализовал антагонистические энергии, которые сталкивались внутри.

Пальцы Эзаны, не смыкавшиеся из-за толстых колец, шире растопырились на стеклянной поверхности его стола.

— Я иногда думаю, мой президент, верно ли отражают даже плодотворные схемы Маркса топологию мира, где советские пролетарии устраивают черный джинсовый рынок, а дети капиталистического среднего класса изготавливают бомбы и плакаты с изображением улыбающегося Мао?

— Или где шеф-министр радикальной хунты, — добавил я, — ведет подрывные разговоры с американской разведкой и пытается заразить своего президента фальшивым, сентиментальным атеистическим плюрализмом, который он в результате этих разговоров подцепил?

Эзана не смог ответить из-за появления Кутунды, спрятавшей согласно установленным в правительстве правилам свою секретарскую униформу под просторным бубу; она ворвалась в кабинет Эзаны в сопровождении человека с узким лицом, в котором, несмотря на его формально строгий вид, я признал того полицейского из племени фула, который читал королю Коран. Он был по-прежнему в феске сливового цвета, но вместо белой куртки и панталон касты служителя в высших сферах на нем была рубашка в узенькую, словно ниткой проложенную, полоску и коричневато-серые брюки, неприлично узкие в бедрах и такие широкие внизу, что из-под них видны были лишь квадратные, словно эмалированные, носы туфель. И Кутунда, и он держали полные стаканы какого-то напитка и явно собирались вернуться на своего рода вечеринку. В руке у нее, кроме того, была коробочка соленого печенья под названием «Хай-Хо», а ее молодой спутник держал полумесяц эдамского сыра с красной корочкой. Они пришли, однако, по моему требованию, чтобы присутствовать в качестве свидетелей при задержании их хозяина Мтесой и Опуку как предателя страны и человека, который ходит в шелках. Эзану поместили в комнаты, где сидел король в казарменном крыле Дворца управления нуарами, над Народным музеем империалистических зверств, вблизи истиклальской Антихристианской школы для девочек, с волейбольной площадки которой отчетливо слышались крики играющих.

Мне утомительно перечислять здесь все возражения и мольбы Эзаны. В частности, он сказал следующее:

— Мой президент, если вы посадите под замок своего шеф-министра и одновременно предпримете свое индивидуальное странствие в пещеру в Балакском массиве, о которой ходят всякие слухи, вы оставите Куш без руководства!

Я сомневался, что Куш это заметит, но никогда не вредно обезопасить себя, и чтобы показать Эзане, как я способен свободно и быстро принимать решения, я повернулся к молодому шпиону в феске и назначил его исполняющим обязанности министра внутренних дел, заведующим Бюро по транспорту, координатором лесов и рыболовного промысла и председателем Совета по туризму. Кутунда, сказал я, проинструктирует его и расскажет о его обязанностях.

Обязанности, обязанности. Прежде чем двинуться в путь, необходимо было посетить мою вторую жену и прижать к груди мой маленький росточек. Укутанная жила в изолированной вилле в самой уважаемой части Ле Жардена, где до 1968 года, когда шли дожди, выросли высокие платаны и каштаны, привезенные поселенцами, а за пять последующих лет деревья начали чахнуть, вянуть и совсем засохли. Их белые скелеты, жестоко обрезанные в галльской манере, обрамляли вьющиеся дорожки. Вилла Кэндейс заросла гнилостной зеленью, но засуха сделала то, что поленилась сделать рука человека, тем не менее высохший, лишившийся листьев вьюнок пробрался по трещинам в штукатурке фасада, его пальчики вцепились в ставни и поползли вверх по маленьким ионическим колоннам портала. Лоза уже стала выдирать плиты из крыши портала, но тут ее жизнь прекратилась. Когда я дернул за колокольчики, внутри раздался странный шуршащий звук, однако Кэндейс быстро подошла к двери, точно сквозь сплошные стены следила за моим появлением.

А возможно, она собиралась выйти, так как была закутана с головы до пят в тускло-черное буи-буи с паранджой, закрывавшей все лицо. Разбросанные по вуали дырочки, более мелкие, чем на капустной терке, позволяли смотреть на мир, представлявшийся ей в пятнышках. Возможно, в удаленном уголке Афганистана или Йемена еще существует какой-нибудь полоумный старик — торговец специями, шейх или бандит, который держит своих наложниц в таком виде, но в Истиклале, где социалистический прогресс укрепил традиционное легкомыслие африканских женщин, подобный костюм не мог не вызывать иронии, не восприниматься как злая шутка надо мной.

— Боже правый, смотрите, кто пришел! — послышался ее голос сквозь слои муслина.

Позади нее стояла крупная горничная из племени сонгай с корзинкой на руке. На лице девушки появилось встревоженное выражение: я был для нее олицетворением власти и главным нанимателем. У Кэнди не было другой прислуги, и не из-за моей скаредности. В первые годы нашего брака, когда я проводил с ней половину, а потом треть своего времени, в доме было достаточно слуг. А когда мои посещения постепенно сошли на нет, она стала отпускать слуг, раз в месяц сама делала уборку в доме, даже копалась в огороде, пока солнце чуть не сожгло ее. Сейчас Кэнди явно собралась вместе с прислужницей за покупками, но поскольку она почти никогда ничего не покупала, предпочитая заказывать по почте непортящиеся продукты из Соединенных Штатов, я мог лишь заключить, что целью таких вылазок было показаться закутанной и таинственной среди сплетниц и вызвать скандал. Люди скажут, что Эллелу в приступе страсти изуродовал жену или из порочных сексуальных склонностей женился на чудовищной уродке.

— Ё-моё, хватает же у тебя наглости, — сказала она, — явиться сюда в солдатском костюме с таким видом, будто я что-то тебе должна, кроме... кроме хорошего пинка по яйцам.

Ее врожденная скромность отступила перед потребностью произнести такую фразу в исповедуемой на ее родине манере свободы слова, а теперь еще и следуя феминистскому представлению об угнетении ее пола. Но Кэндейс не была забойщиком мяча, она была тем, кто наносит удар в сердце.

— Моя обожаемая, — сказал я, — я приехал попрощаться с тобой. Я собираюсь дойти до края моей судьбы и могу полететь вниз.

Моя исламская велеречивость, естественно, привела ее в ярость.

— Нечего мне болтать эту чушь про кисмет, — сказала она. — Я знала тебя, когда ты не мог отличить Коран от каталога «Сирс Робака».

И, словно решив прекратить атаку, она, кипя от злости, повернулась — колонна, обтянутая материей, — и было огорчительно видеть, как мало ее спина отличалась от переда. В своей затворнической жизни она выглядела не человеком, а опухолью, эдаким серым аспарагусом. Кэндейс жестом отослала перепуганную сонгаитку, резко махнув рукой с неуклюжестью человека, считающего, что со слугами надо поддерживать дружеские отношения, и устало плюхнулась в кресло — подделку под чиппендейл, присланное по заказу из Гранд-Рапидса. Она пыталась создать на этой французской вилле, построенной из материалов, производимых в южной Сахаре, прямолинейный водонепроницаемый уют висконсинской гостиной. Но выложенный плитками пол, стены, мебель из пальмового дерева подрывали эту иллюзию, которую еще больше уничтожали термиты и рассыпающиеся из-за засухи вещи. Ничего не снимая из своих одеяний, Кэндейс положила ноги в сандалиях на сервировочный столик из пятнистого клена, выдвижные доски которого тоже покоробились и разболтались от засухи. Если у ее родителей могла стоять пара раскрашенных фарфоровых уток с полыми спинами, из которых торчали утопленные в камушках нарциссы, у Кэндейс стояло глиняное блюдо с неочищенными орехами. Я взял один орех, расколол его и съел. В наших кушитских арахисах есть сладость, приятный, греющий душу вкус, какого я нигде больше не встречал.

— Ну, шеф, — спросила меня жена, — как дела с разными трюками на высоком уровне? Голову старику Эдуму отрубили, а влажности, похоже, не прибавилось.

— В таких материях равновесие нелегко установить. Я посадил Микаэлиса Эзану в бывший отсек короля — возможно, это что-то изменит. Он ставит под угрозу честь нашей страны, сотрудничая с твоими бывшими соотечественниками.

— Бедный малый, наверное, просто пытается внести немного рационального зерна в рай Эллелу на земле.

— Расскажи мне, какое рациональное зерно существует во Вселенной, — парировал я, — и я прикажу соответственно устроить мой рай.

— Не делай из меня школьницы, — сказала Кэндейс. — Этим ты меня и заманил в эту адову дыру — такой обаяшка, такой философ, на пустом месте создаешь новые нации. Главное тут — пустое место. Ты начинаешь с пустого места и пустым местом кончаешь. Господи, до чего же жарко в этом чертовом мешке!

— Сними паранджу, — посоветовал я. — Зря ты так шутишь со своим всепрощающим супругом.

— Черта с два шучу, — сказала она, и моя нервозность поуспокоилась от ее жесткого тона, который так же верно, как то, что за ночью настает день, зазвучит еще жестче и пронзительнее. — Кто привез меня сюда тайком, закутав с головы до ног? Кто говорил репортерам, что я — берберка-завия, слишком религиозная, и потому не могу никому показываться? А потом после этих паршивых панафриканских игр пошли слухи, что Ситтина — твоя вторая жена, а не третья. Кто, мистер Два-Эл Два-У, еще больше запаковал меня, когда началась революция и всех янки отправили из Истиклаля назад, на Эллис-Айленд? Господи, если ты думаешь, что я не была бы до смерти рада вернуться вместе с остальными туда, где можно пить воду, не выбросив предварительно из стакана сороконожку, и где не надо поклоняться пять раз в день вонючей Мекке или отпихивать ударом ноги голодных детей со своего пути всякий раз, как прогуливаешь козу, значит, ты ни о чем не думаешь. О нет, только не я, безумная старуха Кэнди, получавшая одни пятерки по политическим наукам, а вне стен учебного заведения верная, как собачонка, безумная, которой на роду написано быть рабыней мужчины, сидеть здесь и видеть, как уходит проклятая жизнь, и ты называешь это шуткой. А то как же, — произнесла Кэндейс и резкими круговыми движениями против стрелки сняла покровы с головы. Дрожащей белой рукой отстегнула паранджу.

Ее лицо. Почти такое же, каким я впервые увидел его без зеркальных солнечных очков на фоне уходящих вдаль стоек с дьявольскими товарами: щеки по-прежнему круглые, крепкие, узкий подбородок, белый, как кость, нос и такой же, как кость, прямой. Она даже улыбнулась — улыбка быстро мелькнула, — радуясь тому, что сняла покровы с головы.

— Господи, я могу дышать, — сказала она.

Светлые влажные волосы в беспорядке спускались на ее покрасневший лоб; из уголков голубых, молочно-голубых глаз, отливающих, как берилл, зеленым, веером разбегались морщинки, которые в иной жизни могли залечь от смеха. Ее кожа, светлая, как пудра, была все еще молодой: ее не палило и не стегало солнце на полях для гольфа, возле бассейнов и в паркингах торговых центров, — все эти годы Укутанная провела в укрытии, как одна из тайн Истиклаля. И я был рад этому. Глядя на нее, когда она сняла с головы покров, а потом паранджу, я оцепенел, вспомнив, как видел ее нагой, и воспоминание о ее бледном гибком теле, свободно двигавшемся в подцвеченной неоном темноте комнаты вне университетского городка, произвело на меня такое впечатление, что, вгони в меня, в мое бедное тощее существо в тот момент все мировое горе, я ничего бы не почувствовал: я был переполнен.

Обретя способность дышать, она пустилась в сволочной монолог:

— Как *поживает* дорогая Ситтина? По-прежнему бегает за членами и играет Баха? А моя большая мамочка Кадонголими? Ты по-прежнему ковыляешь вокруг своей старой авы, чтоб в тебя влили сок твоего племени? А эта идиотка маленькая Шеба — она научилась есть с закрытым ртом? Но тебе ведь это нравится, верно? Тебе нравятся эти крашенные шерстью домашние кушитки, верно? Хаким Счастливчик Эллелу, де-мон наро-ода. Де-мон чего? Так вот, есть тут одна срака, которая ненавидит тебя, приятель. Наклей-ка лучше на меня марку и отошли домой.

— Твое место здесь.

— Разведись со мной. Это просто. Тебе надо лишь сказать три раза «таллактуки». Да ну же, скажи. Раз, два... Разведись со мной, и у тебя появится место для этой новой тват — как там ее зовут?

— Кутунда. Наши отношения сугубо официальны. Что же до тебя, моя возлюбленная Кэндейс, то помимо того, что я лично к тебе привязан, ты служишь для определенной цели. На наши границы давят. И когда настанет день Великой Беды, я смогу указать на тебя в доказательство того, что президент Куша настроен антиимпериалистически, но никоим образом не антиамерикански.

— Да ты сам не понимаешь, кто ты, бедное маленькое пугало. Ты самый нарциссический, шовинистический, мегаломаниакальный, кататонический, шизоидный, отвратный тип, какого когда-либо производил этот отвратный континент. А это о многом говорит.

Эти клинические эпитеты напомнили мне об ее книжках из серии Книжного клуба — растрепанных, выцветших, подъеденных термитами кипах и пачках томов, вывезенных из ее родной страны, главным образом по популярной психологии и социологии. Как преуспеть, как спастись, как пережить кризис перехода в средний возраст, как найти удовлетворение в своей женской сущности, как быть свободной, как любить, как встретить смерть, как обуздать свои фантазии, как заработать доллары в свободное время — бесконечные пособия по самопомощи и самопознанию для этой расы, ориентированной на деятельную жизнь, — расы, которая так и не решила для себя фундаментальный вопрос: кто есть человек. А человек — это сгусток крови. Книги, внушающие надежду, быстро рассыпались в этом климате. Кэндейс не хватало для них полок, и она складывала эту литературную иностранную помощь на полу, где наш великий субконтинент насекомых прогрызал снизу обложки, их невидимые челюсти пережевывали то, что пережевывали ее глаза, а она безостановочно читала, прогоняя монотонную череду дней, недель и лет.

Кэндейс вскочила на ноги и возопила:

— Я ненавижу тебя! Я ненавижу этот дом! Я ненавижу жару, клопов, грязь! Здесь ничто не *держится* долго и ничто не меняется. Одежда после стирки становится как картонная. Дохлая крыса на полу к полудню превращается в скелет. Мне все время хочется пить, а *тебе* ? Счастливчик, — так она прозвала меня в колледже, — я *тону* и ничего не могу с этим *поделать*. Я хожу к единственному доктору в Истиклале, он пожимает плечами и говорит: «Почему вы не *уезжаете* ?» А я отвечаю ему: «Я *не могу*, я замужем за *президентом* !»

Ее светлые, как солома, блестящие, как солома, волосы упали на лицо, словно чтобы скрыть рыдания; мое импульсивное желание протянуть руку и успокоить ее не осуществилось лишь потому, что я был уверен: ничего из этого не выйдет, и мое любящее объятие лишь еще больше разозлит ее, как книжки о том, каким путем достичь счастья, только делают ее еще более несчастной.

Она подняла голову — глаза у нее были красные, но неожиданно сухие. И смело, напрямик, как в свое время она спросила: «Как ты меня находишь?», Кэндейс спросила:

— Ты не можешь меня из этого вытащить?

— *Этим* — на что, возможно, уже намекал твой друг фрейдист-лекарь — являешься ты сама. Ты свой выбор сделала. Я бессилен его изменить. Когда мы находились в твоей стране, а не в моей, ты обхаживала меня, и я из-за бедности, из-за чужой обстановки, из-за того, что я черный, не сразу откликнулся. Я боялся последствий. Ты была напориста. Сердце требовало. Значит, быть тому суждено. Так ты оказалась здесь. Если бы тогда, пятнадцать лет назад, ты согласилась иметь детей, которых я хотел, твой сын сейчас был бы выше тебя, а дочери поддерживали бы тебе компанию.

— Пошел ты к черту, — пробормотала Кэндейс. — Я не была уверена. Ты тоже не был уверен. Мы не хотели взваливать на себя такую ответственность — все и так было достаточно трудно, мы понимали, что может и не выйти то, к чему мы стремились.

— Ты не хотела, — сказал ей Эллелу, — быть матерью африканцев.

— Все не так просто, и ты это знаешь. Ты стал другим, как только мы сюда приехали, я не чувствовала себя уверенно. Половину времени ты проводил с Большой Мамой, а потом всецело занялся королем. Так или иначе, я не всегда пользовалась диафрагмой, но ничего не происходило. Возможно, один из нас стерилен. У твоих других жен — твои дети? Нам следовало поговорить об этом несколько лет назад. Где ты все это время был?

— Выполнял свои обязанности. — Сухость ответа показывала, что Эллелу не считает целесообразным продолжать разговор. Он достаточно наслушался упреков и не хотел распаляться перед уходом.

Чувствуя, что он вот-вот уйдет, Кэндейс прильнула к нему и спросила:

— А если я попытаюсь уехать домой, ты остановишь меня?

— Как твой муж я готов потакать тебе во всем. Однако как отец всех граждан Куша я буду вынужден воспрепятствовать побегу. В такое критическое, скудное время мы должны сохранять наши человеческие ресурсы. Мы поставили патрули на границах, чтобы сдержать кочевников. В каждом караване с земляными орехами, который покидает страну, есть определенное количество шпионов и людей, отвечающих за порядок. Я не хочу, чтобы империалистическая пресса, которая говорит о нашем социалистическом режиме как об омерзительном полицейском государстве, получила злонамеренное подтверждение слухов о плохом управлении в Куше. Твое присутствие, — сказал Эллелу жене, — особенно ценится здесь. Позволь добавить, что брат Опуку, с которым ты не знакома, да я и не пожелал бы тебе познакомиться с ним, в своей патриотической любви к порядку разработал несколько интересных методов доставлять человеку неудобства, не оставляя никаких следов на теле. Я довел это до твоего сведения из нежности и расположения к тебе.

Огонь вспыхнул в глазах белой женщины, по краям губ залегли морщинки от напряжения.

— Ах ты, садист, маленькое говно! Как подумаю, что я хотела дать тебе! Знаешь, что все в колледже говорили мне? Говорили, что я рехнулась, отдаваясь на милость негра.

— И тебе необходимо было подтвердить их правоту, — сказал Эллелу, внезапно взволнованный определенным изгибом ее тела, как у статуй позднего эллинистического периода, когда под покровом одежды чувствуется эротический стержень тела, а у Кэндейс еще и многогранная душа, раздираемая желанием оскорблять и умолять, сожалением, что в своей запредельной ярости она вынуждена тыкать ему в нос, что он черный, хотя именно это делало его таким желанным, а ее такой благородной, когда они оба были звездами выпуска колледжа Маккарти в далеком городе Фрэнчайзе.

— Не следует мне рассказывать тебе это, но знаешь, что говорил мне профессор Крэйвен? Нет, не скажу.

— Скажи, если это тебе поможет.

— Он сказал: «Сегодняшний раб завтра тиран».

— Отлично. Если следовать этому стилю: сегодняшний либерал завтра нетерпимый. Ты могла заполучить профессора Крэйвена, могла стать на время его студенткой-наложницей, но ты предпочла игнорировать его.

— Он был женат.

— Я тоже.

— Я не могла этому поверить. Когда я встретилась здесь с Кадонголими, когда я увидела, что она действительно существует, я чуть не умерла. Как ты мог так *поступить* со мной? Чтобы иметь такую большущую толстую жену. Я думала, ты сочиняешь, описывая ее. Тогда, в Америке, ты был такой трогательный, такой оборвыш.

Эллелу ударил ее: он не любил, когда ему напоминали о том, какой жалкой фигуркой он был в те дни. И чтобы она не сочла пощечину игривой, повторил удар — розовое пятно на щеке расползлось шире его руки и стало краснеть. Она бы увернулась, если бы он не держал ее за плечи. Ее поза напомнила ему тех тонкогубых, сверхъестественно холодных фламандских девственниц, что с бесстрастным видом, отвернув взгляд, стоят у островерхой арки, за которой виден бирюзовый пейзаж с крохотными людьми. Камень печали в нем разросся. «Это ужасно, — подумал он, — я ударил ее не за оскорбление, а за миг наивной откровенности, когда она вспомнила про оборвыша».

И как бы в извинение Эллелу резко произнес:

— Поверь мне. Это для твоей же безопасности: ты моя жена. А для утешения: знай, это пройдет. Я не всю жизнь буду президентом.

Полковник Эллелу наконец выехал из Истиклаля в последний месяц этого неспокойного года. Днем температура на площади мечети Судного Дня Беды была 112 градусов по Фаренгейту и 44 градуса по Цельсию. Диктатор взял с собой, помимо преданных Опуку и Мтесы, свою четвертую жену Шебу.

## IV

Под звездами раскинулась пустыня, безлюдная, как Ливия.

Герман Мелвилл, 1863

Район, именуемый Балак, размером с Францию, если бы Эльзас-Лотарингия была навсегда уступлена Германии и по тому же договору была аннексирована Бельгия. Арабы-торговцы уже в 400 году заметили своеобразие этих голых холмов, что подтвердили в девятнадцатом веке путешественники-европейцы, такие, как Генрих Барт и Густав Найтингаль, а именно: отсутствие цвета. Небо здесь белесое, и в противоположность яркой охре, красным и фиолетовым цветам северо-западного квадрата Куша все здесь уныло-серое — скалы и дюны, плайи и вади, реги, эрги и хамады. Мы уже упоминали о долинах из расплавленного стекла. Низкорослая хилая растительность в результате естественной селекции утратила природный зеленый цвет и выглядит бледнее, чем листья пальм на выцветшей олеографии Святой Земли. Здесь цветут самые унылые цветы мира, здесь белые скорпионы и черные змеи питаются яйцами друг друга. Путешественники порождали скепсис своими сообщениями о том, что даже самые яркие предметы и одежда постепенно теряли свою индивидуальность по мере подъема на массив. Дражайшая Шеба, увешанная золотом и кораллами, медью и яспером, ляпис-лазуритами и хризопразами, с веками, подведенными антимонией, и ногтями, выкрашенными хной, с ее прелестным chocolat-sans-lait[[26]](#footnote-26) телом, закутанным в расшитую серебром ткань, где индиго переплеталось с малиновым и бирюзовым, даже ее ножки в сандалиях цвета попугаевой зелени, которая гармонировала с розовым оттенком брюшка попугая на ногтях ее пальчиков, день за днем покрывалась все более и более глубоким слоем бесцветной пыли.

Ее кожа, блестящая, как уголь, отливала фиолетовым цветом; рук она не поднимала, так что лиловатые ладони не были видны; даже язык, появлявшийся в бархатистом отверстии, которое то и дело приоткрывалось, поскольку она непрерывно жевала орехи кола, перестал быть красным. Ее зубы и белки глаз в этой обстановке сверкали особенно ярко, а края пухлых губ и раздутые ноздри были словно тонко очерчены чернилами. Ее стройная шея, виртуозно выведенные арабески ее угрюмого профиля и идеальная форма ее блестящих ушей — все, казалось, было вырисовано и затушевано художником так, что дополнение красок испортило бы впечатление. Шеба была маленькая — единственная из моих жен меньше меня, и красота ее была безупречна, как светокопия, идеально смонтированная в бабочке, если отбросить цвета радуги.

Через четыреста километров от Аль-Абида дорога превратилась в непроходимую тропу меж пепельно-серых скал. Мы оставили окончательно посеревший «мерседес» на попечение Опуку и Мтесы и под видом изгнанной из своего племени исполнительницы мелодий на анзаде и ее защитника присоединились к каравану, который (как мы поняли) вез из Уагадугу или Ниамея на склад контрабанды на границе с Занджем всякие пугающие товары. Вел караван косматый трусливый тупица из племени кель-улли. Звали его Сиди Мухтар, и в нем обильно сочеталось то, что бесстрашный Барт именовал тремя традиционными арабскими качествами: режела (отвага), сирж (вороватость) и дхиафа (гостеприимство). Мы с Шебой — которая поначалу держалась шаловливо — всякий раз, как нам удавалось, заглядывали в переметные сумы, где обнаруживали различную контрабанду: вызывающий галлюцинации кат, оружие чехословацкого и мексиканского производства, пластмассовые сандалии из Японии, транзисторы, принимающие на низкой волне, на уровне Сингапура и Гонконга, и коробки, коробки с ручками «Бик», карандашами «Венюс» и резинками Эберхарда Фабера. Были там и деревянные ящики, в которых, по мнению Шебы, везли патроны и гранаты, но когда мы отодрали одну из планок, там оказались черные ленты на металлических бобинах, белые флакончики с замазкой и круглые, металлические, похожие на НЛО элементы типа «Ай-би-эм» не только с арабским алфавитом, но и с 276 буквами амкарикского языка и древние каракули гизов. Узнай Сиди Мухтар о наших изысканиях, он притаранил бы нас к муравьиной куче и оставил там сохнуть, как банановую кожуру. Во всяком случае, так он сказал. А вообще караван состоял из благожелательных, одинаково мыслящих индивидуальных торговцев, свободно объединившихся в лучших традициях африканского гуманизма. Единственная строгость была в распределении воды — ее раздавали железной рукой.

Наши дни начинались ночью. Нас будили при свете звезд — звезд! — среди ночи, когда рассыпанные над Балаком созвездия горели как люстры, и мы двигались дальше, позвякивая, вздыхая и всхрапывая, к жемчужной заре, нежно-розовой, как перламутр, и шли до того момента, когда к середине утра верблюды начинали от отчаяния опускаться на землю. Верблюд — обаятельное по своему духовному состоянию существо: он неуклонно идет до тех пор, пока уже не может сделать ни шагу, и тогда — скорее всего — он опускается на землю, моргает, делает еще один вдох через свои огрубелые ноздри и умирает. Предполагалось, что в самое пекло середины дня мы должны спать в наших палатках, но в действительности это оказалось трудно — в веревках, натягивавших палатку, свистел ветер, снаружи непрерывно слышалась какая-то возня (песок шелестел и отбрасывал похожие на людей тени на просвечивающие стены палатки) и хотелось пить, а воду выдавали только в сумерках. Бурдюки с водой — зимзимайя — разносил дурно пахнущий прихвостень Сиди Мухтара: он определял, сколько ты выпил, по движениям адамова яблока и вырывал кожаный мешок из рук Шебы, не упуская случая дотронуться до ее пышной груди.

Мы с Шебой пытались заполнить эти отупляющие, бессонные часы любовными играми, но песок вмешивался и обдирал наши половые органы. Песок тут странный — черный с белым, как соль с перцем, и порой казалось, что перед тобой огромная страница мельчайшей печати, которую невозможно прочесть. Шеба ложилась, уткнувшись головой мне в живот, и тихонько меня сосала или же играла на анзаде и пела, тогда как я отбивал ритм на впадине моего живота:

Ласкай меня, детка,

Ласкай, если можешь.

И если не дадут мне глотка воды,

Я пососу мужика.

Солнце било прямо в квадраты верблюжьей кожи над нами с такой силой, что кожа становилась тонкой, как промасленная бумага, окружающая свечу, и мы в своих борениях старались попасть в тень тел друг друга. А я начинал думать о ручьях и тенистых садах, которые описывал старый измотанный Мухаммед в критическую пору середины жизни, когда он пытался отвлечь упрямых жителей Мекки от их каменных идолов и богинь, а еще чаще — о содовом фонтанчике в магазине мелочей в Фрэнчайзе, который — если я правильно помню — назывался «Оазисом фармацевтики и всякой всячины», где я впервые встретил Кэндейс среди пугающего изобилия новшеств в ярких обертках, возле стойки с вредоносными солнечными очками. И пока милая головка Шебы с блестящими волосами, которые она каждые два дня затейливо заплетала, лежала, прилипнув, на моем животе, а ее серый, как пепел, распухший от жажды язык преданно играл с моим несмышленым членом, мысли мои текли по лимонадным и лаймовым рекам, наполнявшим, шипя, хромированные решетки под кранами, из которых на кубики льда вытекала кока-кола, «Севен-ап», более светлый, чем сама вода, и этот таинственный темный соперник царственной кока-колы, смуглый загадочный пепси, к которому я испытывал сочувствие. Молочные коктейли в те дни изобилия готовили не скупясь — парень за стойкой с постыдным прозвищем Содовая Тупица подавал их в разных бокалах: одни были из мутного толстого стекла, а другие из холодного футуристического металла — в них взбивали пенистое чудо. Этих Содовых Тупиц набирали, как я понял, из «городских» мальчишек, иными словами, из постоянных жителей Фрэнчайза, главным образом сбежавших с ферм, они все до последнего были белые и неиноверцы — в противоположность нам, тайно завезенным в академических мантиях в этот край в качестве студентов колледжа Маккарти, чьи кирпичные бельведеры и лохматые кроны деревьев торчали над плоскими крышами «городского» делового квартала, точно верхние ступени пирамидальной башни, куда смеют заходить лишь боги да жрецы, ублажающие мертвых королей. Я вышел, моргая, из «Оазиса фармацевтики и всякой всячины», и перед моим мысленным взором — между мной и заросшим плющом углом студенческого городка напротив — возникла вся ширина Торговой улицы с висевшим посредине светофором и потоком роскошных автомобилей. Все в Америке в середине пятидесятых казалось этому пришельцу жирным, чрезмерным, раздутым — от крыльев автомобилей до черепа президента. Фрэнчайз был городом среднего размера с 35 000 населения. Его главная улица была прямой как стрела, с вышедшими из употребления трамвайными путями посредине. Его немногочисленные фабрики занимались главным образом производством бумаги и были упрятаны подальше от глаз, у озера, ветерок над которым они окрашивали химическими отходами от процесса дефибрирования. Озеру оставили — с той романтической douceur[[27]](#footnote-27), которой американцы прикрывают свое захватничество, — индейское название Тиммебаго, хотя те, кто дал ему это имя, давно изгнаны с его берегов пулями, «огненной водой» и оспой.

Летом, которое затрагивает даже октябрь, торговцы Фрэнчайза опускают навесы над своими лавками, и на широкий, слепящий от яркого света тротуар ложится почти сплошная зубчатая полоса тени, слившаяся сейчас с удушливой тенью в палатке, где я лежал, утолив жажду воспоминаниями, а в них я нерешительно, со страхом дважды посмотрел в обоих направлениях и, перейдя опасную улицу, скрылся в густой зелени колледжа. Под величавыми аркадами вязов и более горизонтальных ветвей дубов и темно-пунцовых лесных буков казалось, что ты находишься под водой, а мы, студенты, словно вытянутые преломлением света, как бы молча плаваем в ней. В этом свете аквариума учебные здания выглядели гипсовыми храмами, спущенными на землю в качестве украшений с прочными стенами и нарисованными окнами; особенно поддельным выглядело здание гуманитарных наук. Затем колесо погоды в Северной Америке поворачивалось и наступали перемены: вязы становились золотыми, листья опадали, впуская небо, и их жгли большими кучами, за которыми следила команда дворников из седеющих «городских», пожиравших глазами наших девочек. Осенний аромат этого дыма одолевал едкие выбросы бумажных фабрик и напоминал молодому Феликсу, как женщины его деревни расчищают заросли, чтобы посеять маниоку и маис. Они с песнями подрезают и выкорчевывают поросль, дружно нагибаясь до земли под африканским небом, безмерность которого слегка сродни безмерности неба над фермерскими хозяйствами и домами преподавателей на главной улице в викторианско-готическом стиле, с изгородями и лужайками перед ними. Над серебристыми силосными башнями и рядами початков кукурузы, над лугами, усеянными тучными коровами, платиновые облака наползают друг на друга в победоносном, насыщенном влагой изобилии. В Африке облака бегут как стада диких зверей, растянувшись серой вереницей, вечно спеша куда-то, над этой везде бедной саванной. Затем карусель времен года снова повернулась, и в воздухе появился огонь, а все листья облетели — все стало черным и белым, черные ветки на белесом небе, черные люди на белой земле, и Кэнди ждала, ждала своего Счастливчика у темного, как вход в пещеру, входа в Ливингстон-Холл в красном, словно рождественская лента, вязаном шарфе, подчеркивавшем снежную белизну ее волос. Шарф этот связала ее мать вместе с такими же красными варежками, которыми Кэнди держала свои тетради землистого цвета и большой учебник по экономике в скользкой голубой обложке, прижав их к груди, будто согревая. Повсюду был снег, превращавший действительность в мираж, приподнимавший все в глазах Счастливчика, от чего автомобили пели, крутя цепи, а подоконники опускались до уровня земли. Это был действительно другой мир, породивший другую расу людей, которые весело перекликались в этой призрачной стихии, сквозь эту звездную кашу. И пригоршня этих крошечных льдистых перышек обожгла сейчас его лицо, растаяла на губах и раскрыла его горло, так что он смог произнести Шебе слова любви. Обменявшись с ним поцелуем, Кэнди спешила втащить его в пещеру, где радиаторы беспечно исторгали в воздух тепло, противостоя холоду, входившему с ними в двойные двери, а застланный линолеумом пол был грязным от принесенного ногами тающего снега и попавших сюда продуктов бумажного производства — спичек, оберток от жевательной резинки, маленьких красных ленточек, которые снимают с пачки сигарет, чтобы ее открыть, и пестрого мусора.

Должно быть, я задремал. Когда я очнулся, голова Шебы тяжелым грузом лежала на моем усыпанном песком животе, а мне привиделось, что на коленях у меня лежит учебник по экономике, раскрытый на суровом лице Адама Смита или на диаграмме снижения покупательной способности гульдена после 1450 года. Через несколько минут лекция окончится, и я смогу выпить дневную кружку пива в кафе «Бэджер». В кварталах, окружающих студенческий городок, были закусочные, кафе-мороженое и бары; мы собирались там, в этих островках тепла среди океана холода, — Кэнди, я и ее друзья, — и беседовали. Среди ее друзей было немало американских негров, которых тогда начали называть афроамериканцами, — Кэнди принадлежала к тем белым женщинам, которые не могли оставить без внимания черных мужчин. На этих женщинах не лежит отпечатка Каина или Хама, — просто хромосома авантюризма сексуально влечет их к черному телу. В детстве Кэнди ее родители держали цветных поварих и горничных, и девочка чувствовала себя в большей безопасности, более обласканной возле этих грузных, читающих наставления мамушек с руками в муке, чем в вылизанных до смешного комнатах за пределами кухни. Было это в Чикаго, а приблизительно в ту пору, которую в Африке называют первым пачканьем женщины, отец Кэнди перевел свое страховое агентство в Ошкош. Чикагское изобилие черных сократилось до горстки рабочих бумажных фабрик далеко от центра, бывших рабов, не добежавших до Канады. А в белом Фрэнчайзе черные лица могли принадлежать только студентам колледжа Маккарти — это были развязный, с кожей кофейного цвета Малыш Барри из Каламазу; обращенный в мусульманство, очень черный Оскар Икс с южной стороны Чикаго; тихий, цвета корицы с имбирем Репа Шварц из местечка вверх по реке от восточной части Сент-Луиса. В наш никак не оформленный кружок входили еще Мед Джабвала с острой бороденкой и вибрирующим женским голосом и близорукая, хорошенькая Уэнди Миямото из Сан-Франциско, получавшая самые высокие оценки на всех экзаменах и редко произносившая хоть слово. В колледже был даже индеец из Дакоты по имени Чарли Хромой Бычок, который ходил в подбитых мехом наушниках и участвовал в бросках в соревнованиях по легкой атлетике; он иногда садился за наш стол, но не любил нас. Он вообще никого не любил, шагая по заснеженным диагоналям наших троп с застывшей гримасой на лице — рот словно горестный рубец от удара ножом, глаза маленькие, как смородины. Эти не вполне американцы крайне интересовали меня. Но в обстановке безумно раздражающего хлопанья створок палатки на глупом ветру, доносящегося шарканья стоиков-верблюдов и громких препирательств отчаянно скучающих проводников мои обрывки воспоминаний об этом экзотическом Висконсине казались частью фильмов пятидесятых годов с их тщательно составленным срезом общества, который должен показывать, каким тиглем является Америка, как плодотворна прерия американской добродетели, взращивающая высокую мораль. Праздник по поводу урожая, полученного с этой прерии, отмечался в колледже каждый год в ноябре, когда в День благодарения устраивали игру в футбол против наших архипротивников пьюзеистов-баптистов из университетского поселка, расположенного еще севернее и населенного девственницами и задирами; за четыре года моего пребывания в студентах они четыре раза потерпели поражение: в 1954 году благодаря тому, что был перехвачен пас, в 1955-м — благодаря штрафному удару, в 1956-м — благодаря героической, аритмичной, петляющей, невероятной пробежке парня с соломенными волосами, мгновенно ставшего легендой и на будущий год беззвучно отошедшего в мир иной от лейкемии, и в 1957-м — самым волнующим образом для нас, не гринго[[28]](#footnote-28), благодаря голу, забитому сбоку, в манере сокера, с сорока трех ярдов дегенеративным сыном перуанского генерала, поступившим в эту команду ради возможности гомосексуальных контактов. Сколько воспоминаний! Сколько образовалось в мозгу навсегда закрытых мест! Траханье! Бочонки с пивом! Дружный рев в бетонной чаше, названной стадионом Келлога по имени корпорации-спонсора и непочтительно прозванной Десертной Тарелкой. И вид из верхних рядов сквозь пар от дыхания десятков тысяч этих американских мажореток — ряд с буквой «М» («Дай мне „М“!» — молят они), голые, как зулуски, они призывают победу («Дай мне „А“!») с горящими щеками и, тряхнув грудями, падают на одно колено и выбрасывают вперед руку. Ра-а!

Я облизнул губы, вспоминая пиво, которое мы пили потом в студенческих землячествах, куда приглашали пьюзеистов-баптистов потопить свое ежегодное горе, и как от ковров несло запахом гниющего хмеля, и как чокнутая студентка, лишившаяся предрассудков без помощи философии освобождения от предрассудков, покладисто отдавалась в жалкой комнате наверху, задрав юбку и сбросив трусики, целой очереди пьяных мускулистых извергателей семени. Шеба передвинула голову, и кожа там, где слиплись наши тела, натянувшись, казалось, вот-вот лопнет. Она положила голову возле моего плеча, рот ее был открыт, и серый язык принялся слизывать пот с моей кожи.

Был ли я счастлив? Меня называли Счастливчиком, но, по правде говоря, учиться было тяжело. У меня была стипендия от некоего темного фонда отмытых и вновь вошедших в оборот правительственных денег, и я вынужден был поддерживать на высоком уровне отметки, а кроме того, работать официантом и поваром горячих блюд в различных заведениях вблизи студенческого городка, включая забегаловку «Хоуард Джонсон» с ее фальшивым минаретом на выезде из Фрэнчайза. Я не работал ни в одном из тех мест, где собирались мои друзья. Мне не хотелось ставить их в неловкое положение тем, что я их обслуживаю. И не хотелось, чтобы они слышали, как местные официантки и тупицы с кухни, окликая, называют меня — не без дружелюбия — Жирком, Негритосом и Блинчиком.

На чем я остановился? В «Закусочной вне кампуса» было дымно от сигарет и теплого воздуха, исходящего от беседующих людей, слышалось постукиванье пинбола и гнусавое пение Пэтти Пейдж; в «Мороженом из чистых молочных продуктов» стояли стулья из крученой проволоки и круглые столики с мраморными крышками, чья ореховая, с прослойкой черники, поверхность успешно скрывала вывалившееся липкое и сладкое мороженое и пролитую пенистую содовую воду; в кафе «Бэджер» пол был усыпан опилками и зал разделен на кабинки с высокими стенками из темной фанеры.

И там мы изводили Оскара Икса по поводу его удивительной веры.

— Ты хочешь сказать, — приставал к нему Репа Шварц со своим южным акцентом и манерой растягивать слова, так подходившей для передачи недоверия, — что этот мистер Якуб *действительно* уговорил *точно* пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять черных отправиться на этот остров Патмос, чтобы вывести некую отвратительную породу белых дьяволов, которых ни один из них при жизни не увидел бы, да и ни один из них не хотел бы таким быть?

Оскар Икс обычно ходил в коричневых костюмах и в белой рубашке с галстуком и говорил с заученной четкостью, после каждой фразы оскаливая зубы.

— Произошло это не сразу. Согласно Пророку, мистеру Фарраду Мухаммеду потребовалось двести лет, чтобы отрегулировать гены и из черной расы создать коричневую, еще двести лет, чтобы создать краснокожих, еще двести лет, чтобы создать желтую расу, — легкий кивок в сторону Уэнди, молча сидевшей напротив, — и наконец после столетий перейти к созданию венчающего этот процесс поколения и величайшего оскорбления Аллаха — к появлению светловолосых голубоглазых волосатых дьяволов, которые голышом бегали на четвереньках и жили на деревьях, как говорят нам все учебники.

— Дружище, — сказал Оскару Иксу Малыш Барри, — это патетическое дерьмо, которым в этой стране обычный ниггер набивает себе мозги. Нельзя создать расу за два поколения, на это требуется миллион лет, и в учебниках на сей счет говорится, что черный человек — не самый старый экземпляр на земле, он самый новый образец гомо сапиенса, последняя улучшенная модель. Твой Мухаммед Врун читал, видно, антропологию в «Ридерс дайджест», да маманя песочила его Библией, так что эта информация плюс собственные беды — вот и все, чем он обладал.

Эсмеральда Миллер была единственной черной женщиной в колледже Маккарти. Отец ее был дантистом в маленьком городке на севере штата Нью-Йорк, и она не скрывала, что является марксисткой, в такую пору, когда это было смертельно. Плоскогрудая и пепельно-серая, она говорила ровным бесцветным голосом, безразличным и без модуляций, давая понять, что ей надоело спорить и что только она обладает истиной.

— Вы оба рассматриваете человека отчужденно, отчужденно от себе подобных, а говорить об этом нельзя, если не говоришь о самоизоляции, вызванной принудительным трудом. Эти расовые категории архаичны, они не имеют никакого отношения к классовой борьбе: черная буржуазия там, где она существует, является таким же угнетателем и в конечном счете столь же неизбежно самоистребится, как и белая, а теперь мы должны к этому добавить и желтую. Посмотрите на Либерию.

В разговор внезапно вмешалась Уэнди:

— Однако разве Ленин не указывал, что западный капитализм предопределил свою гибель эксплуатацией природных ресурсов и дешевой рабочей силы не белых народов посредством колониального империализма?

— Белый человек — это дьявол! — вскричал Оскар Икс. — Специально созданный синтетический дьявол, столь омерзительный, что черный человек должен прогнать его по Аравийской пустыне и засадить в эти холодные темные европейские пещеры ледникового периода, чтобы он не мог уничтожить мир своими дьявольскими ухищрениями, и это доказанная историческая правда, потому что именно оттуда белый человек пришел. Он наполнял эти пещеры обгрызенными костями, в то время как черный человек на юге возводил пирамиды с такой же легкостью, как пекут пироги. Таковы *факты*.

Дверь в кафе открылась, впустив холодный воздух и Кэнди.

— Явились розовые пальчики, — буркнул Малыш Барри.

А Кэнди взяла стул и примостилась на уголке стола, за которым было уже полно народа. Шепоток приветствий стих и наступило молчание, которое прервал, прочистив голос, Хаким Феликс аль-Бини.

— Мне кажется, — сказал он, продолжая разговор, — что о правдивости мифа должно судить, рассматривая его не по кусочкам, а по созданному им gestalt[[29]](#footnote-29). Этот мистер Якуб с его большой головой и схожестью с Франкенштейном выходит за рамки достоверности, но это же можно сказать и о Гитлере, о Жанне д'Арк и об Иисусе. Они существовали. Многое существует, и наши сны говорят нам, что существует еще больше вещей, возможно, и где-то в других местах. Главное в мифе — вера в него и то, соответствует ли он фактам, произошедшим в прошлом. Позволяет ли он нам жить, продолжать существование? Якуб на этот счет выступает непререкаемо, но если оглянуться вокруг, белый человек и в самом деле, как говорит Оскар, дьявол.

Кэнди залилась краской до ворота свитера.

— Мне бы следовало обидеться, — сказала она, — да только все вы такие милые.

— Мы вовсе не милые, — сказал Малыш Барри. — Мы обезьяны-насильники.

— Белые люди вовсе не хотят быть дьяволами.

— Ни один дьявол не хочет быть таким, — сказал ей Хаким Феликс. — Но это ваша трагедия, а не наша. — Ему стало жаль ее. — Я думал при этом не столько о прелестных американских девушках, сколько о французских офицерах, которые командовали мной. Они ходят в отутюженной темной форме и с коробками на голове, кричат на солдат-африканцев и бьют их как одержимые. Даже двигаются они злобно, словно их дергают, точно это мертвецы, в которых вселился дьявол. Мы таких называем «зомби». — Он был раздосадован тем, что она отвлекла его от беседы, оказавшись в сложной ситуации, когда белая женщина вынуждена общаться с черными, — отвлекла от настоятельной необходимости высказать ту истину, которая уже сформулировалась в его мозгу.

Малыш Барри снова повернулся к Оскару Иксу.

— Американские негры так долго вкручивали всякую ерунду Старику-Хозяину, что он никак не может остановиться и вкручивает ее себе. Пока он не оторвет от земли свою блестящую жопу и не включится в игру, он может так и просидеть на корточках у основания кучи. А игра в том, чтобы хватать. За этим мы и приехали в школу — чтоб научиться хватать. Есть лишь один путь добраться до верху — пролезть. Мы с сестрой Эсмеральдой из Коммунистической евангелистской ассоциации сошлись по крайней мере в одном: забудь, что твоя кожа цветная. Твой доллар такой же зеленый, как и у остальных.

Репа Шварц сказал:

— Уилли Мэйз послал мяч через забор — это дало ему четыре очка.

— Совсем рехнулись, алчные вы головы, — заметил Оскар Икс. — Без Исламского братства или другой подобной организации черный человек в любом северном городе меньше чем ничто. Его там просто нет, на его месте *дыра*. Когда нашего брата из Второго храма забирают эти дьяволы-полицейские, мы отправляемся в участок в хороших костюмах, и тогда к нам относятся внимательно. Нас не избивают. Эти дьяволы откладывают в сторону свои дубинки и улыбаются, потому что видят *силу*.

— Можно иметь силу и без веры в предрассудки, — сказала Эсмеральда.

— *Нет*, — сказал будущий Эллелу. Слово «костюмы» напомнило ему о том, что он хотел сказать. — Нужна целая гора мифов, чтобы что-то изменилось. Нужен мистер Якуб и остров Патмос, чтобы человек из гетто надел костюм. Оскар, ты говоришь, что Аллах появился в Детройте в тридцатом году в обличье торговца макинтошами по имени У. Д. Фард и исчез в тридцать четвертом; христиане говорят, что Он появился в Иерусалиме в тридцатом году и затем исчез в тридцать третьем. К чему привели эти невероятные слухи? Рабы на частицу дюйма приподняли голову. Достаточно ли такого результата? Да. Ничто меньшее вообще не даст никакого результата. Диктатура пролетариата, божественность того или иного странника... ключевой вопрос не в том, можете ли вы это доказать. Но дает ли это нам возможность управлять реальностью, которая иначе задавит нас?

Голос его звучал напряженно, проникновенно. Эллелу видел по лицам сидевших в кабинке, что его ораторское выступление не абсурдно или не только абсурдно. Конечно, он имел в виду не мелкие заботы этих американцев, даже беднейшие из которых по африканским меркам являются богачами, — в его мозгу шевелилась смутная идея, связанная с далеким Кушем. Кэнди положила бледную руку на его руку и похлопала в утешение, что такое будущее никогда не осуществится, или возвращая его в действительность этого момента, этих чужеземных акцентов, этих обильных возлияний, этого уютного бара, этого «сезона быка».

За палаткой раздались выстрелы — хлопки, затем вой, и пригоршни песка полетели во все стороны. Купленные на распродаже старые «М-16», которыми были вооружены охранники каравана, не заставили себя ждать с ответом и застрекотали сквозь стоны и топот ног. Мимо бежали люди. По стенам палатки замелькали тени. Молчаливая комедия людей, сражающихся за жизнь. Эллелу, подмяв под себя Шебу, скатился вместе с ней с подстилки на песок в углу, куда убийца едва ли станет стрелять. Его мозг, задействованный критической ситуацией, стал строить логические предположения — нервы работали с быстротою молнии. Словно под микроскопом, он отчетливо увидел блестящий слой пота и песка на шее Шебы, заметил, что ожерелье из прекрасных камней ляпис-лазурита порвалось от его резкого броска на ее защиту. Он прикинул, выяснена ли его личность, решил, что это возможно 50 на 50 (Мтеса, рассказавший Эзане о таинственном грузовике, оказался двурушником) и что оставаться в палатке, в своей непрозрачной пулепробиваемой призме анонимности, безопаснее, чем выскочить туда, где гуляет ветер и песок, в крики, в бесцветие. В промежутки между залпами он развлекался, отыскивая среди гранул песка крошечные бусинки ляпис-лазурита, которые растеряла Шеба и которые было бы легче найти, сохрани они свою блестящую синеву. Внутренним ухом он отделял дружеские выстрелы от выстрелов налетчиков и по слуху определил, что цепь последних не приближалась, а, наоборот, отступала в пустыню сообразно истине, что в наших человеческих делах ничто не имеет значения — велик Аллах. Такбир!

Эта истина озарила Эллелу во всем своем величии не в деревне анимистов, а далеко от дома, когда студенты национальных меньшинств в колледже Маккарти в веселой дымной пьяной атмосфере молодого эгоизма и сексуальной возбужденности выхватывали личное оружие, чтобы сдержать напор окружающего их крикливого мира белого человека. С помощью Оскара Икса молодой Хаким вновь открыл для себя ислам и вместе с черным американцем ездил в главный храм — Второй храм Элиа Мухаммеда в Чикаго и в ближайший, не столь величественный Третий храм в Милуоки. Среди этих братьев в строгих костюмах и сдержанных, скромно одетых сестер в тюрбанах к будущему Эллелу, радушно принятому и тем не менее удерживаемому на расстоянии как африканец, вернулась память о достоинстве обитателей пустынных просторов его континента, о бескрайних небесах и саваннах, о его коричневых людях.

Последующее обсуждение событий в растревоженном караване не привело к выяснению цели налета. Ничто не было взято, ни одна переметная сума. Несколько пустых бутылок с надписью «Московская особая водка», брошенных кричавшими и стрелявшими наездниками верблюдов, закутанными в тагильмусты, давали ключ к разгадке.

— Это были, — доверительно сказал президент Шебе, — либо туареги, опьяненные взятками от ЦРУ, либо переодетые цээрушники, вознамерившиеся показаться русскими, либо русские, которые своими неуклюжими нахальными попытками оставить такие очевидные следы хотели намекнуть, что это были цээрушники.

У Сиди Мухтара было другое мнение.

— А ты знаешь, — сказал он, — что в Балаке все еще существуют налетчики-работорговцы?

— Это умерло вместе с Типпу Тибом, — презрительно фыркнул Эллелу.

— Не совсем, — сказал водитель каравана, и обветренное лицо мерзавца пошло морщинками от некой скрытой причины для юмора. — Теперь это происходит с большим отбором. Рынок делает ставку не на количество, а на качество.

— Но за кем же они охотятся? — спросил Эллелу, делая вид, будто не понимает, что он сам, президент, является главной добычей в караване.

Сиди Мухтар подмигнул, указывая на закамуфлированную палатку диктатора.

— Красивая женщина, — просто сказал он.

Тени, ангелы, опасности, грузовики на дороге, радиоволны в воздухе, окружающем нас. Происшествие неощутимо промелькнуло — вот так же в Висконсине ночью среди снегов, не белее бедер и боков Кэнди, поблескивавших среди эротически перекрученных простыней, вдруг раздавался вой сирены, она блеяла и била по кирпичам, по плющу, по подоконникам, шпилям и силосным башням Фрэнчайза. На последнем курсе Кэнди получила разрешение снять комнату вне городка вместе с другой девушкой, которая по своим эротическим соображениям большую часть времени проводила в Грин-Бей. Эта комната над конторой агента по недвижимости была до вторжения синего цвета белая с черным. Черный любовник приподнимался на локте, а белая возлюбленная поднимала голову, чтобы вернуть его к тому, чем они занимались, к их близости, не имевшей никакого отношения к беспорядкам, частица которых пронеслась мимо, а другие частицы — пульсирующие красные огни пожарных машин или машин «скорой помощи» — через минуту последуют. В эту минуту рамки офортов, зеркала, рисунок на обоях — все стало серым, серым на сером, самыми ярко-серыми были рамы окон, отделявших их от внешнего мира, чьи смертоносные конвульсии проносились мимо, словно гигантские крылья снежной бури. Их любовное борение, смешение их влаги, их дыхание — все приостановилось, пока мимо проезжали сирены. Не за ним ли едет полиция? Он знал, что в некоторых из этих штатов слияние кож разного цвета считается преступлением. Ему могут накинуть веревку на шею за то, что его член вошел в ее влагалище. Да и черные мусульмане не поощряют соитие с неправоверной, а тем более с голубоглазой дьяволицей. В годы пребывания здесь ему доставляло удовольствие жить на грани конфликта, когда Оскар Икс вез его по тучной земле белого человека в побитом, но вполне дееспособном и мощном «Олдсмобиле-49» и радио передавало песни в исполнении Дины Вашингтон и Кея Старра, тогда как ехали они в исламский храм в трущобах одной из столиц Среднего Запада, где их могли бы остановить и обыскать хмурые ирландцы-полицейские или приставить им к горлу нож неверующие молодые хулиганы такого же, как они, цвета кожи. Всюду подстерегают опасности, пролетающие, проскальзывающие мимо.

Несмотря на полумрак, Феликс заметил тогда на простыне пятно крови. Она в самом деле была сегодня какой-то другой, хотя и влажной, как всегда, но ее влага была почему-то режущей, точно покрытой пупырышками. Нечистой. Он невольно состроил гримасу, и она сказала:

— Благодари бога. До сегодняшнего утра я боялась, что забеременела.

— Ого, — пробормотал он, следуя американской привычке.

Ей хотелось своим признанием выжать из него больше, услышать похвалу за пережитый страх.

— И это все, что ты можешь сказать? Ты знаешь, премерзкая штука быть женщиной. От своего тела не убежать. И самое скверное...

— Что же самое скверное, милая Кэнди?

— Не важно.

— Самое скверное, что ты не хотела носить черного ребенка?

— Нет, я бы этого даже хотела.

— Тогда что же самое скверное?

— Я тебе не скажу. — Она вылезла из постели за сигаретой. В комнате, где, словно куб дыма, стояла темнота, ее тело, когда она шла к бюро, белело, гибкое, стройное. Она чиркнула спичкой. И голос ее прозвучал из центра красного зарева. — Я не была уверена, кто отец.

Сирена полицейской машины уже дальше проблеяла в белой ночи. Насколько он помнил, у него ушло не так уж много минут препирательств на то, чтобы выудить из нее признание, что другим отцом мог быть Крейвен.

Шеба слишком нанюхалась наркотиков и не испугалась во время налета. Когда хлопки и воющий звук выстрелов прекратились, а на мутных стенах палатки перестали появляться тени налетчиков, она укусила меня в плечо, давая понять, что я могу больше не защищать ее и не прикрывать своим телом. Она вытряхнула песок из своей сложной прически в виде тоненьких косичек, образующих параболы, и, чтобы прийти в себя для ночного перехода, разгрызла орешек колы. Она жевала медленно, с наслаждением, окрашивая рот в темно-серый цвет. Вместе с запасом либерийских орешков колы у нее был шмат эфиопского ката и немного иранского банга. Ее кроткий дух редко опускался на землю.

Одежда свободно висела на ней, она сидела на корточках, и мне меж округлых раздвинутых ляжек видны были ее идеально обрисованные два бугра и расщелина, едва замаскированная тысячью безупречных завитков. Заметив, как я ее разглядываю, Шеба рассмеялась и, не переставая жевать колу, помочилась на песок пустыни. Обезумев от жажды, от любви, я сложил ладони и нагнулся, чтобы собрать хоть немного жидкости, хотя и знал из рассказов других путешественников, что моча такая же едкая, как лимонный сок. Она целый час жгла мне рот. Я вышел из палатки поговорить про налет. Сиди Мухтар показал мне водочные бутылки, подняв их к солнцу, — блики от них сверкнули как лазерные лучи. Я вернулся в палатку, где милая Шеба пела под меланхоличный скрип своего анзада:

Ублажи меня, бэби,

ублажи, ублажи.

Вынь хладный нож из ножен,

вонзи в меня снизу,

сзади и спереди,

вонзи в горло,

так долго мы едем,

так долго.

Я спел в ответ, отстукивая ритм по моему седлу для верблюдов, об апельсинах — на этот раз апельсин был съежившийся и так кишел насекомыми, что гудел как круглый радиоприемник, пока насекомые не съели всю сердцевину, и тогда кожура, хрупкая и вся в пятнах, рассыпалась, словно глиняный сосуд для мирры из древнего Меро. Наши спутники, устав поносить налетчиков и клянясь жестоко отомстить, собрались у входа в палатку и стали бросать нам пригоршнями устаревшие монеты, раковины каури и крошечные зеркальца, а также додевальвационные лю с изготовленным в Швейцарии профилем короля Эдуму, — голова его на этих монетах была столь же бестелесной, как и в действительности. Погонщики, носильщики, охранники, проводники, кузнецы, кожевенники, переводчики, счетоводы и контролеры качества — все, бурча, жаждали Шебу, а она, стягивая пальцами две, а то и три струны на шейке анзада, умудрялась одновременно выставлять голую ногу и щиколотку с браслетом. Эти люди с худыми лицами, обтянутыми спаленной солнцем кожей, и с гнилыми зубами, видневшимися в складках их галлябие и куффие, так близко окружили нас, что я, почувствовав вызов, толкнул одного из них. Он упал точно палка, неглубоко воткнутая в песок, и потерял сознание — до того мы все ослабели от тяжелого перехода по Балакам. Тут наконец появился бурдюк с водой, райские ручьи потекли по горлу, обвисшие груди моей жены похотливо подтолкнули меня, мы прочитали молитву на закате солнца, оседлали верблюдов, машинально, быстро упаковали пригоршню наших вещей во вместительные корджи, быстро связали скатанные палатки. Верблюды восприняли притаранивание нашего груза, вытянув губы и похлопав своими диснеевскими ресницами. Сиди Мухтар приветствовал нас издали. На небе показался серебряный месяц. Ночь начала свой путь.

Все эти детали нелегко восстанавливать в памяти там, где я пишу — при отвлекающем внимание потоке транспорта, этих ombrelles[[30]](#footnote-30) и прогуливающихся протеже, этих высоких стаканов с оранжевой фантой и сельтерской водой, сдобренной anisette[[31]](#footnote-31). Но в той половине моего мозга, которая ловит звуки, сохранился позвякивающий ритм наших дней, череда запрограммированных небольших встрясок, перепаковка, увязка и оклики, проходящие по веренице, чтобы проверить нашу готовность двинуться в путь, зная, что верная смерть ждет того, кто выпадет из оратории, созданной фырканьем покачивающихся верблюдов и увещеваниями погонщиков.

Но какие в пустыне звезды! Какая фантастическая красота! Трепещущие шары, в полнейшем молчании наблюдающие наше продвижение. Не просто люстры, а люстры из люстр. Ум аль-Нужюм — Мать Звезд — словно главная вена, светящийся шов, пролегала по небу, черному, как бархат, на котором ювелир раскладывает драгоценности, и всюду терпеливому, изумленному взору открывались еще и еще звезды, так что даже самый маленький промежуток между двумя светилами дробился и снова дробился появлением новых точек, приводя изумленного наблюдателя к выводу, что Туманность Андромеды — это огромный овал, в котором можно сосчитать отдельные солнца. Под такой филигранью проходила призрачная вереница наших силуэтов под нежный звон верблюжьих колокольчиков по окутанным ночью холмам и кратерам, устало перемещая неперемещаемый песок. Вокруг нас видениями возникали полосы лавы, пробившиеся сквозь кристаллическую породу, лежащую там, где она упала, целую вечность. Обилие песчаника указывало на то, что в эпоху палеозоя здесь был океан; глубокие сухие каньоны доказывали, что некогда, в призрачные влажные времена, массив омывали реки. Миновав уступчатые проходы в скалах, блестящих, будто они мокрые, ты оказывался перед захватывающим дух видом — перед тобой лежали огромные серые пустые чаши, простиравшиеся вплоть до следующей освещенной звездами зубчатой гряды. Какое имело значение это лишенное человека великолепие? «Но когда земля превратится в тонкую пыль, и твой Владыка сойдет в сопровождении ангелов, и Ад приблизится, — в этот день человек припомнит свои деяния». Моя жизнь при таком лунном освещении стала сгустком страха, бесконечно маленькой точкой, однако бездонно пустой, стремительным вторжением некой инородной и нежелательной субстанции в эти скалы, в эти фантастические вспышки огня, в этот предательский песок. Я бы не вынес одиночества, монотонности, бесконечного идиотизма этой голой земли, не будь рядом со мной Шебы, мрачной и теплой. Я любил в ней то, что чувствовали другие, жестокие невежды пустыни, — ее отрешенность. У другой женщины есть нутро, есть насыщенное политическими соображениями пространство, которое высылает своих эмиссаров торговаться по поводу ее тела и чести, а у Шебы нутро не требовало ухода, ему нравилась музыкальность кочевников и их торговля наркотиками. Такая женщина — сирота Аллаха, священный сосуд. Шеба никогда не задавалась вопросами, никогда не размышляла. Я сказал ей:

— Звезды. Разве они не внушают страх?

— Нет. Почему?

— Они в такой беспредельности, так далеко. И каждая из них — солнце, такое далекое, что его свет, хоть он и движется быстрее, чем самый быстрый джинн, лишь через годы достигает наших глаз.

— Даже если это вранье было бы правдой, на нас-то как это влияет?

— Это значит, что мы в системе вещей меньше пылинок.

Она пожала плечами.

— Ну и что тут можно сделать?

— Ничего, — только молиться, чтобы так не было.

— Значит, вот почему ты молишься.

— Я молюсь об этом и о том, чтобы вернуть уверенность народу Куша.

— Но ты не веришь, что из этого что-то выйдет?

— Для мусульманина неверие — это как третий глаз. Невозможно.

Мы ехали молча, покачиваясь. Наша усталость была как башня, к которой каждая ночь добавляет этаж. Я сказал:

— А ты знаешь, что вокруг нас все подчиняется законам? Существуют законы энергии и света, законы, по которым эти скалы очутились здесь и которые определили их форму и их наклон. В свое время здесь был океан, и он оставил песок; в свое время трупики существ, которых было больше, чем звезд над нами, сложили здесь свои скелеты, из которых образовались острова, большие отмели, вулканы взметнули их ввысь, а потом ветер и вода, пролившаяся дождем с неба, омывшая их и исчезнувшая, снова их примяли. Было время, когда все здесь было зеленое и люди охотились на слонов и антилоп и рисовали картинки на скалах, изображая себя.

— Покажи мне такую картинку.

— Их трудно найти. Я видел их в книгах.

— Многое можно напридумывать и напечатать в книгах. Я хочу увидеть картинку на скале.

— Будем надеяться, что я сумею показать тебе такую. Но я хочу сказать больше: было время, когда люди охотились тут и даже ловили рыбу. Возможно, так случится снова, и мы будем забыты — все забыты — и будем значить меньше, чем верблюды, из чьей кожи мы делаем палатки. Прошлое и будущее необозримы, они часть законов, о которых я говорю, — законов таких точных, что ты и представить себе не можешь, они как эти скалы, которые, когда раскалываешь, отходят плоскими пластинами. Все подчиняется этим законам. Все растет по этим законам и умирает по ним. Они умерщвляют нас. Мы пойманы ими, как птицы в клетке, — нет, как насекомые в клетке, состоящей сплошь из прутьев, внутри которых нет пространства, точно мы в гнилом дереве, на самом же деле не в гнилом, а в твердом, более твердом, чем самый твердый камень. И этот камень, один-единственный камень, уходит к звездам и дальше, так как, по правде говоря, они ведь очень близко, а за ними — чернота, где те же законы продолжают действовать, продолжают перемалывать нас, превращая в тончайшую пыль, более тонкую, чем антимония, которую ты накладываешь на веки, чтобы они были серыми. Помоги мне, Шеба, я тону.

— Я делаю, что могу. Но ты так держишься, что из моих стараний мало что получается.

— Нет, очень много.

Помолчав, слушая, как ноги наших верблюдов скользят по холодному песку, она спросила:

— Когда, ты думаешь, мы доберемся до места нашего назначения?

— Доберемся тогда, когда дальше некуда будет идти, — сказал я.

— А как мы узнаем, когда это будет?

— Когда кончится засуха.

Дом родителей Кэндейс, куда она привезла меня в конце нашего первого года обучения, был обшит внутри белым деревом и тоже походил на клетку. Я подивился тесноте комнат, их отделке. Ее отец вышел ко мне из дальних комнат, крупный мужчина с берилловыми, как у Кэндейс, глазами и седыми волосами, такими тонкими и редкими, что они передвигались по голове, когда он жестикулировал. У меня было впечатление, что в его большом теле много дряблых мест, пузырей, где осел растянувший плоть алкоголь. Он излишне сильно пожал мне руку.

— Значит, вы и есть тот молодой человек, от которого без ума моя дочь.

Без ума? Я посмотрел на острое нежное личико Кэнди с унаследованным от матери красивым прямым носом. С матерью я только что познакомился, — казалось, она была напугана. Возможно, пятна на лице папаши тоже объяснялись страхом. Страх владел всеми нами. Я впадал в панику по мере того, как открывал для себя дом — его обшитые деревом стены сжимали тебя, как западня; его светлые, исподволь поблескивающие обои, его толстые, фруктового цвета, заглушающие шаги ковры, его удивительная гостиная, длинная и белая, где между двух белых диванов стоит белый мраморный кофейный столик с фарфоровыми подносиками и медными весами, на которых лежат белые неувядающие лилии, слишком блестящие, чтобы быть настоящими. А что это за маленькие блюдечки с плоскими краями и пробковым дном, которые разбросаны повсюду — на широких подлокотниках диванов и круглых столиках, словно некий гигант щедро наделил эту комнату своими изощренными сложными монетами?

— Папа, я не говорила, что я от него без ума, — смутившись, поправила отца Кэнди, и лицо ее, которое, как я сейчас понял, представляло собой смешение генов, покраснело.

— Конечно же, она без ума, мистер... боюсь неверно произнести ваше имя.

— Зовите меня Феликс, — произнес я с ударением по-английски на «е».

Я подумал, не следует ли мне сесть и не проглотит ли меня диван, точно матерчатый крокодил. В Америке, в магазинах мелочей и в транспорте в часы пик, у меня часто возникало ощущение, что я попал в алчные яркие челюсти со множеством зубов. В гостиной Каннинхэмов были оазисы с косметическим запахом. Как и в старом кинотеатре на Торговой улице, здесь от обстановки исходил дух героической стагнации. Усевшись на край бездонного, как губка, дивана, я дотронулся до медных весов и, конечно же, обнаружил, что они не шевелятся. Некогда добротное приспособление было отполировано, запаяно и нагружено пластмассовыми лилиями. Закреплено навсегда, как в этом странном христианском рае, где ничего не происходит, даже гурии не ухаживают.

— Asseyez-vous[[32]](#footnote-32), — предложила миссис Каннинхэм с улыбкой, трогательно похожей на улыбку дочери, только какой-то недолговечной, словно мелькающая на губах Кэнди улыбка была сморщена, потом снята с ее губ, разглажена и налеплена на хмурое лицо.

Но когда в ответ я похвалил на школьном французском хозяйку за красоту комнаты с ее цветами и киноэффектами, лицо ее стало столь же пустым, как у эмалевой пастушки на каминной полке, застывшей в позе напряженного внимания перед играющим на флейте пастушком, стоящим в точно такой же позе. Между ними находились внушительные часы с маятником из ртутных палочек, и их ход, возможно, врезался — на холодном эльфовом плане — в звуки флейты пастушка. Сам камин — символический центр дома — был столь примитивен, что даже во мне он мог пробудить знакомый отзвук, и вычищен, как пол в душевой кабинке, украшен никогда не бывшими в употреблении медными подставками, а на них лежали три идеальных березовых полена, которые никогда не будут растоплены.

Мистер Каннинхэм вернул разговор на более спокойный английский.

— Феликс, не сочтите, что я влезаю в личные дела, но на чем вы собираетесь специализироваться в колледже?

— В первый год еще не требуют определиться, но я хотел окончить курс по управлению и в дополнение немного заняться французской литературой.

— Французская литература — какого черта она нужна вашему народу? Управление — это я понимаю. Желаю в этом успеха.

— В чужеродном климате моей родины, мистер Каннинхэм, литература, которую принесли нам французы, может прижиться лучше, чем политические институты. В Расине есть сухость, в Вийоне есть резкость, которые нам подходят. Во Французском Индокитае не так давно я читал на память сонеты Ронсара военнопленному террористу, которого потом казнили. В менее развитых частях света великодержавная политика Запада может быть отметена, но его культура деструктивна.

— Кэн-ди, — с излишним напором, как все стеснительные люди, произнесла миссис Каннинхэм, опустившись в кресло, обтянутое материей с розами величиной с капусту, и грациозно, диагонально сложив тонкие щиколотки с застенчивой «сексуальностью», напомнившей мне ее дочь... которая исчезла! Horreur![[33]](#footnote-33) Куда? До меня доносилось ее хихиканье из какого-то далекого уголка дома. Как потом выяснилось, она поднялась наверх поболтать со своим младшим братом, а может быть, на кухню поддержать отношения с цветной поварихой Каннинхэмов? Так или иначе она бросила меня наедине со своими внушающими страх бледными родителями, женская половина которых остановилась на полпути и наконец выбрала соответствующий глагол из своей сокровищницы «приятных» вещей, — ...намекала на ваши романтические приключения.

— Не романтические, мадам, а, право, довольно нужные. Французы за свои стихи потребовали, чтобы мы сражались в других бедных странах. Я выполнил их просьбу в Индокитае, так как это помогло мне вырваться из моей деревни, а когда надо было ехать в Алжир, где восставшие были такими же, как я, африканцами, я сам восстал и дезертировал.

— О господи! — воскликнула миссис Каннинхэм. — А вы когда-нибудь сможете вернуться?

— Не раньше чем колонизаторы уйдут. Но это может произойти через десяток лет. Требуется лишь, чтобы в Париже появился политик, готовый выступить гробовщиком. А пока я наслаждаюсь жизнью в вашей удивительной стране, как сном, от которого когда-нибудь проснусь чудесно освеженный.

— Есть вопрос, который я все откладываю вам задать, — сказал мистер Каннинхэм, вставая со зловещим видом, но не для того, чтобы задушить меня, как на секунду показалось моим напряженным нервам по его не слишком любезному тону, а чтобы подойти к высокому шкафу и налить себе выпить из квадратной бутылки, на которой значилось «Джек» или «Джим». Мое имя он заменил нейтральным: — А как насчет *вас*, дружище?

Горло у меня действительно пересохло от волнения.

— Стакан воды, если не трудно.

Он приостановился.

— Простой воды? — Потом мозг его переварил мой ответ, как нечто вполне объяснимое, чего и следовало ожидать от непривилегированного представителя мира, находящегося в состоянии детства. — А может быть, «Севен-ап»? Или «Шлитц»?

Я бы выпил, но тут же постарался выбросить из памяти воспоминание о золотистом пиве на темном столике в кафе «Бэджер» и, представив себе ожидающий меня семейный ужин в виде долгого пути сквозь хрупкие дебри хрусталя, серебра и кратких высказываний, решил для безопасности держаться трезвости. А потом я получил какое-то тихое удовлетворение от того, что воспрепятствовал осуществлению желания этого большого белого дьявола проявить гостеприимство.

— Просто воды, пожалуйста, — повторил я.

— Это, очевидно, из-за вашей веры?

— Из-за нескольких причин.

— Добавить льда? — спросил он.

— Без льда, — сказал я опять-таки вопреки желанию, но в соответствии с образом идеальной строгости, в который я облекся для данного случая как в панцирь.

— Элис, — произнес он неожиданно приятным голосом.

Его покорная супруга поднялась — пастушка *все-таки услышала* пастушка — и отправилась на кухню, которая, судя по всему, согласно одному из этих непостижимых законов, наводящих порядок в анархии американских браков, является ее вотчиной. А мистер Каннинхэм, подкрепившись за счет своей бутылочной когорты, продолжил свои интересные расспросы, обратившись ко мне:

— Какого вы мнения о наших американских цветных?

Я уже достаточно беседовал с учениками Элии Мухаммада и слышал это странное слово «цветные», но эту странность переплюнула еще большая странность предшествовавшего ей слова «наших». Я уставился на свои ноги, так как ступал на предательскую почву. Но я мог не стараться в поисках ответа, поскольку мистер Каннинхэм предоставил его сам.

— Что мы можем сделать, — спросил он меня, — чтобы помочь этим людям? Они перебираются в хороший район и превращают его в джунгли. Вы вкладываете туда миллионы государственных денег, и все вылетает в трубу. Наши американские города превращены в настоящие развалины. Детройт был отличным городом. Они превратили его в дыру, ребята набрасываются на вас прямо на Гудзонском бульваре, а центр города — пустыня. То же происходит с Чикаго. В Гайд-парке, что вокруг университета, где такие прекрасные дома, белая девушка не может после ужина вывести собаку, не имея при себе ножа. На Ближней Северной стороне немного лучше, но отойдите на два квартала от озера — и ваша жизнь в опасности. Почему, вы думаете, я перевез семью в Ошкош? Я потерял сорок кусков в год, уехав из большого города. Но ведь это сущий ад: цены на недвижимость стали запредельные, единственный способ вернуть свои деньги в некоторых районах — это сжечь свою собственность. А возьмите машины — всякому, кто держит машину на улице, следует проверить свои мозги. И они не просто крадут машины, они их ломают — из чистой ненависти. Что *разъедает* этих мерзавцев? Хотелось бы знать.

Миссис Каннинхэм вернулась, неся мне воду в стакане с серебряной каемочкой, и я подумал о том, как в пустыне солоноватую воду набирают из дыр со следами верблюдов в окружающей грязи, с пленкой, образованной бактериями, которые умудряются выжить даже в обжигающих песках.

С возвращением жены мистер Каннинхэм стал держаться немного суше. В его тираде было и нечто для меня лестное: то, что он обращался ко мне как к собрату-страдальцу — жар его горя опалил мою кожу.

— Мне пришлось здесь хлебнуть горя, стараясь сделать себе имя из безвестности в середине жизни, но по крайней мере я не боюсь, что мою дочь могут изнасиловать, и мне не надо запирать машину всякий раз, как я иду писать на бензоколонке.

— Фрэнк! — сказала Элис.

— Извини, но я подозреваю, что даже в Сахаре вы писаете.

— Nous buvons les pissats[[34]](#footnote-34), — улыбнувшись, сказал я.

— Вот именно, — сказал он и бросил победоносный взгляд в сторону жены. — В общем, на чем я остановился? Ах да, я задал вопрос: какое же надо принять решение в отношении этих людей?

— Обеспечить их полезной работой?

Это предложение, сделанное со всей застенчивостью, казалось, привело его в ярость. Пятна на лице проступили ярче, волосы встали дыбом.

— Бог ты мой, да они в жизни не согласятся заниматься тем, что им предлагают, они предпочтут жить на пособие. Ваш средний чикагский джигабу — он слишком умен, чтобы пачкать лапы: если он не может стать сутенером, или торговать наркотиками, или получить канцелярское местечко в каком-нибудь дурацком магазине деликатесов, он просто обрюхатит жену и будет считать денежки.

— Это ведь и есть — как же вы это называете? — американский индивидуализм, верно? Антрепренерство непредвиденного сорта.

Он уставился на меня. Он начинал меня понимать.

— Господи, если это предпринимательство, давайте отдадим его русским. У них есть на это ответ. Концентрационные лагеря.

— Папа, ты же обещал, что не будешь! — воскликнула Кэнди, спустившаяся по лестнице. Она только что причесалась, лицо ее сияло счастьем «быть дома», пунцовые губы алели, округлые формы стройного тела подрагивали, как у мажоретки, в кашемировом свитере и шерстяной плиссированной юбке, взвихрившейся, когда она крутанулась вокруг опорного столба, — этот пируэт привел меня в восхищение, когда я вошел в дом.

— Не будет что делать, дорогая? — спросила мать, словно в этой комнате тихих часов и звонких сопоставлений было плохо слышно.

— Не будет досаждать Счастливчику чикагскими черными.

— Не только чикагскими, — возразил отец, — возмутительно обстоят дела повсюду. Даже в Лос-Анджелесе — они его просто ровняют с землей. Черт возьми, в Чикаго по крайней мере есть политическая машина, которая может делать выплаты и удерживать все под крышкой. А в таком городе, как Ньюарк, они просто все захватили. Они сделали с Ньюарком то, что мы сделали с Хиросимой. Даже трава не растет там, где обитают они. Говорю вам: они — проклятье для нашей страны, и пусть наш друг не обижается.

— Папа, ты ничего не знаешь и настолько предубежден, что я не способна больше даже плакать по этому поводу. Я не хотела приводить сюда Счастливчика, но мама велела. Из-за тебя мне *очень* стыдно перед ним.

— По счастью, черт побери, он вне всего этого. Он — африканец, у них там по крайней мере есть гордость. Он говорит, что у них есть своя культура. А у бедных цветных в нашей стране нет ничего, кроме того, что они украдут.

И он не совсем спьяну подмигнул мне. В голове у меня мелькнула мысль, что меня, африканца, благодарят за то, что я не приехал сюда насовсем и не стану поднимать ставки страховых компаний своим воровством. Более того: он видел во мне олицетворение континента-родины, который, как он надеялся, жаждет принять афроамериканцев обратно в дружественный всепоглощающий хаос.

— Точно, — сказал я и поднялся. — У них нет ничего, кроме того, что они украдут.

Когда в знак протеста я встал, перспектива комнаты изменилась, и я был заново потрясен ее экзотикой, фантазией, с какой она обставлена, — эти фальшивые цветы и камин, мебель, похожая на тающие айсберги, ее белизна, и холод, и великолепная стерильность, — короче, пустота при изобилии, посыпанном непонятными пробковыми кругляшами.

(Плохо я это выразил. Мокрый кружок от стакана с фантой испортил мою рукопись. Как мне хочется вернуться в Дурной край Куша и к моей дорогой обреченной Шебе!)

Братишка вслед за Кэнди сошел вниз. Фрэнк-младший, скрытный разжиревший четырнадцатилетний мальчишка, достаточно большой, чтобы в моей деревне жить в длинном доме, всем своим видом показывал, как гибельно из ночи в ночь спать одному в жаркой комнате с плюшевыми мишками, фетровыми вымпелами и швейцарскими занавесками в горошек. Улыбка, которую он нехотя мне выдал, обнажила варварский и, несомненно, болезненный зубной панцирь из серебра и стали. От его вялого, влажного рукопожатия отзывало мастурбацией. В рыбьих глазах застряла скука; он попытался завязать со мной разговор о баскетболе, о чем я, несмотря на цвет моей кожи, ничего не знал. По случаю этого семейного торжества мальчик надел сорочку с галстуком, — воротничок и узел галстука сильно врезались в его рыхлую шею. Я подумал: «Вот он, наследник капитализма и империализма, крестовых походов и крутящихся подъемных кранов». Однако он не казался эмбрионом мистера Каннинхэма, тогда как мистер Каннинхэм со своим ловкачеством и бравадой, отчаянным желанием нравиться и с такими наивно поредевшими волосами казался увядающим, халтурно собранным увеличенным вариантом своего сына. Я понял, что мужчина в Америке — это неудавшийся мальчик.

Тут в алебастровой арке, ограждавшей гостиную, появилась черная женщина. Несмотря на все оборочки ее формы, она была такая знакомая — с этой ее толстой нижней губой и пухлыми прелестями. Схожесть с Кадонголими подчеркивалась ее манерой держаться, дававшей понять, что у нее было много в жизни возможностей и она могла бы с не меньшим удовольствием находиться сейчас в другом месте.

— Ужин подан, мэм.

Мы все встали, послушные приказанию королевы-служанки.

Но прежде чем мы прошли в столовую, миссис Каннинхэм со скоростью хищной птицы, показав нечто новое в своем арсенале выживания, молча, словно карманник, проскользнула позади меня и переставила пустой стакан, который я поставил в центре столика у подлокотника дивана, на одно из маленьких, серебряных с пробковым донышком, блюдечек. Конечно. Это были подставки, которые в дружелюбных барах Фрэнчайза имели просто форму кружочков, упакованных в промокательную бумагу с напечатанной на ней рекламой. Такими неожиданными проявлениями очевидного и развивается антропология.

Оскар Икс повел будущего Эллелу на собрания Народа ислама: им не нравилось название Черные мусульмане, хотя оба слова — и «черные», и «мусульмане» — были каноническими. Третий храм в Милуоки находился в двух часах езды на юг, но всего за час, проведенный в мчащемся под оглушительный грохот радио, весьма заржавелом, обильно хромированном, со множеством кнопок, поглотителе essence[[35]](#footnote-35), именуемом, что показалось мне весьма странным в этой стране, помешанной на всем новом, «олдс»[[36]](#footnote-36), мы могли попасть во Второй храм в Чикаго, где можно было послушать самого Посланца Аллаха. Он говорил шепотом, маленький, хрупкий человек, немного похожий, подумал я, проснувшись в Нуаре, на Эдуму IV, Повелителя Ванджиджи. На Посланце Аллаха была вышитая золотая феска. Этот тоненький маленький росточек загорался чистой ненавистью, говоря о белых людях, и зажигал наши сердца. Он говорил о «трюкачестве» белого человека. По его словам, голубоглазые дьяволы настолько промыли мозги черному человеку в Америке, что он стал умственным, моральным и духовным мертвецом. Он говорил о черном народе, вырезанном из бока Америки, как кровавый бифштекс из бока эфиопского бычка, и что народ этот будет существовать наравне с другими народами мира. Он перечислил, какие обязанности выполнял черный человек для своих хозяев в Соединенных Штатах, начиная с приготовления пищи и вскармливания их младенцев (да!) и кончая устройством их приемов и сражением в их войнах (да, конечно!). Он высмеял движения за гражданские права, сидячие демонстрации, прошения — все, направленное на единение с хозяином, который, с одной стороны, требует отдельных школ, пляжей и туалетов, а с другой стороны, посредством насилия так смешался с американскими черными, что среди присутствующих не найдется ни одного человека, чья кожа была бы по-настоящему черного цвета, как у его африканских отцов. «Агнец!» — воскликнули в нашей толпе иные души, а еще: «*Учи* нас, Посланец!» Бесконечные перечисления зол никогда не утомляли его, этого еле передвигавшего ноги предвестника моего царя в золотой феске. При его упоминании об изнасилованиях я обнаружил, что плачу. При его упоминании племени шабас, применительно к которому слово «негр» звучало фальшиво и оскорбительно, я почувствовал прилив восторга. Слушая его мягко, с удивлением излагаемый рассказ о недавнем чуде дьявольского лицемерия, как, например, о только что принятом тогда решении Верховного суда, сообщившего черным, что они теперь равные члены общества и потому не защищены от нападения псов шерифа, если по глупости поведут в школу своих тщательно вымытых, с заплетенными косичками маленьких дочек, или о таких издавна известных чудесах христианского трюкачества, как продажа рабов в смешанных лотах с тем, чтобы не было двух человек, говорящих на одном языке или поклоняющихся одним и тем же богам, и, таким образом, в душах рабов не останется единого Бога, кроме исторически абсурдного голубоглазого Иисуса с желтыми волосами, я, пылая, представлял себе, что надо сделать, как пробудить миллионы с промытыми мозгами, как на тверди мести взрастить новые народы и как их поведут за собой такие вот тихие, коричневые, вдохновленные ненавистью мужчины, как наш Посланец.

А вечером по вторникам (Вечера единения) или вечером по пятницам (Культурные вечера) приятно было общаться и даже быть обласканным как африканец, немного знающий по-арабски, в кругу женщин в бежевых платьях и мужчин в темных костюмах, сумевших спастись от наркотической эйфории и гиблости гетто. Многие из них — бывшие преступники — держались со строгостью sous-officiers[[37]](#footnote-37), и я осознал, что в эту эпоху, когда магическая волшебная палочка высохла и все чародеи, вожди и фараоны рухнули под диковинный лай ружей, единственным серьезным институтом осталась армия, все остальные — низкопробные комедианты и пустые ряженые. Править должна армия. Соединенные Штаты шумно гордятся своим правительством адвокатов и посредников в свободных пиджаках, а гражданин имеет дело с большой армией полиции в синих мундирах. Патрульные машины с воем проносятся мимо каждого гнездышка совокупления парочек. Офицеры с детскими лицами разгуливают по Торговой улице в поясах, увешанных оружием в кожаных чехлах. За этими синемундирниками правительство для моих черных друзей сводится к вееру заголовков, которые каждое утро сплетаются в легкую паутину и отметаются к полудню. Я понял тогда: правительство по своей природе — это миф. А эти пасынки ислама пытаются создать контрмиф. «Аль-саламу аляйкум!» И в ответ неслось приветствие Посланца: «Ва-аляйкум аль-салам!» Никогда я не слышал, чтобы по-арабски говорили так мягко, как здесь, в Америке, ровно, без выражения выговаривая слова, словно дети уборщиков и издольщиков, выучившие наизусть несколько фраз для самоутверждения и обретения чувства достоинства. Такбир! Бог велик! Ма ша алла! Да будет воля Бога!

Если наши безалкогольные фруктовые пунши и кушанья без свинины, приготовленные кухонными рабами белых домов с опухшими от целого дня работы ногами, отзывали фарсом, это был целенаправленный важный фарс, и притом с совсем особым вкусом, со вкусом священных приправ, щекотавшим мне ноздри и вызывавшим во мне, разыгрывавшим собственный фарс в качестве настоящего дитя Книги, экзальтацию, ощущение подлинного «я», каким я себя не чувствовал нигде в этом предательском краю кяфиров.

И хотя Оскар Икс, как я через много лет узнал, отказался от веры из отвращения к сексуальным отклонениям Посланца, хотя некоторые из моих целомудренных сестер снова надели белые одежды участниц христианского хора, а мои горячие узколицые братья (с глазами, сверкающими над скулами, как у снайперов, глядящих в прицел, со своей опасной нестабильностью, упрятанной под спокойный дьявольский костюм адвокатов корпораций и сотрудников ФБР) вновь пополнили ряды уличных бойцов, хотя Народ ислама нанес себе смертельную рану, став убийцей Малкольма, и несчастные афроамериканцы двинулись дальше в поисках революционного инструмента, эти храмы гетто были местом моего рождения. Посланец открыл мне богатства, которые неведомо для меня оказались моими. Он внушил мне, что проявления зла, которые я наблюдал, были не случайны, а закономерны. Он показал мне, что мир — наш поработитель и что путь к свободе — это путь самопожертвования. Он научил меня быть частью народа, чистым и ненавидящим, ибо ненависть — источник силы всякого рода и плодом ее являются перемены, как любовь порождает дебильность, а ее плод — это пассивное воспроизведение того, что во множестве уже существует.

На собраниях в храмах, в передышках от общения с Кэнди Каннинхэм и пребывания в колледже Маккарти с их благородными планами перековки меня в седовласого трусливого черного, я был волен воображать себя абсолютистом. Во мне формировались кристаллы мечты, и страна Куш в том виде, в каком она существовала, была в центре этой мечты.

Местность стала более гористой — серые скалы, черный воздух больше не давали ни грана жизни пучкам колючего кустарника и редко попадавшемуся дерну с унылейшими цветами. В ночное время сухой лед, расшатывавший камни, сопровождал нарастающим эхом скрежет копыт верблюдов, пытающихся удержаться на тысячелетних скоплениях каменистой осыпи. Мы продвигались под этот грохот, и анзад Шебы (вместо которого время от времени появлялась флейта, замещавшая стоячий член ввиду моей импотенции) был ирреален под стать музыке камней — минералов и кристаллов, которые со звоном рассыпались от нашего продвижения. Гематит, магнетит, касситерит, вольфрамит, мусковит, миспикель и полевой шпат сверкали под луной. Я вспомнил мрачные предсказания Эзаны насчет геологии и подумал — как-то там поживает в заточении мой министр внутренних дел? Мы ведь жили в одной казарме, слышали приказы: «Aux armes! Aux armes! Les diables jauns!»[[38]](#footnote-38) В моей усталой душе роились самые разные сентиментальные мысли. Луна становилась восковой и таяла; Дхуль-Хиджа сменялась Мухаррамом, Мухаррам сменялся Сафаром, или я вообще потерял им счет. Разведчики воды покидали караван на многие дни, некоторые так и не возвращались. Подходило время, когда и нам с Шебой предстояло покинуть караван, чтобы отправиться на поиски пещеры, где голова Эдуму IV якобы вещала как оракул.

Вблизи этой пещеры, как сказал нам Сиди Мухтар, собрались европейские сизые голуби, и теперь две-три птицы, а они серые, но с блестящими кружочками на голове и горле, в этой монохромной местности кажутся радужными, и на заре и в наступающих сумерках видно, как они сидят на дальнем склоне сланцевой глины цвета асфальта, точно голуби на трубах городских крыш. Вверх и вниз колесили мы по проходам, таким узким, что небо у нас над головой казалось не шире реки. Это мучительное путешествие состарило Шебу: младенческий жирок исчез с ее щек, и она иногда с сомнением искоса поглядывала на меня в промежутки между асинхронно вздымавшимися горбами наших верблюдов.

«Ты меня любишь?» — спрашивала Кэнди.

«А ты мне скажи, что ты понимаешь под любовью», — говорил в ответ молодой Хаким, чьи защитные реакции хорошо укрепились за годы жадного чтения от Платона до Эйнштейна, неуклонно взрывавшего и развалившего всех богов-защитников.

«Что значит „что я понимаю“?»

Внизу, на улице, с воем пронеслись кареты «скорой помощи». Их крутящиеся красные огни окрасили в кроваво-красный цвет сосульки на окне — точно клыки, оскаленные в злобном рыке.

«В какой мере твоя так называемая любовь ко мне, — продолжал он, — является проявлением себялюбия, себялюбия в прометеевском смысле — стремления к запретному, то есть любить меня?»

«В какой мере, в свою очередь могу я спросить, твое траханье меня является местью белому миру?»

«Это твои родители так говорят?»

«Они не знают. Они не спрашивают. После определенного возраста им легче забыть, что у тебя есть тело. Единственным кризисным моментом был бы брак».

«Безусловно».

«Что значит „безусловно“?»

«А то и значит, что брак, безусловно, вызвал бы кризис. — Он твердо изменил тему, чтобы ей это было ясно. — Это сволочное желание отомстить, по-моему, в духе американцев. У меня нет — уж как-нибудь я в этом разбираюсь — чувства, что белый человек оскорбляет меня, каким мучаются Оскар, и Репа, и Барри, которые зовут белого человека просто Человек. Арабы с лицами кофейного цвета убивали и увозили моих соотечественников в те времена, когда французы простодушно строили Шартр. А туареги были еще безжалостнее. Под своими синими одеждами они белые. В моей стране черный человек — это Человек с большой буквы, который из поколения в поколение совершает удивительное чудо — продолжает существовать и размножаться, невзирая на муки и жару. Нуар — это река, куда чужаки приезжают удить рыбу, но не плавать с нами».

«Говори и ласкай меня. Пожалуйста, Счастливчик».

Он провел рукой по ее белому бедру, с которого исчез отсвет красных огней.

«В деревне, — сказал он, от усталости говоря о первом пришедшем на ум, — мы всегда ласкали друг друга с дядями, сестрами, друзьями, а в тринадцать лет мальчики получают право спать в большом доме. Я часто думаю о твоем брате — как тоскливо спать одному в отдельной комнате. И когда после такого одиночества переходишь к сексуальной жизни, это, наверно, представляется великим достижением, большим, чем у других народов, слишком бедных, чтобы иметь столько комнат. И потом, американцы средних лет тоже не ласкают друг друга. В конце жизни ты переходишь в руки медсестер и докторов. Это означает, что ты снова приближаешься к тому, чтобы оказаться в темноте чрева».

Она повернулась к нему спиной — кожа у нее была холодная, как у змеи. Ей хотелось говорить о замужестве.

Пиролюзит, гематит, антимонит, кварц — Сиди Мухтар, подмигнув, перечислил названия кристаллов.

— Большое богатство. — И постучал по скале.

В свое время он попал в армию Роммеля, и там его натаскали в геологии, в Erdwissenschaft. Он успел привязаться к девушке, игравшей на анзаде, и ее маленькому покровителю. И жалел, что они покидают караван. Но страшное время настало.

В этот самый момент, как позднее узнал Эллелу из достоверных источников, Микаэлис Эзана шел среди ночи по коридорам Дворца управления нуарами. Он убедил своих охранников, двух простаков из племени галла, которых отобрали из отряда, занимавшегося ловлей крыс на одной из гор земляных орехов, сваленных на равнинах близ Аль-Абида, что в шесть часов надо пить «Мартини» для своего рода внутреннего омовения, которое следует принимать для окончательного очищения вместе с салят аль-магриб. День за днем он увеличивал пропорцию джина по отношению к вермуту, так что под конец это свалило крепких парней, закаленных потребителей медового пива. Путь для Эзаны был свободен. Как однажды уже встречалось на этих страницах и было слышно из этого же окна, гортанный зов муэдзина прозвучал под безоблачным небом словно под темным кафельным сводом. Избегая риска конфронтации с солдатами и их подстилками, расквартированными в коридоре четвертого этажа, а они, если и не были полностью в курсе всех нюансов перемен во внутреннем кругу руководства Куша, безусловно, учуяли запашок табу, окружавший теперь Эзану, он совершил целый ряд операций: порвал, измерил и связал воедино — подобно тому, как были вытянуты, казалось, необходимыми вставками в середине некоторые фразы данного текста, — кафтаны и шнуры, придерживающие головной платок, в единую веревку и под серебряным поцелуем последней луны сафара спустился по стене, сопровождаемый в этом жутком спуске своей безразличной тенью, похожей на слабо очерченную, большую летучую мышь, чьи ноги размыто касались его ног. Не порвав веревки, Эзана достиг окна третьего этажа, где помещался Народный музей империалистических зверств. Поскольку, спускаясь, он молился, окно оказалось незапертым или верхний шпингалет давно отошел от дерева, усохшего от дневной жары и превратившегося в ломкую глину. Эзана с треском открыл окно, толкнув раму, и, дрожа, соскочил на пол.

Музей посещали лишь немногие ностальгически настроенные реакционеры. Кожа с французской парадной сбруи была обглодана и съедена голодающими. Маленькая модель типичной хижины для слуг circa 1910 года, призванная скандализировать зрителей своим убожеством, была старательно демонтирована и вынесена из дворца, чтобы служить убежищем бездомной семье в Истиклале. Инструменты пыток, среди которых господствовали высокая бормашина и гильотина, готическая вершина галльского правосудия, отбрасывали длинные тени, и между ними, обходя пыльные музейные витрины, пробирался босиком министр внутренних дел. В витринах лежали комья каучука, гипса и другого сырья, которое добывали в Нуаре голые рабочие (запечатленные на миниатюрной картине из папье-маше в виде изможденных фигур из дерева бальза у входа на рудник) за несколько сантимов в день. Другую витрину занимали лишь усы и монокли империалистов — они подмигнули Эзане, когда он проходил мимо. В следующей витрине лежали пустые бутылки из-под ядов, которые потребляли нечестивые «колоны»: абсент, коньяк, шампанское, перье, — их блеск потускнел и снова ожил после того, как Эзана с сильно бьющимся сердцем проскользнул мимо. В других витринах темнели Библии и молитвенники во всем разнообразии размеров и языков. Вместе с ними весьма остроумно были разложены гроссбухи армии обогатителей, управителей плантаций, концессионеров, агентств по экспорту-импорту, факторий, торговавших европейскими материями и ножевыми изделиями в далеких деревнях, компаний, чьи суда, скрипя, ходили по Грионде. Эзана однажды занялся изучением этих гроссбухов и после консультации с Эллелу не дал хода своему любопытному открытию: ни в одном гроссбухе он не обнаружил прибыли. На бумаге колониализм выглядел явно проигрышным предприятием. Стоимость содержания армий, управителей и фортов, приобретения флагов, пуль, хинина, строительства дорог, ввоза ножей, вилок и ложек намного перевешивала нехотя добытое сырье и налоги, получаемые от беспринципных, ненадежных вождей, не говоря уж об упорно плохо работающих людях. Самого алчного эксплуататора, короля Леопольда, прибегавшего к страшным зверствам в стремлении установить баланс в своих книгах, пришлось спасать от банкротства. По мере того как колонии стали получать независимость, гроссбухи в столицах метрополий заметно поздоровели. Нуар, самая outre[[39]](#footnote-39) из колоний французского министерства заморских территорий, считалась в Париже, по данным статистики, маленькой ерундой.

Почему же в таком случае угнетатели пришли сюда? Этот вопрос терзал Эзану, шагавшего босиком по пустынному музею, вместе с болью в подошвах, слишком много лет покоившихся в итальянской коже, а сейчас пострадавших во время смелого спуска по шершавой внутренней стене дворца. Европейцы пришли, казалось, просто из зависти: у португальцев было здесь два форта, поэтому датчанам и голландцам захотелось тоже иметь форты. Египет оказался под британской пятой, поэтому французы решили прибрать к рукам Сахару; поскольку у британцев была Нигерия, немцы решили прибрать к рукам Танганьику. Ну, а потом что было делать на этих обширных землях? Осушать болота, бить слонов, сажать шоколадные деревья, расчищать дорогу для миссионеров. В Нуаре эти виды деятельности получили самый скромный размах: здесь было мало болот и еще меньше слонов. Тем не менее галлы делали свое дело, и горстка французов, которые у себя дома считались бы париями, создала здесь на спинах черных, обращавших на них не больше внимания, чем на мух, впечатление — пусть весьма шаткое — своей значимости. В одной из витрин музея хранились плети — от сикот, вырезанной во всю длину шкуры гиппопотама для выравнивания рабочих на плантации в одну линию, до изящного шелковистого фуэ с узлами, искусно завязанными на концах, которым жена управителя района наказывала своих горничных. В следующей витрине лежали непристойные принадлежности борделя в Хуррийя, который содержали для белой милиции и рабочих отоктоны местные жители. Таким путем был установлен своего рода контакт. Цивилизация водопадом грязи обрушилась на незаполненные, чистые места на карте мира. Произошло слияние кож вслепую, как у спящих, которые крутятся, перетягивая с закрытыми глазами на себя одеяло. На одной из темных стен висели большие карты присахарских империй — Сонгай, Мали и Канем-Борну. Они тоже были навязаны извне, и их появление и падение было отмечено ликвидацией многих ушей, рук и голов. На той же стене висели пожелтевшие и чудные дагерротипы вычурных пикников в буше, военных парадов, демонстрировавших изобилие пуговиц, художника с бородкой, в свободной белой блузе конца века, старательно изображавшего на мольберте в импрессионистической манере хижину, похожую на улей, и баобаб. Эзана крался мимо этих картин отошедшего в прошлое общения и думал о смысле колониализма, о том, как трудно представить себе, что народ Франции, страны с такой божественной литературой и кухней, мог завладеть немытой одной шестой неблагодарного континента для того, чтобы создать престижные посты для нескольких авантюристов, а это способствовало появлению великой страны Куш, которая существует исключительно для того, чтобы несколько представителей революционной элиты могли иметь свои посты. Памятники зверств империалистов словно удерживали Эзану, когда он стал откручивать большой восьмигранный болт на двери под писанным маслом портретом губернатора Федерба, снимками экспедиции Хурста и фотокопиями особенно гнусных страниц из знаменитого дневника полковника Тутэ. Эзана, крадучись, вышел в коридор. Он был пуст. Осыпающийся белый потолок, зеленый багет, проложенный на уровне его руки, уходили в бесконечность. Эзана в грязной одежде узника пробирался вдоль стены, скривив лицо и выпучив глаза, слушая, как его наручные часы с черным циферблатом отсчитывают секунды, и думал о том, что Эллелу, отправившись в дальнее путешествие, едва ли достигнет места своего назначения. Размышлял он и о том, как самому выжить, взвешивал возможности дворцового переворота.

Но у Эзаны не было желания стать вождем. Давать советы, спокойно выдвигать возражения за чашкой стынущего шоколада, тренировать машинисток, подписывать директивы, снимать пачки статистических данных с консолей картотек, видеть, как в наименованиях и цифрах выражена страна со всем ее смутным грузом озадаченности и непонимания, и, главное, одеваться как сановник, любоваться своим изображением на почтовых марках и иметь награбленное ко Дню Великой беды состояние, которое лежит в Швейцарии на закодированном счету, — вот это ему нравилось, не то что быть вождем. Ведь вождь — по безумию или доброте душевной — взваливает на себя все беды народа. Таких безумцев в мире немного, этим и объясняется сумбур руководства в мире. Кроме того, Эзана не замечал, чтобы деятельность вождей была очень продуктивна или прогрессивна — результатов, по-настоящему меняющих условия жизни людей, добиваются никому не известные люди, накапливающие правильные деяния и небольшие улучшения, люди, не обладающие особым даром, но наносящие завершающий штрих и приходящие к, казалось бы, очевидному выводу, в то время как харизматические лозунголюбы и громометатели средств массовой информации продолжают изъясняться символами, — бумажные боги, чья продукция идет на удовлетворение человеческого любопытства. Их можно в одну минуту выбросить за негодностью, а вот такому человеку, как он, всегда найдется место.

Он прокрался по коридору и наконец добрался до лестницы. Люминесцентные оранжевые стрелки указывали вниз, и надписи на шести языках гласили: «ТОЛЬКО ВНИЗ». У Эзаны были основания спросить себя, действительно ли для него есть место. В своем дешевом одеянии из старого мерикани, чьи полы били по подкашивающимся коленям и округлостям зада, он чувствовал себя словно бы уже перенесенным в эту неясную загробную жизнь, так монотонно гарантированную бессвязным бормотанием Мухаммеда. Эта лестница ведет вниз, в школу для девочек или в тюрьму, где диссидентствующие местные вожди и молодежь, пристрастившаяся к контрабандным комиксам, проходят курсы политического перевоспитания с семинарами на тему «Тысяча способов использования земляного ореха», а для тех, кто попадает сюда вторично, — «Идеи Иосифа Сталина». Эзане нечего было делать ни в одном из этих семинаров — его образование было закончено. Вопреки всем указателям он пошел вверх по лестнице, на тот этаж, где находилось его служебное помещение. Воспоминание о его кабинете — косматый ковер, письменный стол со стеклянной крышкой, поднос для «Входящих», поднос для «Исходящих», маленькая подставка с печатями и рядом весы для почты — жгло Эзану, как видение оазиса жжет воображение путешественника в пустыне. Сев в свое кресло, он мог снова взять в руки рычаги управления государством. Хотя Эллелу и далеко, он почувствует, что страна зашевелилась у него под ногами, машина прогресса заработала. Неожиданная размолвка по поводу Гиббса и Клипспрингера забудется, как женский каприз. Они с Эллелу нужны друг другу, как земле нужно небо, как путешественнику нужен верблюд. Один принимает решения, другой их осуществляет. И Эзана уже почувствовал себя уютно, снова сидящим на своем месте и подключенным к терминалам власти.

Прежде всего — он это неожиданно понял со всею ясностью администратора — надо охладить пыл Клипспрингера. Эти американцы на словах ворочают миллиардами, а потом выходит, что они промывали вам мозги. Не важно: вашингтонские ветры быстро выметут его и появится новый подрядчик. Что же до русских, он постарается избавить Куш от этого неистового зла. Эзана не сомневался, что за печальной распрей с президентом скрывались обструкционисты и специалисты по смуте, пользующиеся неразберихой. Суперпараноики — назвал он однажды в шутку тех, кто разделяет сегодня мир. Он находил и тех и других примитивно вульгарными в сравнении со старыми империалистическими державами, которые в своих холодных загородных домах и канцеляриях в стиле барокко по крайней мере делили между собой завоеванные континенты, поглощая различные деликатесы, которым борщ и гамбургеры в подметки не годятся. Эзана вдруг понял, что голоден.

Он прошел три поворота по гулкой чугунной винтовой лестнице и остановился у двери из металлических плит, на которых были выбиты цветы в стиле ар нуво. Эти веселые орнаменты привезли сюда французы — вместе с военной наукой, метрической системой и скрупулезностью. Эта дверь открылась от прикосновения. «Почему?» — подумал Эзана: ведь его стража могла прийти в себя и оповестить власти. Но какие? Устланные коврами коридоры с бачками охлажденной питьевой воды и грамотами о заслугах по службе под стеклом, с пробковыми досками, на которых пришпилены пожелтевшие, закрученные приказы по учреждению и остроумно аннотированные вырезки из «Нувель ан нуар-э-блан», были в этот час пусты, как долина, обитатели которой бежали прежде, чем появился обещанный слухами агрессор. Узкая дверь, которая вела в аскетичный кабинет Эллелу, была закрыта, матовое стекло темнело, непроницаемое, нетронутое.

Однако за более широким стеклом двери в кабинет самого Эзаны, находившийся шагах в двадцати дальше по коридору, за круглым столом, на котором лежали кубинские и болгарские журналы в ярких обложках с загорелыми красотками в капельках воды, нежившимися на пляжах Черного и Карибского морей, горел свет. Оттуда, словно из котлована, доносился гортанный смех. Эзана приложил ухо — ненормально маленькое и недостаточно развитое даже для черного — к стеклу. Вместе со смехом Кутунды он услышал другой голос, мужской, не стесняющийся своей громкости. Они ждали его и веселились. Эзана осторожно открыл дверь и прошел через свою старую приемную в кабинет. Там пред ним предстала ослепительная Кутунда в красном кружевном белье, с волосами, выкрашенными в платиновый цвет и высоко зачесанными; она, словно официантка, разносящая на коктейле закуски, протягивала сидевшему за столом мужчине проволочную корзинку с бумагами. А за столом сидел молодой человек с овальным лицом, который в свое время читал королю Коран. На нем по-прежнему была феска сливового цвета, и его лицо цвета черного дерева было все так же спокойно, только сейчас он держал в руке черный, отливавший голубоватой белизной револьвер.

— Мы нужны друг другу, — сказал он Микаэлису Эзане.

## V

Эсмеральда Миллер была интересного цвета — серого, как опилки чугуна, такие мелкие, что глаз не может уловить отдельные зерна. По мнению Хакима, этот оттенок, похожий на искусственный, был продуктом ее убеждений и детерминизма в экономике. В то же время она была привлекательной молодой женщиной с узким, с выступающими челюстями, лицом, миндалевидными глазами в рамке очков с розовой пластмассовой оправой и завораживающей манерой задумчиво двигать нижней челюстью, словно проверяя коронки, поставленные отцом на ее коренные зубы.

— Чего ты пытаешься добиться, — спрашивала она молодого дезертира из Нуара, сидя по другую сторону стола в «Закусочной вне кампуса», или позже в «Мороженом из чистых молочных продуктов», или еще позже в кафе «Бэджер», где на полу лежали пропитанные пивом опилки и бормотала фосфоресцирующая реклама, — связавшись с этой сукой-маньячкой Кэнди?

— Добиться? Это вопрос, повернутый наоборот. Что говорит Фрейд? Удовольствие снимает напряжение. А существует напряжение, которое снимает траханье с ней. В сексе, несомненно, есть компонент мести, стремление согрешить, украсть конфетку у Чарли[[40]](#footnote-40) и тому подобное. Что касается ее, то она помешана на родных. Тем не менее мы ладим.

— Она не подарок — этого ты не видишь. Она с ходу стала к тебе клеиться. А ты поддался. Ты уже несколько лет с этим живешь, а у нее на уме — захомутать тебя. Что будет, когда ты закончишь учебу?

— Я говорил ей не раз, что женат.

— На какой-то старой черной корове неизвестно где? Этой белой девчонке до той женщины так же нет дела, как клопу под камнем. Она не верит, что та женщина существует, и я тоже не верю. Да и вообще, кто говорит, что ты намерен вернуться туда? Это же факт, Счастливчик, ты такой же американский, как яблочный пирог. Я как друг пытаюсь научить тебя уму-разуму, а ты мне отвечаешь словами Дэвида Ризмана и слышанного где-то Фрейда. Я ж тебя люблю.

Последнее было сказано как бы между прочим, как произносят такие слова Боб Хоуп или Кларк Гейбл, но Феликс воспринял их всерьез и понял, что ее советы — сплошная пропаганда. Он решил поиграть с ней.

— Как мусульманин я вправе иметь четырех жен.

— Ерунда. Ты такой же мусульманин, как я — Папаша Уорбакс. Надеюсь, тебе все это не заморочило голову — это просто наша обычная национальная вывеска «Иду-к-Тебе, Иисусе» с некоторыми смешными добавками. Иншаллах.

— Я не высмеиваю твою веру, — сухо произнес он. — А насчет того, что я никогда к себе не вернусь, ты ошибаешься. Ты не следишь за известиями из Африки на последних страницах. Англичане уступили Нкруме, а де Голля вернули к власти, чтобы он положил конец алжирской войне. Только де Голль может обуздать военщину.

— Господи, ты становишься просто невыносимым, как только речь заходит о твоих великих людях. Де Голль — второй Айк[[41]](#footnote-41), только у него нос больше. Это же *воздушные шарики*. История делается *внизу*. Когда угнетаемые народы *поднимаются*, они просто *берут* власть в свои руки, а до тех пор никто ничего им не дает. Франция может сколько хочет истекать кровью, но международный капитал не позволит ей отпустить поводья.

— По-моему, международный капитал уже решил, что колонии устарели. Появились новые армии в виде компаний и производимых ими хитрых товаров.

— Пролетариат...

— Какой пролетариат? Его нет. Покажи мне здесь пролетариев. Есть черные, которых держат в гетто из суеверного страха перед цветом их кожи, тем, как они вращают глазами, какие у них члены, точно плети...

— У иных толстые и короткие, — заметила Эсмеральда.

— У вас есть индейцы, — продолжал Феликс, — которые так и не поняли, что на них обрушилось. И затем есть белые рабочие, которые вопреки Марксу полностью включились в общество потребления, производя дрянь и покупая дрянь, напиваясь дрянью и ездя в дряни. Это, безусловно, революция — триумф излишнего. Если бы Маркс мог увидеть сейчас своих английских пролетариев, он бы не узнал их в размягченных, отупевших, насквозь пропитанных элем и одурманенных телевизором. Он считал пролетариат губкой, которую надо выжимать до тех пор, пока из нее не закапает революция. А вместо этого губка вобрала в себя излишки произведенной ее трудом продукции и раздулась, как положено губке. На нашей планете есть этакий ядовитый гриб, Эсмеральда, и мусульмане не совсем не правы, считая, что это от дьявола. Он вытесняет все доброе, он делает добро невозможным. Великие фанатики не могут больше появиться — их поглощают увеселения.

— Ну вот, опять ты впадаешь в обскурантизм. Идеи базируются на основах. Пища, кров, одежда, медицина, транспорт и все остальное. У всех одни и те же потребности, но девяносто процентов мировых богатств находятся в руках десяти процентов населения мира. Революция должна произойти.

— Движения должны зародиться. Маркс был прав: мир — это машина, но он считал, что некоторые ее части, которые он назвал, движутся, а все остальное стоит. Я вижу сейчас в мире два основных перемещения. Происходит протекание вниз евроамериканского потребительства. И происходят поиски пути наверх со стороны плохо различимых обездоленных. Но есть и третий поток, объединяющий эти оба. Когда бедняк тянется вверх, земля уходит из-под ног, и он попадает в расширяющуюся бедность; большинство человечества разделено на одни и те же константы в этом уставшем перенаселенном мире. — Он отхлебнул пива, пузырьки на поверхности кое о чем напомнили ему. — В детстве жирафы, слоны, львы были знакомыми мне богами — они приходили поиграть на горизонте нашего мира. Скоро самым крупным животным останется человек. Тогда будут лишь тараканы, крысы и люди. Так что эти потуги экономики похожи на протянутые руки людей на плоту, которых Жерико изобразил на своей картине «Плот Медузы», — эти руки никогда ничего не схватят, потому что плот тонет. Твой коммунизм провалился. В промышленно развитых странах Западной Европы, где, по рассуждениям Маркса, должно было произойти восстание, чиновники коммунистической партии ходят в костюмах с жилетами и стремятся пролезть вперед, чтобы получить, как вы, американцы, говорите, свою долю пирога.

Ее молчание, когда она, казалось, сосредоточила все внимание на его губах, придало ему смелости продолжить беседу в стиле, мнилось ему, Достоевского.

— Возраст любой революции — пять лет. После этого срока ее участники либо разбредаются, напуганные провалом, либо, преуспев, становятся истеблишментом, обычно более тираническим, чем тот, который они сбросили. Нам, африканцам, нравится де Голль. Он напоминает нам жирафа, богов, которые больше не посещают нас. Он совершит революцию — не снизу, а сверху, дайте ему пять лет. Алжир получит свою независимость, и вместе с ним — поскольку французы обладают империей и следуют в своих поступках абсолютной логике — получат независимость все обширные, но менее значительные территории французской Западной Африки, даже моя пустая, нелюбимая страна Нуар. Вот как творится история — скачками, в приступах нетерпения. Затем де Голля отбросят, как было с Робеспьером, или он станет брюзжащим стариком, проигрывающим споры в парламенте. Не важно. К тому времени я уже вернусь к себе. Au revoir, les Etats Unis![[42]](#footnote-42) Прощай, Эсмеральда!

У будущего Эллелу порой появлялось странное чувство, когда он разговаривал с американцами, черными или белыми: их лица представлялись ему блоками чужого языка, они жили в реальности, в скосе мышления, столь далеких от тех, в которых существовал он, что от усилий, каких ему стоило быть понятым, у него кружилась голова. Серьезное серое лицо Эсмеральды с томной сексуальностью двигающихся закругленных челюстей казалось ему через стол бездной или колодцем, в который он глядел и в глубине которого отражалась, колеблясь, его голова.

Эсмеральда сказала:

— Тебе надо это написать и послать в «Журнал неразвитой политической мысли».

Журнал этот по-настоящему назывался «Политическая мысль в слаборазвитых странах», и его выпускала группа предполагаемых либералов и недовольных экспатриантов в соседнем среднезападном штате, который тоже похож на рукавицу. Хаким последовал ее совету и в период между семестрами написал за несколько долгих, подкрепленных кофеином ночей небольшую серию статеек, которые — не подозревая о том, что это спровоцирует, — упомянул шестнадцать лет спустя незадачливый Гиббс. Хаким считал их третьим достижением в своей студенческой карьере. Вторым достижением было его почти избрание (не хватило четырех голосов, и он подозревал, что это были четыре его черных друга) организатором здорового досуга в кампусе. Первым его достижением было то, что он соблазнил Кэнди.

— Ты в самом деле хочешь взять эту сучку с собой? — спросила Эсмеральда.

Он покрутил пустой стакан из-под пива, размышляя, не выпить ли еще.

— Я об этом не думал.

— Желаю тебе, черный мальчик, потерять ее. Эти белые курочки любят задавать тон. Брось их любить, и они тут же закричат «насильник».

— Моя родина покажется Кэндейс нищей страной.

Балюстрада лестницы в ее доме, удушающий комфорт гостиной ее отца пронеслись в его мозгу, пока он раздумывал, обнажив нижние зубы и чувствуя на своих губах ненормально пристальный взгляд Эсмеральды. Под ее взглядом у него немел рот.

— Такая, как она, упрямая, избалованная женщина считает, что может растопить Северный полюс, если туда попадет. В этом слабость правящего класса: они не способны воспринимать неблагоприятную информацию. А как ты относишься к Крейвену?

Он перевернул маленькую картонную подставку на ту сторону, где не было рекламы.

— Не наилучшим образом. По-моему, между ними были нежные отношения.

— Можешь смело на это ставить. Она готова лечь под кого угодно, если это не парень ее возраста и ее имущественного положения. Такова *ее* революция. Скверная она баба, Счастливчик. Жесткая и холодная. *В чем* ее магия? Ты всюду с этой девчонкой с тех пор, как ступил на свободную землю.

Он вспомнил Кэнди, ее румяные щеки, красный вязаный шарф на голове, нервную, быстро мелькающую улыбку и то, как, направляясь к ней по диагонально проложенной дорожке или стоя на холоде рядом с ней, он обретал невесомость и словно вырастал. Он сказал Эсмеральде:

— Это все равно как есть снег. — Но даже и это показалось ему излишним признанием, предательством. И он рассердился на свою собеседницу за допрос. — С какой стати, приехав в эту страну, я должен спать с черной женщиной? — взорвался он. — В моей стране других женщин, кроме черных, нет. — И все тем же глухим от гнева голосом спросил: — Выпьем еще по пиву?

— Пиво будем пить в КМК, — покорно пробормотала Эсмеральда.

Клуб молодых коммунистов снимал две комнаты в асбестовом многоквартирном доме в закоулках Фрэнчайза за плату, которую как-то наскребали, несмотря на то что членов было мало. Эсмеральда в этот вечер — как и в большинство вечеров — могла рассчитывать на то, что там никого, кроме нее, не будет. Они шагали по заснеженным тротуарам — из сугробов торчали лишь верхушки счетчиков парковок, белые покровы заледенели, подцвеченные неоновыми вывесками и приглушенно освещенными витринами закрытых магазинов, на которых — даже на витринах ювелирных магазинов — в те безопасные дни не было решеток. В стороне от Торговой улицы тротуары были не везде расчищены, так что в некоторых местах, возле дома, где живет вдова или семья, опустившаяся ниже социальных норм, приходилось идти по блестящим сугробам узенькими тропинками, проложенными сапогами школьников. Кэнди на этот уик-энд уехала с родными кататься на лыжах в Лорентийские горы. Местонахождение КМК можно было установить только по инициалам. Никакого серпа и молота, никакой красной звезды. Пришлось застеклить разбитые окна. Эсмеральда включила отопление. Матрас на полу заменял кровать. Термин «ночлег на одну ночь» еще не вошел в обиход. Тело Эсмеральды, когда она легла голая на лишенный простыни матрас, было того же аспидно-черного цвета, что и ее лицо, ровного, мягкого, сероватого оттенка, растрогавшего его, как и ее узкие бедра и неразвитые груди, — казалось, сперма работорговца, попав в ее кровь, лишила блеска ее кожу и африканской веселой пышности тело. Поднявшись с постели, она словно растворилась, а не засветилась как свеча в темной комнате. Больше всего в этих американских играх Феликсу нравился не обмен слюной и жизненными соками, а то, что происходило после: ритуальная сигарета и посещение кухни, где стоя ищешь, что бы поесть, и видишь свой отыгравший орган, освещенный внезапным светом из холодильника с его полухромовым богатством в виде пивных банок, стаканчиков с йогуртом, мороженых овощей, пакетов с сыром и мясными нарезками и прочей упакованной в бутылки, обертки и капсулы еды. У молодых коммунистов, как в любом студенческом землячестве, имелся запас сладостей, крахмалов и всякой всячины. Хакиму, выросшему на орехах и кашах, эти поиски еды голышом — Эсмеральда приготовила себе сандвич с ореховым маслом и зефиром — напоминали родной дом, скрашивая неприятное воспоминание о трагическом совокуплении. Эсмеральда не дошла до оргазма, а ему мешал насладиться огромный красный плакат с изображением Ленина, с бородкой и в пенсне, глядевшего вверх с яростью ученого, который только что обнаружил свое имя перевранным в сноске. «Она даже не научила тебя трахаться», — сказала Эсмеральда, радуясь, что у нее появилась еще одна претензия к Кэнди, и огорчая любовника намеком на то, что их соитие в столь романтических условиях — всего лишь расширение пропагандистской кампании. И в какой-то мере это сработало: с тех пор он стал благосклоннее относиться к Марксу, поскольку Маркс, словно дедушка, которого не одурачить, по-доброму глядел сверху на ритмично вздымавшиеся ягодицы будущего Эллелу.

Настало время покинуть караван. Кремнистые проходы расширились, и массив стал спускаться к предгорьям Занджа, а еще через недели пути на северо-восток — к юго-западному углу Египта. Мы поблагодарили Сиди Мухтара, дав ему кошель с сотней лю в звонкой монете. Считая, что наши отношения хоть и долгие по времени, но эмоционально не такие близкие, как могли бы быть, я признался, что мы с моей красавицей невестой (столь же любящей, добавил я на плохом берберском, сколь и красивой) заглянули в один из ящиков, которые везет караван, и обнаружили в нем нечто неожиданное. Улыбнувшись так, что стала видна расщелина между его передними зубами и приподнялась бородавка величиной с жемчужину на его ноздре, наш водитель каравана пояснил, кому предназначаются конторские поставки: Ирану.

— Шахиншах, — сказал он, — желает провести модернизацию. Спеша это сделать, он покупает пишущие машинки в Западной Германии и бумагу у шведов, а потом обнаруживает, что только одна определенная катушка подходит для машинок, только один вид зачистки не пачкает бумагу. Тем временем американская техника настолько устаревает, что в Аккре в качестве гуманитарной помощи, когда рушится рынок какао, скапливаются катушки для машинок. Формулу зачистки машинописного текста держат в секрете, и хитрые капиталисты удваивают, утраивают цену, когда шах повышает цену на нефть, чтобы иметь деньги для закупки реактивных истребителей, начинки для компьютеров и камней с Луны. А вот французы, действуя через марионеточные корпорации в Дагомее, добыли эту формулу как часть мультимиллиардного франкового пакета, дивиденды по которому будут выплачены в будущем, и построили фабрику по производству зачисток недалеко от арабских плантаций каучука. В деле также большое количество буры, которую контрабандным образом вывозят через Уагадугу. Теперь Садат согласился дать разрешение перевозить товары через Нил, если шахиншах согласится сделать антиизраильское заявление и купить десять тысяч билетов на шоу «Son-et-lumiére»[[43]](#footnote-43) у сфинкса.

Я не поверил этим путаным россказням жулика, но решил не выказывать моих сомнений. Я повторил, как высоко мы ставим его реджела (доблесть) и дыяфа (гостеприимство), сказал, что его умение прокладывать путь, преодолевая опасности Балака, указывает на близкое знакомство с целями Аллаха, и на прощанье в порядке одолжения поведал:

— Неведомо для себя ты вез под видом двух нищих музыкантов президента Куша и одну из его первых дам. Je suis Ellellou[[44]](#footnote-44).

— Je sais, je sais[[45]](#footnote-45), — сказал Сиди Мухтар, извлекая французский из своего мешка языков; лицо его в улыбке пошло морщинами, как кожа песчаной ящерицы, только что вылезшей из своей норы. — Иначе я убиваю. Мы же видели «бензи», как она ехала за нами, пока горы не стали совсем тяжелые. Супермашина, везет не качая.

— А почему ты убил бы меня? — Я вырос в деревне с ее атмосферой теплых отношений между поколениями и взаимной выручки и, наверное, унаследовал эту способность всегда с удивлением сталкиваться с проявлением подлинного зла в мире.

Третья сторона личности Сиди Мухтара, его сирге (склонность к воровству) охотно выступила на авансцену. И он ответил:

— Чтобы продать мадам йеменцам. Хороших классных черных девчонок с длинной, как надо, шеей и прямой спиной очень трудно найти. Теперь на рынке одни никудышные рабы. По большей части наркоманы из европейских буржуазных семей, опустившиеся подонки, которые ищут безопасности. А йеменцам, саудовцам нужны рабы с умом, которые могли бы работать с электрическими приборами.

Тут я тоже усомнился в том, что он говорил о работорговле, и с недоверием отнесся к ноткам социалистического снобизма, которыми он окрасил свою речь, по-видимому, чтобы понравиться мне. Его люди нагрузили наших верблюдов мешками с сушеными финиками и бурдюками с водой. Мы на прощанье обменялись пожеланиями: «Аллах маак»[[46]](#footnote-46), — сказал я, и он ответил: «Агруб анни»[[47]](#footnote-47). Караван, служивший нам домом в течение стольких лун, задвигался, зазвенел и, вздыхая, исчез из виду в то время, как холодная заря смыла ночные тени и вместе с ними — звезды. Через час мы обнаружили, что мерзавец дал нам вместо воды вино, которое наша религия не разрешает пить, хотя, судя по букету, это было хорошее вино: немало крепкого бордо проникало на наши торговые пути — его привозили из Дакара в качестве балласта в цистернах из-под орехового масла.

Стайки сизых голубей указали нам путь вверх и влево, в пористый район пещер. На этой высоте снова появились краски — сначала в переливчатом оперении птиц, а потом в радужном блеске гладких, словно смазанных маслом, поверхностей нависавших скал. Мы проехали по пастельным пейзажам подобно тому, как прошли с Эсмеральдой по галерее неоновых отблесков, направляясь изменять бледнолицей Кэндейс. Верблюд, на котором ехала Шеба, был любимого ею оттенка азрем — розовато-желтого цвета, переходящего в серовато-коричневый к хвосту и в белый на длинных ресницах, окружавших льдисто-голубой белок. А у меня был буро-коричневый мерин с внушавшим беспокойство усеченным горбом и неприятной привычкой прочищать горло. Подошвы их ног, привыкших к сыпучим пескам, трескались на каменистых тропах, и по мере того, как шли дни, нам приходилось слезать с них и шагать рядом по извилистым тропам вверх, следуя воркованью голубей с коралловыми лапками. Геология была странной. Некоторые вершины были словно вылеплены гигантским капризным ребенком, отчетливо видны были оставленные пальцами вмятины, а края некоторых впадин закруглялись, будто сделанные большим пальцем. Пейзаж, казалось, был создан играючи каким-то идиотом, так как никакой логики не чувствовалось. Рядом с застывшими округлостями — скоплениями исхлестанной дождями лавы двойного погружения, на которых, вопреки законам силы тяжести, высились природные арки и большие камни, балансирующие на более мелких камнях, появлялись расщелины и каменистые осыпи, нелепые по форме, как лом в слесарном цехе. Среди этих трещин и игривого нагромождения камней было множество пещер, а где пещеры, там и рисунки, созданные развлечения ради таинственными пастухами и охотниками Зеленой Сахары. Столетия безмятежного солнечного света не смогли сделать блеклыми их затененные охру и индиго. У диких буйволов между рогов — отметины в виде маленьких кружочков, похожих на съежившийся ореол; охотники изображены со шкурами оранжевого цвета, и головы у них крупные и круглые, как шлемы астронавтов. В глубокой пещере — скачущая богиня с изящными рожками и россыпью зерна между усиками-антеннами, поддерживающими равновесие, вздымалась к сводчатому потолку, а вместе с ней — разбухшие силуэты голых смертных, тоже бегущих, нагруженных и раскиданных, точно листья, сброшенные ветром с дерева. Коричневые, серые, горчичные, перечные, кардамоновые — все цвета нашей африканской кухни использованы со сверхъестественной нервозной точностью примитивистов, все виды скота изображены по мере того, как скотоводство приходит на смену охоте. Именно эти стада, несомненно, способствовали тому, что травяные просторы из зеленых превратились в бурые, потом в пыль, потом в ничто.

Шеба, ставшая тощей, как балерина, в лохмотьях бывшего роскошного костюма, навсегда утратившего цвет, и в замысловатом ожерелье из лазурита, яшмы и кораллов, которое прибыло с берегов, где теплые, как молоко, волны приносят жизнь трепыхающимся морским уточкам, и за время нашего пути постепенно рассыпалось, хотела остаться тут, в прохладной сумеречной пещере, и умереть. На второй день, совершая святотатство, мы выпили данного нам в насмешку вина и соответственно выбросили его из себя. Сухие фрукты застревали у нас в горле, как пепел; ее милый язычок распух, как лягушка в грязи высохшего колодца. Шеба говорила неразборчиво, но я понял, что у нее кружится голова и что там, внутри, у нее точно солнце, источающее боль. Уговорив ее подняться и пройти со мной еще километр, шагая согнувшись и прилагая свои поубавившиеся силы, чтобы тащить ее неспособное к сопротивлению тело, я думал о женщинах, которых уговорил пойти со мной в эту дичь, пообещав им зеленые пастбища любви, превратившиеся в бесплодную пустыню по вине моего мономаниакального честолюбия, моего желания создать страну, — страну, которая явилась бы пьедесталом для меня, для моего патетического «я». Белки глаз Шебы, которые она закатывала в полуобморочном состоянии, стали удивительного золотистого цвета, совсем как в пустой голове, надетой, как шлем, на мумию фараона для *его* полета в космос, — в золотистые глаза были вставлены зрачки из оникса, которые украли.

— «Ублажи меня, крошка, ублажи, ублажи», — замурлыкал я, чтобы вернуть ее к жизни, чтобы эта мумия снова стала влажной налитой девчонкой, которую я встретил в проулках Истиклаля, когда ее изящно обрисованные челюсти ритмично ходили вверх и вниз, жуя колу и кат, а ухо было прижато к транзистору, настроенному на вероломные станции Браззавиля, передающие поп-рок, одно и то же снова и снова.

Я был тогда одет как продавец жевательных резинок, маленьких пакетиков «Чиклетс», которые стоили лю за две упаковки и поцелуй вместо денег. Лишь только я коснулся губ Шебы, как понял, что этот рот для меня. А сейчас эти атласные подушки — верхняя еще щедрее набитая, чем нижняя, — потрескались, кожа по краям трещин почернела, будто обожженная, и с внутренней стороны, ближе к деснам, стала голубоватого цвета, указывавшего на начинавшуюся синюху.

— Мой... господин, — произнесла она. — Разведись... со мной.

— Ни за что, — сказал я и умудрился взвалить ее обмякшее тело себе на плечи.

Я вынес ее из пещеры к верблюдам, которые ждали в безупречной позе, присущей их породе и позволяющей сберегать внутренние ресурсы организма. Но когда я положил мою легкую ношу на седло ее красавца верблюда, накрытое вышитой материей, он сдох. Он даже не повалился на бок, а продолжал сидеть, только голову на длинной шее положил на каменистую тропу и слегка вздрогнул, расслабляя мускулы. Ресницы альбиноса опустились, как подъемные ворота.

«Это что, конец? Ни за что», — произнес я про себя. Все сексуально созревшие женщины у нас в Куше, за исключением тех, что находятся на низшей ступени социальной лестницы, носят кинжал, чтобы поразить себя в сердце, если будут обесчещены, прежде чем насильник удовлетворит свое желание. У моей матери — увы! — не было такого оружия, а у Шебы было. Я достал кинжал с лезвием из дамасской стали и рукояткой из полированного халцедона, спрятанный в складках одежды на ее груди, и вспорол живот мертвого верблюда, чтобы мы могли выпить находившуюся там солоноватую зеленую жидкость. С помощью этой жидкости я вернул Шебу к жизни: она вздрогнула и заплакала, а когда силы немного вернулись к ней, принялась меня ругать самыми грязными словами, которые так легко слетают с уст даже наиболее хорошеньких представительниц молодого поколения. Видя, что она вновь обрела жизнеспособность, я погрузил наш багаж на единственного оставшегося у нас верблюда, моего «коня» грязно-серого цвета с ногами горничной и спиной курильщика. Он принял на себя вес Шебы — Такбир! — а я пошел с ним рядом.

Сквозь прорези и проемы, проделанные ветром, открывалось окутанное дымкой море песка так далеко внизу, словно на другой планете. Смотрел я на запад, в направлении долины ущелья Иппи, которая тянется с севера на юг по центру моей большой страны. Ближе в обзор попадал окаменелый лишайник, серебривший относительную влажность некоторых затененных мест, и какие-то карликовые разновидности колючего кустарника украшали низ выступов. Слегка менялась и наскальная живопись: земляные мазки цвета охры и мастика из угля уступили место технике покрытых налетом завихрений основных цветов, распыляемых из банки. Вместо магических фигур исчезнувших анималистов Зеленой Сахары появились свастики, стилизованные половые органы и всякие разнообразные формы — кресты или стрелы, обведенные кружком, или что-то вроде самолетов в кружке. Некоторые иероглифические надписи можно было прочесть: РАКЕТЫ КЛАССА 55, БЫТЬ ГОЛУБЫМ — ЭТО ЗДОРОВО, REVOLUTION AHORA[[48]](#footnote-48), QUÉBEC LIBRE[[49]](#footnote-49), ЕРУНДА, ЖИРНЫЙ ГОРОД. Буквы в последних словах тоже были жирные — такой стиль вообще преобладал. Многие надписи были перегружены: вместо СТОП было написано: СТОП ВОЙНЕ. Некоторые надписи были сплошным безумным смешением красок, исключавшим прочтение, даже если бы мы с Шебой испытывали желание этим заняться, а его у нас не было. Дело в том, что от верблюжьей желчи, которую мы выпили, нас тошнило. Лицо Шебы стало серым, как картон, которым прокладывают стопы свежей бумаги. Я тоже на такой высоте, где ощущался недостаток кислорода, под вертикальным взглядом полуденного солнца не мог больше сделать ни шагу по этой свинцово-серой планете. Мы наполовину на карачках, наполовину ползком добрались до грубо обтесанного входа в пещеру, представлявшую собой своего рода будку перед подземной системой, в чьих глубинах — если меня не обманывали обоняние и слух — продавали мерзлые цветы и играли в китайский бильярд.

Верблюд вошел вместе с нами и первым заснул. Затем Шеба погрузилась в небытие — ее головка, это маленькое вместилище преданности, покоилась на моем плече. А во мне шевелился зеленый демон тошноты, не давая уснуть: когда мои глаза привыкли к тьме, я увидел, что наше прибежище, а скорее всего — могила, было некогда приютом любви и осталось мемориалом любви. На противоположной стене надпись оповещала: ТЕКС ЛЮБИТ РИТУ, и на этой же стене, а также на примыкающих к ней многие другие имена привлекли мое внимание скоплениями обреченных на вечные муки; не все они были написаны прямыми буквами алфавита, который империалисты-римляне внедрили в Европе, многие были выведены нашей несравненной арабской вязью, иные — коренастыми буквами святого Кирилла, цветочками греческого алфавита, деловитыми, похожими на ростки бамбука, азиатскими взмахами кисти и броскими прямолинейными знаками тиффинагов, которыми тамачеки пишут по песку. Столько имен, столько любви, столько криков на краю petite mort[[50]](#footnote-50), столько спермы, — меня затошнило, и кровь отлила от головы. Но прежде чем в ритме дыхания Шебы я погрузился в сон, который мог быть нашим последним, я заметил на скале над ее головой нестираемую надпись: СЧАСТЛИВЧИК ЛЮБИТ КЭНДИ.

— *Что* сказал твой отец?

— Он ведь много о тебе не говорил, нет. А вот вопросов он задавал много, ты очень заинтересовал его. Он считал, что ты мог бы открыть ему секрет, почему черные такие, какие они есть, почему они не любят нашу страну так, как любит ее он.

— Его страна и их страна — это разные страны. Они так же непохожи, как Рай не похож на Ад.

— *Я-то*, Счастливчик, это знаю, можешь не спорить со *мной*. Я просто стараюсь на минуту стать на *его* место. Бог ты мой, до чего же ты стал раздражительным!

— Хандра перед расставанием, — счел возможным сказать он голосом тоскующего любовника.

Снег растаял, снова замерз и наконец сошел в последний из четырех раз, когда он мог наблюдать этот красивый переход к потеплению в Северной Америке, — подходило время выпуска.

— И *придирчивым*, — докончила свою мысль, ничуть не смягчившись, Кэнди. — Порой ты говоришь ну прямо как Эсмеральда. Ты с ней недавно трахался?

Хаким промолчал. Он понимал: если заверить ее, что он не спал с Эсмеральдой после того, как Кэнди с тем поразительным чутьем, какое существует у белых женщин, когда нарушаются их права собственности, вынюхала это и заставила его признаться, значило вызвать к жизни в более ярких красках этот гибельный проступок и вновь пережить гиперболический гнев и горе Кэнди. Ее реакция поразила, а потом напугала его. Он ненамеренно выпустил на волю источник страсти, человеческую силу, неведомую в Африке. В деревне кусты каждую ночь сотрясались от совокуплений. Он обнимался со многими предыдущими любовниками Кадонголими. С Эсмеральдой был эпизод, не причинивший боли, поучительный, более здоровый, чем лишняя кружка пива, и, в общем, меньше затронувший его нервную систему, чем, скажем, посещение ее отца-дантиста. Право же, Кэнди слишком строго наказала его за эту прогулку по снегу: обильные слезы, которые она по этому поводу пролила, высохнув, привели к бесконечному сарказму, в голосе ее появились оскаленные клыки. Эти тубабы действительно полны яда — теперь ему легче было понять У. Д. Фарда, утверждавшего, что от этих голубоглазых животных, как только они народились, следует избавляться, эту расу злобных, воющих волков надо загонять в ледяные пещеры Европы. При мысли о его неверности на лице Кэнди появлялось волчье выражение. Губы пересыхали, глаза становились безжизненными, холодными и маленькими. И она принималась говорить о жертвах, которые принесла ради него. Вся ее жизнь, казалось, была погублена вливанием его спермы. Однако, как это ни парадоксально, ни капли этой спермы не должно быть пролито вне ее тела. У нее были права. Она подвергла себя большой социальной опасности. Она, она.

Она сказала ему:

— Я больше не могу тебе доверять. Вы можете в любое время нырнуть вдвоем в кусты. У вас столько общих чудесных вещей. Вы оба ненавидите белых. Вы оба живете в одном ритме. Уверена, что вы говорите обо мне, да? Вы называете меня Розовопалой.

— *Прошу тебя*, — сказал он: ему было стыдно за нее. Она этого не заметила в своем стремлении пристыдить его.

— Ты не находишь ее костлявой? — спросила она. — И педанткой? И... в общем, *скучной* ? Словом, не совсем средний класс! А папаша, который, только представь себе, сколько просверлил зубов!

— В противоположность твоему, который сколько продал полисов!

— Можешь до предела издеваться над папой, но он ради мамы или меня что угодно сделать готов. Если надо будет, он и убьет ради нас.

— Или просто ради удовольствия.

От слез у нее покраснели веки. Она крепко обхватила руками его шею, гордясь своими слезами, своим жарким дыханием, опалявшим его.

— Счастливчик, это так не похоже на нас. Что пошло не так?

«Ты пошла не так. Ты должна отступиться». Но он не произнес этих слов вслух, лишь терпеливо снова спросил:

— Что в точности сказал твой отец?

— Он был ужасен, — всхлипнула она. — Просто ужасен.

Прижав ее к себе, он вспомнил, как в солдатский отпуск он, молодой муж, которому только-только исполнилось двадцать лет, держал, прижав к груди, одного из детей Кадонголими, родившегося во время его годовалого отсутствия, как похлопывал по спинке, чтобы утишить колики, его внутренних демонов, и как младенец срыгнул, а женщины, окружавшие его сплошным кольцом, возблагодарили Всевышнего за этот слабый звук. Так и Кэнди ждала, чтобы ее поблагодарили за слезы.

— Он сказал, — с трудом выжала она из себя, — что убьет тебя, если ты попытаешься на мне жениться.

— Жениться? А что ты на это сказала, дорогая?

— Я сказала... — Вздрогнула, судорожно глотнула, всхлипнула и произнесла: — ...ему все равно не остановить нас — мы сбежим.

Лежа с Шебой, Эллелу вертелся во сне, одежда под ним скрутилась, прихватив с собой белую пыль с пола пещеры, образовавшую шишки. Сквозь сон он чувствовал эти шишки и тело Шебы, пребывавшей в забытьи, но время от времени принимавшейся, как он, вертеться, — они были словно два каркаса, вращающихся на параллельных вертелах, соприкасающихся с шуршаньем, испытывающих голод и жажду, рожденных иссушенными органами, которые уже не чувствуют боли. Однако это состояние, на которое не действуют ни масса внезапно появляющегося света, ни краски, ни взаимосвязь явлений, составляющая бессмертное сознание Эллелу, не стирало существования лежащей рядом женщины с ее запахом, печалью и теплой кожей под одеждой, которая за время путешествия по Балаку выцвела, словно от стирки в чересчур горячей воде. В его сонном мозгу присутствовало сознание, что он должен быть благодарен ей за то, что она сопровождает его, хотя ему, как марксисту, следовало бы считать, что у нее не было иного выбора: либо сопровождать его, либо бродить нищей по улицам. Но что это, если не нищенское существование — этот путь по кремнию под звездами, а теперь смерть в пещере, усеянной презервативами и салфетками «Клинекс», равно как и другими свидетельствами помойки любви? Во сне Эллелу выросла арка жалости и горестной благодарности к этому созданию, появившемуся из его ребра, к его напарнице, и криптой накрыла тело Шебы, ее податливые губы, ее иссиня-черный лоб, гладкий и округлый, словно кафельный купол. Тут в нос ему ударил запах водки, а губами он почувствовал воду.

— Проснись, черножопый! — мне в ухо прокричал тарги, и моей первой мыслью, когда я очнулся, было, что это, наверное, русские, которые украли голову короля, ибо только они могли быть настолько антропологически тупоумными в своей любвеобильной изолированной культуре и безбрежных территориях и не знали, что туареги — исконные враги Ванджиджи: они порабощали приречное королевство, когда были сильны, и отступали в пустыню, когда слабели.

Туареги считали нас рабами, а мы их — дьяволами, дьяволами пустыни, которые воют, как харматтан, и закрывают материей рот, потому что у них нет челюстей и их мерзкие, жестокие крики вырываются прямо из дырки в горле. У туарегов, пришедших мне на помощь, были замотаны рот и нос, — видны были лишь светлые волчьи глаза и слышен приглушенный голос.

— Эта черная девка — ничего живчик, а?

— Спокойно, у них у всех сифилис.

Они обменивались этими замечаниями так, будто у меня нет ушей. Один из них был в очках в стальной оправе, и, когда его товарищи увидели, что я проснулся, он обратился ко мне на арабском, принятом в Ираке, и, попав в затруднение со словарем, перешел на сентиментальный французский.

— Поднимайтесь, господин президент! — воскликнул он, справившись с языками. — Вы почти подошли к концу вашего путешествия! Дорога стала легче! *Да здравствует* Куш! Vive le peuple et la fraternité socialiste et islamique! Écrasez l'infâme capitaliste, monopolisé et trés, trés décadent![[51]](#footnote-51)

Несколько туарегов с бесстрастными незавешенными лицами и синими запястьями и щиколотками мыли Шебе ноги и расчесывали волосы. Хотя моя дорогая девочка слабо улыбнулась мне, веки ее свежеподсурмленных глаз то и дело невольно закрывались.

Это правда: дорога вверх стала легче. Ближе к вершине она была менее крутой, и там, где тропа могла показаться непроходимой, была проложена полоса асфальта, достаточно широкая, чтобы по ней могла проехать тележка для игроков в гольф, а со стороны пропасти сделано заграждение из выкрашенной в зеленый цвет трубы. Желтые надписи предупреждали: «СЫПЛЮТСЯ КАМНИ» и «ПРОХОД СЕРНОБЫКОВ», другие уведомляли о приближении к ПЕЩЕРЕ ОРАКУЛА, ГОВОРЯЩЕЙ ГОЛОВЕ и по-русски к МАВЗОЛЕЮ ЭДУМУ ЧЕТВЕРТОГО. Мой старый бурый багажный верблюд, которому дали баррель украинского проса (а может быть, небрасского сорго?), чуть не танцуя, шел на своих тощих ногах, неся роскошное маленькое тело Шебы, которой потихоньку кто-то дал несколько орешков колы, и она их жевала, погружаясь в экстаз. Я чувствовал себя как человек, еще не вполне оправившийся после очень глубокого сна: физически я спешил, чувствуя, как от ожидания усиленно бьется сердце, а духовно бродил в тумане, пытаясь найти причину смутного сознания вины от чего-то недоделанного, чего-то грозящего бедой. Дорогу, наспех проложенную по розовым скалам и пропастям, пересекал недавно проложенный фуникулер. Место пересечения, помеченное крестиком, вызвало у меня в памяти что-то неприятное, о чем я все время старался забыть.

— Ты рехнулся, — решительно, убежденно сказал Оскар Икс, точно произнося заученную речь. — Посланец называет таких, как ты, черным человеком с головой белого. Человече, ты чего-то грустишь. Ты зловредный, и ты грустный. Я умываю руки: снимаю с себя ответственность за тебя. И хочу выбросить тебя из головы. Ана ля аарифука[[52]](#footnote-52). Народ ислама на тысячу процентов против того, что ты затеял. Смешение рас — это преступление против чистоты. Слово Господне недвусмысленно объявляет: лучше пусть черный мужчина спарится с ленивой, вымазанной в дерьме свиньей или с самкой крокодила, чем позволит белой дьяволице завладеть его черным пенисом.

В образах этого приговора Феликс усмотрел наспех сделанную подсечку, издевку. Но не увидел на лице Оскара издевки или сострадания. Ты перестаешь узнавать людей, когда они заходят за завесу веры. Он сказал:

— Ты же знаешь Кэнди. Ты любишь ее.

— Я терплю ее, — сказал Оскар. — Но я никогда не любил ее. Она отпрыск тех, кто нас порабощает, кто плюет на нас, когда пожелает. Эта женщина плюет и на тебя, а у тебя не хватает смекалки вытереть свое проклятое лицо. — Он глотнул овальтина, и на губах у него осталась пена.

Малыш Барри попытался прийти на помощь Феликсу.

— Ее вырастили слишком чистенькой, — сказал он. — Ей надо немного опуститься, но она не хочет вымазаться в настоящей грязи. И вот она в темноте рассказывает себе сказку. Она представляет себе тебя одновременно сутенером и клиентом. Так эти благополучные девчонки из высших слоев общества доставляют себе удовольствие, и ты тут ни при чем. Принимая это на свой счет, ты глубоко ошибаешься. Я не говорю, что белые и черные не могут жить вместе, они *вынуждены* жить вместе. То, что черные должны держаться своего народа, о чем без конца твердит Элиа Пул, — это же чистый бред. Но в данном случае, имея в виду тебя и маленькую мисс Каннинхэм, я говорю: это будет полнейший бред. Ты не знаешь Америки, а она не знает Африки.

— Возможно, мы знаем друг друга.

— Вы знаете друг друга в темноте, — сказал Барри. — А что вы увидите на свету? Ее мамочка — тряпка для мытья посуды, а ее папочка — деревенщина, который поджарит тебя, если найдет нужную кнопку. Поцелуй ее и простись — ты окажешь этим услугу и ей, и себе. Я не говорю о черных или коричневых, — я просто говорю с тобой. Если бы вы с ней были оба зеленого цвета, я бы все равно сомневался в объединении вас как людей.

— Слепым к цвету быть нельзя, — вставил Репа Шварц. — Такого не существует.

— Вы все говорите с парнем так, будто у него есть выбор, — возмутилась Эсмеральда. — Если у него и был выбор, теперь выбора у него нет. Ему его навязали. Он увяз выше головы и уже не может сказать «нет».

— Садись на самолет в Тимбукту — вот и будет «нет», — сказал Репа.

Феликс чувствовал себя загнанным в угол, затолкнутым туда в деловитой американской манере. Его возмущала их попытка заставить его раскрыться и вмешаться в его судьбу, в планы, которые он выращивал; не мог же он объяснить им, что все те истины, которые они выдвигали, были осторожно учтены в его плане, включены в его хитроумно построенный бюджет, так что в конечном счете все будет сбалансировано. Кэнди, правда, навязалась ему и увлекла его, но мы способны заставить себя выйти за свои пределы лишь чуть-чуть, а в остальном вынуждены вести игру с силами, которые пытаются на нас воздействовать. Феликс в упор посмотрел на Оскара и сказал:

— Я читал Книгу книг, как рекомендовал Посланец. «Женщины — это твои поля, ну и иди в свои поля, если тебе хочется».

Оскар поморгал и ответил цитатой:

— «Не сочетайся браком с язычницами, если они не твоей веры. Верующая рабыня лучше идолопоклонницы, хоть она и может пленить тебя».

— Господь сохрани нас, — произнесла Эсмеральда.

В двери закусочной показалась Кэнди — даже издали, сквозь дым и звон посуды, будущий Эллелу заметил, что она плакала. Новые неприятности с родителями, или с Крейвеном, или с какими-нибудь другими белыми лекторами. Она, стесняясь, подошла к их черному столу, чувствуя, что и тут ее недолюбливают. Тем не менее в честь весны она надела желтый свитер и белую плиссированную юбку. Феликса, словно приливной волной при появлении луны, приподняло со стула.

Разозлившись, Оскар Икс вскочил с места.

— Не желаю я больше заражаться, — объявил он так, чтобы все слышали, — общаясь с клоунами-полукровками и лакеями обреченной расы дьяволов. — А Феликсу повторил, четко выговаривая слова, точно отрепетировав: — Ляанату Аллаху алейка[[53]](#footnote-53).

И ушел, забрав с собой Второй храм и Третий храм, веселые совместные поездки, Братство. Словно волна горячего воздуха ударила в лицо Феликса от его проклятия, — впервые он это почувствовал в детстве, узнав, что у него не было отца. И этой горячей волной был Аллах. Аллах — это суть вещей, невозможность их изменить. Друзья наши все для нас умирают, некоторые еще прежде, чем мы родились.

Давайте на минуту отступим на тонкую почву психоисторической гипотезы. У нашего молодого героя (не такого уж молодого в глазах его шумных советников: к 1958 году он подходил к двадцати шести годам) была жажда абсорбции, которая побуждала принимать то, что должно было бы его отталкивать: он увез из Соединенных Штатов не только испуганную Кэнди Каннинхэм в голубом льняном костюме, но и Народ ислама, воспринятый им как некий вариант бежевого идеализма, состоящего из смешения суровости, ксенофобии, порядочности и изоляционизма. Подобно тому как иммигранты, поселившиеся в Новом Свете, сохраняют в местах своих этнических поселений народные танцы и кухонные рецепты, которые уже давно отошли в прошлое на родине, Эллелу придерживался иссохшего стилизованного варианта веры, от которой отошел в середине шестидесятых Оскар Икс, когда скандалы, связанные с сексуальным блудом Посланца (от него забеременели не одна, а две секретарши!), привели к кровавому исходу — на 166-й улице Западной стороны Нью-Йорка был убит его шеф-министр раскольник Малкольм. Так что Народ ислама был просто еще одной преступной шайкой. Разочаровавшийся Оскар поступил стажером в чикагскую полицию и с ненаигранным энтузиазмом помогал топить длинноволосых демонстрантов во время съезда демократов в 1968 году, а в это время его отринутый брат разжигал революцию, которая сбросила Эдуму IV и принесла в Нуар, переименованный в Куш, исламский социализм.

Теперь дорога была уже везде заасфальтированной, на ней валялись порванные бумажные билеты и обертки от фруктового мороженого. Вокруг нас кружили голуби — они трепетали и важно вышагивали, но не отлетали, объевшись раздавленным жареным картофелем и просыпавшейся кукурузой. Первыми, кого мы увидели, были китайцы — небольшая группка официальных визитеров в голубовато-серых пижамах со множеством карманов и в очках массового производства с проволочной оправой (и наверняка с одинаковой диоптрией), покоившихся на их толстых щеках в то время, как они, оторвав взгляд от путеводителей, смотрели с улыбкой, прищурясь, на что-то наверху, что было еще не видно нам. Мы вышли на них из-за поворота, и, словно увидев еще одно специально припасенное для них местное чудо — запыленного переодетого президента и его одуревшую от наркотиков, восхитительную компанию, шедшую пешком и ехавшую на верблюдах, китайцы в едином порыве покорно повернулись и, поморгав, перенесли все свое внимание на нас. Судя по всему, они были потрясены, когда усталый верблюд направился прямо на них, презрительно выпятив нижнюю губу, и заставил их расступиться и сгруппироваться по краям дороги. Они принялись обмениваться шутками на своем забавном птичьем языке.

Как эти конфуцианцы попали сюда? Ответ на этот вопрос ждал нас за следующим поворотом дороги, за которым обнаружилась стоянка, очищенная от взорванных пластов, и на ней — шесть или семь больших туристических автобусов, одни — полосатые, как зебры, другие — пятнистые, как жирафы. На их боках значилось название занджского туристического агентства, того самого, которое в других направлениях показывает изумленным чужестранцам сквозь дымчато-голубые стекла окон, погружающих нашу Африку в вечный полумрак, океаны стад на танзанийских лугах, высеченные в скалах соборы Лалибелы, неисчерпаемые соляные копи низины Данакиль и прочие суровые чудеса этого континента, самой впечатляющей чертой которого является отсутствие Человека. Для таких автобусов граница с Занджем была недалеко, и предприниматели явно не встречали тут препятствий. Надо мне создать их.

— Закрою границу, — сообщил я Шебе. — Это же бестактно.

— А по-моему, это к лучшему, — протянула она из своей отключки. — Можно еще лимонаду?

Мы были постоянными покупателями в киоске с прохладительными напитками, в котором хозяйничал изгнанный из племени джерма, продававший шипучее питье всех цветов.

— Вся утлая экология Балака, — сказал я ей, — истощена.

— Там еще много осталось, — заметила она.

— Достаточно одного микроба, чтобы убить гиганта, — пояснил я ей. — Я за это шкуру спущу со старика Комомо.

Вамфумель Комомо — пожизненный президент Занджа: рост — шесть и шесть десятых фута, вес — триста семьдесят фунтов. Он носил (и до сих пор носит, но для моего спокойствия оставим это описание в прошлом времени) ослепительные одеяния, каждый рукав которых был такого сложного рисунка, что швеи лишались зрения, и корону из позолоченного черепа оскаленного гепарда. Самое скверное: он любил флиртовать. Этому научили его англичане. Они флиртовали с ним: захватили в плен, когда он возглавлял партизан, посадили в тюрьму, объявили о казни, а потом, когда стали вздыматься волны свободы и они вынуждены были убраться восвояси, Комомо вдруг сделали президентом в обмен на обещание не сгонять белых поселенцев с плодородных земель и с небольшого морского побережья. В территорию Занджа был включен жалкий порт на Красном море, — так ребенок, глядя в сторону, протягивает пальчик и дотрагивается до мокрой краски. Основная территория Занджа была столь же неплодоносной, нерентабельной и величественной, как Куш. Но старик Комомо с его живописными регалиями в виде шкур диких кошек, декоративными оторочками и военными медалями менее значительных европейских стран без устали флиртовал с международным сообществом: пригласил американцев построить ему завод по опреснению воды, а затем выгнал их; пригласил русских обучать его воздушные силы, а потом прогнал и их; он доил даже австралийцев и постсукарновских индонезийцев, прося о помощи в виде строительства шоссе, завода по переработке фосфатов или трансляционной антенны в милю высотой. Теперь его любимцами были китайцы, тянувшие ему железную дорогу из его паршивого маленького порта в дурацкую новую столицу Занджомо, которую он распорядился построить в глубине страны в прославление Комомо; планировка улиц в ней была заимствована у барона Османа, правительственные здания скопированы с фотографий забытых всемирных ярмарок, а главным украшением должен был служить бронзовый сталагмит с изображением хитрого лица Комомо в подражание «Бальзаку» Родена, который скорее всего лишь на неделю переживет свою модель, так как к тому времени зять и соперник старого любителя пристраивать родственников уже расплавит этот монумент на пули. На древней одежде Комомо не было ни складочки, не украшенной за счет приватных доходов, которые он взимал с корпораций тубабов так же беспечно, как его предки, вожди каннибалов, взимали дань с арабских работорговцев; флиртовал он и со всеми слоями населения своей страны, появляясь в страусовых перьях в степной деревне и в каске — в копях, где добывают магнезию, утихомиривая африканцев с помощью налога на лавочников-индусов, а поселения азиатов с помощью публичных чтений «Упанишадов»[[54]](#footnote-54), уравновешивая свои осуждающие выступления против Яна Смита и по-прежнему привилегированного Клуба атлетов Занджа фотографиями, на которых он целуется с заезжим дьяволом или местным «землевладельцем» и «бизнесменом», громко, с тщательно взвешенными децибелами прославляя «чистоту племен наших великих африканских масс» и «полнейшую непредвзятость нашей конституции по части цвета кожи». Американской прессе нравился этот искусный клоун — на ее фотографиях он походил на негатив Санта-Клауса. А теперь Комомо затоплял мою чистую, нищую, но гордую страну автобусами, набитыми живностью в виде третьеразрядных чу-шмо, немецких фотографов-энтузиастов, английских старых дев, выискивающих, чем бы поживиться, болгар, любопытствующих датчан, итальянских археологов и помешанных на путешествиях американских студентов, которых родители, пропойцы и адюльтерщики, подбивают уехать из дома и дать капитализму спокойно умереть, — и все это ради того, чтобы посмотреть на мертвую голову в мертвом центре Дурного края.

За следующим поворотом дороги я почувствовал жжение в руке от узды — так натянул ее мой нагруженный верблюд, вновь обретя жизнеспособность, — и увидел полихромовую, полиглотную группку, столпившуюся у входа, видимо, в пещеру. Она походила на витрину универмага, искусственную и плохо оформленную, опрысканную зелеными блестками. Говорят, что Бог спешил, создавая эти Балакские горы. Говорят также, что короли Куша, изгнанные из Мероэ христианскими ордами Ахума, возможно, направились сюда, возводя по пути города, едва отличимые от скал. Или же — третья вероятность — не отличающиеся тонкостью Советы, выбрав это место для того, чтобы поливать грязью неподкупного президента Куша, со свойственной им тяжеловесностью соорудили нечто напоминающее столь дорогие их сердцу бетонные конструкции с куполами и парапетами.

Один из курсов, которые доктор Фредерик Крейвен читал на факультете управления колледжа Маккарти, назывался «США и СССР: два заблудших ребенка просвещения». Другой — «От Платона до Паунда: тоталитаризм как прибежище великих умов». На его семинарах «Деятельность бюрократии во время политических кризисов» присутствовал сардонический душок, когда изучались оригинальные документы, такие, как судебные приговоры за мелкие преступления, штрафы за нарушения уличного движения во время Французской революции и доставка почты во время американской войны между штатами. «Слабая или сильная президентская власть от Филлмора до второго Гаррисона?» — тут была изложена парадоксальная точка зрения: в американской истории-де мало что изменилось бы, если бы вместо этих фигур были избраны их оппоненты, и что среднему человеку лучше жилось бы при Пирсе и Гранте, чем при Линкольне. Он читал также единственный курс, касавшийся Черного континента: «Живучесть идеала фараона в Суданских королевствах с 600 до 1600 годов». Феликс и Кэндейс вместе посещали этот курс — то, что они сидели на лекциях рядом, доставляло боль лектору. Ведь Кэнди была одной из «любимиц» Крейвена. Сообразно пагубной тенденции американских интеллектуалов он с возрастом становился все интереснее, и хотя его по-юношески стройная фигура раздалась, он не утратил юного вида; поджарый благодаря теннису и загорелый благодаря плаванию на яхте весь сентябрь по небесно-голубой загрязненной поверхности озера Тиммебаго, он со временем создал целый вертикальный гарем из выпускниц, от которых он избавлялся по окончании ими колледжа даже без прощального приданого. Кэнди, судя по всему, в какой-то перерыв или период истощения своей изнурительной связи с будущим Эллелу попала в число наложниц Крейвена и возобновила с ним отношения, когда молодой африканец — по понятным для всех, кроме нее, причинам — заколебался или вяло реагировал на ее призыв «определиться», что означало тайный побег, двоеженство и, как ему казалось, арест и тюрьму в Америке. Однажды теплым днем в середине царствования Дуайта Эйзенхауэра Крейвен пригласил черного студента в свой кабинет, уютную пещеру, уставленную по стенке серыми правительственными справочниками и пропахшую своеобразным сладким трубочным дымом, который, теша свое самолюбие, испускал Крейвен. Он предложил Феликсу расположиться на низком диване, служившем ему для обольщения, но молодой человек, державшийся с достоинством, сухо и настороженно, предпочел жесткий стул, все сиденье которого, кроме краев, занимали синие экзаменационные брошюры. Наступил конец семестра.

— Хаким Феликс, — начал профессор, явно полагая, что такая форма обращения соответствует русскому отчеству, — позвольте мне начать с признания, что я слегка разочарован вашей экзаменационной работой. Вы оперировали заранее подобранными фактами, но, если позволите, вы, похоже, меньше чувствуете нутром африканские идеалы, чем некоторые белые ребята нашего курса из зажиточных семей. Мисс Каннинхэм, например, написала эссе о родстве, читая которое я чуть не прослезился.

Студент передвинулся ближе к краю на перегруженном стуле.

— Африка большая. — Ничего лучшего он не мог придумать, чтобы оправдать свой курьезный провал. — А кроме того, французы не поощряли нас иметь свои идеалы, они стремились внедрить собственные.

— Ну, — быстро снизошел Крейвен, со смаком посасывая трубку и выпуская голубой столб сахаринового второго «я», — я далек от того, чтобы объявить африканца неафриканцем. Строго говоря, ничего неверного в вашей работе нет, просто есть у меня ощущение, что чего-то недостает.

— Возможно, в этом и заключается африканский ингредиент.

Крейвен стиснул бледными, чересчур подвижными губами янтарный мундштук трубки. Он не получал удовольствия от чужих нешаблонных умозаключений.

— Я пригласил вас, впрочем, не за тем, чтобы говорить об этом, а за тем, чтобы, право же, пожелать вам всего хорошего. Можете поделиться со мной своими планами, Феликс?

— Я планирую вернуться к себе, сэр. Иммиграционные чиновники США не слишком были рады моему статусу здесь, хотя колледж был либерален ко мне и оказывал поддержку. В Нуаре в результате декларации Ги Молле loi-cadre[[55]](#footnote-55), изданной два года назад, король Эдуму снова посажен на трон, — на трон, который, строго говоря, он никогда прежде не занимал, — и он объявил амнистию политическим преступникам при колониализме. И теперь, когда де Голль предложил территориям либо внутреннюю автономию с французской помощью, либо полную автономию без помощи, похоже, наступает новая эра и я смогу поступить на военную службу и без страха служить новому отечеству.

— Политики не бывает без страха, — сказал Крейвен, — как не бывает организации без принуждения. Тем не менее желаю вам всего хорошего. Могу я спросить: а вы не боитесь, что за эти четыре года утратили контакт с реальной жизнью вашего народа?

— Как показывает ваш экзамен, — утратил. Не знаю. Я подозреваю, что Америка сотрется в моей памяти, как стираются даже самые яркие сны, в любом случае жизнь не стоит на месте, и мой народ находится в процессе трансформации. Возможно, я сумею помочь ему в этом.

— Возможно. — С трубкой началась еще более сложная игра: Крейвен стал вытряхивать из нее табак, и янтарный мундштук заплясал в одну, в другую сторону, потом Крейвен продул ее и быстро реанимировал это маленькое орудие наслаждения. — Только вот сотрется ли так быстро из вашей памяти Америка, если вы возьмете частицу ее с собой? Живую частицу. Вы знаете, кого я имею в виду.

— Знаю и полагаю, что вы беспокоитесь о моем политическом будущем. Прошу не тревожиться. У нового президента Сахаля, своего рода поэта, жена — minette[[56]](#footnote-56) из Лиона. Могущественный Сулейман, как вам хорошо известно, сделал королевой Рокселану, свою супругу русской крови с более светлой кожей, чем даже прелестная блондинка миссис Крейвен, которой, я надеюсь, вы передадите мой прощальный привет.

— Передам, — произнес он против воли тоном, говорившим о нарушенных брачных обетах.

— Различия в оттенках кожи, — мягко продолжал тянуть свое студент, — безусловно, не главное в мире, который, согласно моим профессорам — и прежде всего вам, — должен слиться в нечто единое, чтобы не подвергнуться ядерному уничтожению. Я приехал сюда наивным юношей, жаждущим познаний, и частью моей науки в Америке было то, что я влюбился, — да и как могло быть иначе? В этой стране вещают о любви с легкой руки Джонни Эпплсида.

— Как бы то ни было, — Крейвен изрек одно из своих любимых выражений, дававшее ему время обдумать определенное место в предстоящей лекции, — в данном варианте, будучи вынужденным сентиментальным экзогамистом, я, откровенно говоря, вижу мало хорошего. Женщина — избалованная, упрямая невропатка, слишком молоденькая, чтобы знать, чего она хочет. Вы старше ее, уже имеете определенный опыт, хотя порой то, что вы описываете, мне кажется, немного отзывает вымыслом. Почему вы не можете быть, например, американцем из, скажем, Детройта, перенявшим французский акцент и чопорность африканца? Это объяснило бы, почему в своей экзаменационной работе вы проявили так мало понимания — назовем это — сути проблемы.

— А может быть, понимания не хватает у педагога? Африка — это ведь не только деревянные барабаны и песчаные дюны, у нас есть города, у нас есть история, которую вы взялись нам преподавать. У нас есть языки — их куда больше, чем на любом другом континенте. Мы — тигель, содержимое которого не перекипит, если в него добавится еще одна женщина кавказской расы. Мне кажется, у вас сложилась в уме некая идея — представление о черных: вы смотрите на меня и видите эту идею, а идеи не спорят, идеи не жаждут чего-то другого, непохожего, идеи не увозят профессорский — как это называется у вас в комиксах? — «улов».

— Вы так говорите, будто вы ее похищаете. А впечатление, которое создалось у меня от разговора с вашими друзьями, mon bon Félix[[57]](#footnote-57), такое, что похищают вас.

— Если под моими друзьями вы подразумеваете Эсмеральду и Оскара, то у них своя точка зрения, свои причины для зависти и ехидства. Я, право, не понимаю, почему вы утруждаете себя запугиванием студента, вмешиваясь в его личную жизнь. Если у вас есть притязания на мисс Каннинхэм или альтернативное моему предложение к ней — валяйте, действуйте; если же нет — разрешите ей молча влиться в ряды ваших замечательных бывших студентов.

— Ваше благополучие заботит меня не меньше, чем благополучие Кэнди.

— Разрешите вас спросить: будь я швейцарцем, или шведом, или светлокожим тибетцем, вы бы тоже обо мне заботились? И даже если бы вас заботило мое благополучие, стали бы вы вызывать меня, как мальчишку-чистильщика, наложившего на обувь не того цвета крем?

— Меня обижает ваше искаженное толкование моих высказываний. Среди моих друзей — люди самой разной расовой принадлежности. Я активно поддерживал движение за гражданские права задолго до того, как это стало модно. Я член и основатель Комиссии по справедливому расселению. Вопрос не в том, что вы — черный, а она — белая. Вы ничему здесь не научились, если считаете, что это так.

— Мое обучение здесь было странным, — сказал Феликс Крейвену, с ненавистью глядя на сухие, преждевременно поседевшие волосы тубаба, на его широкие мягкие губы, похожие на двух бескровных жирных червей, на самодовольное выражение вечно молодых глаз. Этот человек, подумал африканец, плавает по черным водам страданий мира, и будущий Эллелу заявил: — Ваши предупреждения насчет меня и Кэнди не являются полнейшей глупостью. Тем не менее я забираю ее с собой.

— Почему, черт побери?

— По крайней мере по двум причинам. Потому что ей этого хочется и потому что вам — нет. Она просила спасти ее, вырвать из больной сладости ее жизни в этой болезненно богатой стране и переместить в менее поврежденную среду. И хотя вы все, черные и белые, откажете ей в этом, я ей это дам. Я дам ей свободу в духе ваших героев в напудренных париках, с нарумяненными лицами, ваших отцов-основателей. «Свобода или смерть», — провозглашаете вы из своей увитой плющом крепости, вашего так называемого «факультета управления». Я подхватываю этот лозунг, демонстрируя, что ваше обучение не прошло для меня даром. И я благодарен вам, профессор Крейвен. Желаю вам удачи в вашей «холодной войне», вашей битве против Спутника. Удачи вам в великолепной кампании по совращению несведущих девственниц и желаю, чтобы не пришлось вам глядеть в изголодавшиеся глаза преданной горемыки миссис Крейвен.

Бледное лицо Крейвена еще больше побелело, когда он понял сквозь сладкий дымок от трубки, что перед ним сидит демагог. Диктатор, вспоминая этот инцидент, один из целого ряда схваток, мешавших его отъезду с Кэнди из Америки, о которых лучше забыть, понял, что Крейвен (который в отместку за этот разговор сообщил ему в открытке, шедшей семь месяцев до тогдашнего Кайльевиля, что ему поставлено «Б» — за курс) немного напоминал мученически погибшего Гиббса.

Международный аэропорт Куша с единственной взлетно-посадочной полосой к востоку от Аль-Абида переливался как мираж среди свистящего колючего кустарника. Жара стояла такая, что шины на колесах самолетов, когда они касались земли, часто лопались. Иногда сюда забредали зебу — до того, как от засухи стада превратились в скелеты, обтянутые кожей. Теперь правительство соорудило двухметровый алюминиевый забор для защиты аэропорта от визитеров из убогих рассадников болезней — лагерей беженцев-скотоводов из опустевшей саванны. Сверкающий забор, крылья «Боинга-727» компании «Эр Куш» и огромная, сверкающая, как металл, пластина безоблачного неба до боли резали глаза двум американцам, вышедшим из самолета и здоровавшимся с комитетом из трех персон, которые пришли их встречать. Это были: длиннолицый молодой человек из племени фула в феске; африканец пониже, поплотнее и постарше, щеголявший в итальянских туфлях, английском просторном костюме, с часами без циферблата и приятная, чуть полноватая женщина племени capa в шелковом полосатом костюме и с секретарскими полуочками, свешивавшимися с шеи на ее грудь на шнуре из звериных волос. Присутствуй при этой встрече заинтересованный наблюдатель (а не безразличные, похожие на привидения, механики в мешковатых серых комбинезонах, шагавшие как в тумане от голода, жары и паров самолетного топлива), он мог бы прийти к заключению, что перед ним встреча давно не видевшихся родных. По правде говоря, на это было похоже, судя по радостно встречавшим и жадно принимавшим приветствия, хотя первые были безоговорочно черными, а вторые — стопроцентными американцами. Их было двое: мужчина и женщина. Женщина была светловолосая — не восковая блондинка, как Кэнди, а с медным блеском, отливавшим мандариновой коркой; ее костюм персикового цвета был слишком жарким для этого климата, и еще прежде, чем она спустилась по сверкающим металлическим ступеням, лицо ее порозовело. Тени под глазами, усиленные вмятинами на переносице, говорили об усталости от путешествия, а возможно, и о недавно перенесенном горе.

Это была Анджелика Гиббс, которую я сделал вдовой. Несмотря на усталость, от нее исходила — как я представлял себе, хотя и не присутствовал на встрече, — эта американская свежесть, которая доставляла такое удовольствие моему взору в городке колледжа Маккарти, эта целеустремленность человека, упорно продвигающегося вперед, с поднятым подбородком, весело прорезающего тени под деревьями, эта свежесть, рожденная бесстрашием, которое, в свою очередь, порождено внутренней уверенностью, что он по справедливости награжден здоровьем и любовью. Она поморщилась от яркого солнца Куша, но от этого вечного света непрекращающегося полудня не увянет ее красота. Она обменялась рукопожатием с Эзаной, Кутундой и с исполняющим обязанности председателя Совета по туризму (таков был один из его титулов). Она была вежлива, скромна, утомлена и неуверенна. Иначе держался мужчина, с которым она прилетела, — маленький, полный, с тяжелыми веками, влажными живыми карими глазами, тоненькими усиками с нафабренными острыми концами и седеющей шевелюрой, разделенной пробором ровно посередине, как и усы. У него были короткие ноги и центр равновесия находился низко, так что, казалось, ничто не способно его опрокинуть, даже шумные объятия Микаэлиса Эзаны, а оба они громко шутили, как наконец соединившиеся духовные братья. Клипспрингер (а это был он) подогревал веселье своим смехотворным арабским и еще худшим capa. Кутунда хрипло похохатывала от появления этого волшебника, который до сих пор лишь металлическим голосом говорил с ней по телефону, держал, казалось, в своем кармане целые библиотеки и считал Землю круглой, как апельсин. Миссис Гиббс, чье моложавое лицо преждевременно приняло свойственное вдовам настороженное выражение, и молодой человек, исполняющий обязанности (среди прочего) министра внутренних дел, вели себя крайне сдержанно, но и они готовы были наделить энтузиазмом надежды эту встречу под солнцем, а тем временем гигантские турбины «Боинга-727» в последний раз взвыли и умолкли и менее престижные пассажиры — жалкие марокканские торговцы с саквояжами, черные вожди с томно-презрительным, как у рок-звезды, видом, бельгийские солдаты удачи с восковыми лицами алкоголиков, передвигающиеся втихую на юг, японские торговцы деталями для телесвязи, транснациональные агенты картелей, занимающихся углеводородом, разбухшие чиновники ООН, миссионеры Свидетелей Иеговы из Новой Зеландии и другая пыльца торгового и миссионерского отребья, всегда притягиваемого упорно остающимся без ответа вопросом, который ставит наш континент, — стали высовываться из самолета и, сощурившись, спускаться по лестнице на землю.

— С приездом в Народную Республику Куш, — произнес Эзана со своим оксфордским акцентом.

— Совсем как у нас к северу от Вегаса, — сказал Клипспрингер. — Мои носовые пазухи уже чувствуют себя лучше. В это время года Вашингтон похож на замерзшее болото. — Он это произнес, словно излагая справку. — Боже! — Он жадно вдохнул воздух. — Рай!

Он пригладил свои и без того гладкие волосы и, осклабясь, уставился на алюминиевый забор, за которым дети ловили крыс для еды. В лагерях для беженцев помойки не существовали.

Черный коллега Клипспрингера, словно танцуя ради спасения жизни, а так в известной мере и было, поскольку он устроил эту встречу с молчаливого согласия моих назначенцев, широким жестом пригласил гостей в черный правительственный «кадиллак», специально занятый для этой цели у кутил Сахеля. «Мерседес» сопровождал меня, а у старого правительственного «ситроена» перестали работать пневматические пружины и он дребезжал хуже дагомейского такси.

— В моей стране, — сказал гостю Эзана, — раньше было два времени года: сухое и дождливое. Сейчас осталось одно.

— А где же бедность? — спросила Кутунду миссис Гиббс.

Кутунда, не разобрав скороговорки, посмотрела на Эзану.

— Нигде, — подсказал он ей на языке сара.

Над этим дружеским единением возвышалось безмятежное продолговатое лицо и гладкая феска исполняющего обязанности координатора лесного и рыболовного хозяйств; сейчас он склонился над маленькими, розовыми, полными надежд и уставшими от перелета американцами и, демонстрируя свое знание вежливых оборотов английского языка, произнес любезнейшим тоном:

— До свидания!

— Он имеет в виду «здравствуйте», — поправил его Эзана. — Очень способный администратор, великолепно знает Коран, но не научен вашему языку, который для большинства наших людей является экзотикой.

Услышав слово «Коран», начальник Бюро по транспорту изменил приветствие на «аль-салам алейкум», и, услышав эти атласные звуки, Анджелика Гиббс затрепетала.

Милая дама, что вы делаете в этом квинтете, собравшемся, как мне подсказывает смутная память, чтобы объединиться против полковника Эллелу, отправившегося в такую даль, что число километров превышает количество следов человеческих ног на Луне, в поисках средства против бациллы проклятья, тяготеющего над его страной? «Можно ли того, кто следует наставлениям своего Господа, сравнить с тем, кто идет на поводу у своих аппетитов и кому бесчестные дела кажутся правильными?» Я «навожу прицел» на ваше лицо, дорогая миссис Гиббс, на вас — мать оставшихся без отца сыновей, на вас — марширующую по бесконечным проходам супермаркетов, потребительницу гаргантюанских количеств молока и бензина. Как вы можете ненавидеть меня — меня, выросшего без отца? Ведь я такой маленький. Лицо ваше расплылось; пудра забила поры; годы мягко оплели паутиной вашу красоту; разочарование исподволь притушило некогда голубые озера ваших белков, чувствительную черноту ваших зрачков; волосы у вас по-юному взлохмачены. Мне хочется спрятаться среди их красноватых корней от стыда за то, что я причинил вам горе, сместил ваши обширные планы, в один миг уничтожил все нити вашего тщательно построенного компромисса с обществом и экономикой. Ваше крупное лицо, вызванное издалека тайной смерти вашего вкрадчивого, жаждущего подняться по социальной лестнице мужа, на миг поворачивается — прежде чем исчезнуть в полутьме «кадиллака» — к на удивление пустому кушитскому небу; в эту минуту ваше лицо становится белым под воздействием разъяренного солнца и усталости, и я, ваш скрытый от взора враг, вижу ниже вашей приподнявшейся губы, на одном из ваших великолепных передних американских зубов, обнажившемся по ходу мысли и сверкающем на солнце, пятнышко не больше точки над i, пятнышко от помады, каплю крови.

Когда мы оба шли среди удлиняющихся теней в час молитвы на закате вверх к куполообразной пещере, я вдруг услышал, к своему удивлению, голос Шебы:

— Мой господин, мой супруг, это так надо?

— Милая Шеба, мы проделали путь на грани смерти, чтоб добраться сюда.

— Значит, так оно и есть, но, возможно, сам наш путь, его тяготы и то, что мы выжили, было необходимо моему господину, чтобы очистить свою жизнь и восстановить свою страну.

— Если бы это было так, то пошел бы дождь.

— Дождь в Балаке был бы пустым звуком по камню, — может, там, за горизонтом на юге, где саванна ждет, когда снова станет зеленой, дождь и идет.

— Когда в Куше пойдет дождь, моя кровь это почувствует.

— Моя кровь тоже говорит. Она мне говорит, что надо бояться.

— Чего может моя Шеба бояться? Ее президент — с ней, за нами все время следует «мерседес» с Мтесой и Опуку, вооруженными пулеметами.

— Моему президенту, — сказала девчонка, снова уже причесанная и в сверкающем ожерелье, но шагавшая не упруго, как всегда, а прихрамывая на подгибающихся, с трудом передвигающихся ногах, — по-моему, нечего бояться. Он не любит свою жизнь, а такие люди как зачарованные проходят невредимо через все происшествия, которые они устраивают другим. А вот я — я еще и двадцати лет не прожила, и я женщина, и живу я землей, и хотя я полила своей кровью землю, она еще не дала мне ребенка, и покой я знаю, только когда жую орехи колы и кат и слушаю музыку, которая немного снимает с души печаль.

— Мне жаль, что ты печалишься. Тысяча девушек в Истиклале возликовали бы от оказанной тебе чести.

— Эта честь пока что пустая, но я пользуюсь ею. Мой господин для меня как прикосновение Аллаха. Даже когда язык у меня так распух, что я боялась задохнуться, я и тогда обожала его. Но здесь, среди этих чужих людей, у входа в это искусственное чудо, мы вступаем в область, где совершаются тяжкие проступки. Я б хотела снова очутиться на улицах Хуррийя, раскапывать слухи и ни о чем не думать.

— Ты чувствуешь, что это западня. Но у меня нет выбора: я должен туда войти. Я — ключ, который должен набраться смелости и застрять в замке.

— Прости меня, но я боюсь не за тебя, а за себя. Этот набег туарегов — я не настолько одурела, чтобы не подумать, не за мной ли они приезжали. А те туареги, которые дали нам воды, — я чувствовала, что они хотели меня. Наш караван-баши говорил, что у йеменцев не хватает рабов. А я кое-чего стою, иначе мой господин не забрал бы меня с улиц.

Я обнял ее, и она горестно слегка пожала плечами.

— Какой глупенькой и самоуверенной стала моя маленькая королева! Думает только о себе! А что до йеменцев, то они нынче держат рабов в маленьких домиках с кондиционерами, кухоньками, колокольчиками на дверях и с общей комнатой, где играют в метанье дротиков!

Хотя я и старался шуткой рассеять ее страх, ее новое самовыражение — ее попытка стать самостоятельным индивидом, со своими страхами и своей системой защиты — сексуально возбудило меня, поэтому ночью мой член, затвердевший как у подростка, вошел в слегка сопротивлявшуюся тьму женщины, встревоженной и осязаемо испуганной. Я почувствовал, что не зря выбросил семя, когда ее бедра приподнялись на слишком мягкой, антисептической гостиничной постели, чтобы я мог пройти глубже, и она, откатившись, тут же заснула. А я еще целый час гладил плечи Шебы, ее острые лопатки и ее умиротворенные ягодицы, как бы подкрепляя нежностью мою мольбу к ее телу. Ничто из последующих событий так долго не мучило меня, как то, что я так и не узнал, не обманул ли меня инстинкт и не появился ли через девять месяцев в жаркой атмосфере этого мира маленький морщинистый невинный и возмущенный Эллелу из прекрасного иссиня-черного лона моей четвертой жены.

Нам пришлось провести там ночь, так как пещера была закрыта. Нам действительно повезло: мы нашли комнату в плохо построенном приюте для туристов, с тонкими, как бумага, перегородками и сомнительным портье. За последним поворотом на дороге, по которой могла проехать разве что тележка для игроков в гольф и на которой сейчас лежали, удлиняясь, лиловые тени, мы очутились среди североевропейских школьниц в одинаковых костюмчиках, которые, не без издевки поглядывая на нас, шагали цепочкой по обеим сторонам дороги, а за ними мы увидели зеленую стальную решетку, перекрывавшую вход в пещеру, и на ней было написано: FERMÉ — ЗАКРЫТО. Под этой надписью более мелкими буквами значилось: OUVERT de 9 h.à 12 h., de 14 h.à 17 h. Billets d'entrée 50 lu[[58]](#footnote-58). На другое утро, позавтракав y одного из буфетов-киосков, выросших тут как грибы и продававших круассаны и икру, терияки и чили, шашлыки и сосиски под скоплением зонтов, мы с Шебой уже стояли в девять часов среди многоязыкой, занимавшейся пустопорожней болтовней толпы, ожидая, когда нас впустят. Я заметил среди ожидавших Мтесу и Опуку, стоявших слегка в стороне в своей униформе, которая выглядела вполне свежей. Когда зеленая решетка медленно поползла вверх, из таинственной глубины дохнуло сырым холодным воздухом и началась толкотня, я пробрался под ее прикрытием к Мтесе и спросил:

— Как вы умудрились переправить «мерседес» через эти пропасти?

Он почти нахально посмотрел на меня — он начал отращивать усы.

— А нам и не пришлось это делать, — сказал он. — Прямо из долины — широкая дорога. Хорошо размеченная, все услуги для туристов. Ваш путь был просто красочнее.

Прозвенел звонок, и толпа подалась вперед. Шеба прильнула ко мне во внезапно наступившей темноте и толкучке. Бетонные ступени и пандусы облегчали спуск, но не могли окончательно исключить предательскую неровность пола пещеры. Маленькие прожекторы освещали заслуживающие внимания надписи, а в одном месте — гроздь окаменелых моллюсков, поднявшихся вместе с морем на эту безводную высоту. Оракул был помещен в искусно обрамленное углубление — цепи удерживали любопытных от слишком близкого изучения его. La tête du roi[[59]](#footnote-59) на наших глазах стала медленно окрашиваться зеленым светом, позаимствованным (так я предположил) от импрессионистического освещения Московского художественного театра; сначала она казалась одним из торчавших, грубо отесанных, потрескавшихся камней, которые наполняли выемку словно ветви подводных кораллов, словно полипы, которые обнаруживает в самой мягкой ткани электронный микроскоп. Потом проступили детали.

Голова Эдуму, такая маленькая при жизни, стала больше в смерти. Глаза были закрыты, губы расплылись и съехали на сторону, возможно, деформированные в процессе отделения головы от тела. Я никогда прежде не рубил голов, и одним из огорчительных последствий моего плена у туарегов было то, что я не мог из-за этого быть уверенным в своей хватке. Я старался, чтобы запястья не дрожали и руки были над его головой. Удар я нанес легко и под правильным углом, учитывая нервное напряжение, в котором я находился и которое передается мускулам.

Горло старого короля было обмотано белой материей, напоминавшей люнги, которое он носил, а созданный для этой цели своеобразный прозрачный алтарь из плексигласа позволял видеть, что тела ниже головы нет. Выражение лица было никакое. Голова напомнила мне пропыленные реликвии времен его величия, которые находились в его узилище, хотя символическая золотая повязка на лбу поблескивала в лучах прожектора. Нелепый ореол из жесткой белой шерсти был расчесан и подстрижен — гробовщики никогда не приводят волосы в полный порядок. Когда веки Эдуму открылись, толпа ахнула, а Шеба так сильно стиснула мне руку, что я почувствовал, как у меня треснула пясть. Однако боль отступила перед изумлением, с каким я рассматривал лишенные глубины глаза старого короля. Бледные, покрытые трещинками зрачки были, безусловно, его, *но эти глаза смотрели*. Они не закатывались к небу, как обычно во время наших разговоров, а пристально глядели на нас, — казалось, на *меня*. Стараясь подавить возникшие в желудке позывы к рвоте, я рассудил, что враги моего государства утратили право на достоверность.

Губы немного жестко, как бывает утром с мотором, пришли в движение.

«Патриоты, граждане Куша, — обратился скрипучий голос к погруженной в молчание толпе, — среди вас есть великое зло. Носителем этого великого зла является человек, чье имя всем известно, а лицо известно не многим».

Мы с ним вместе со смехом выбрали мне имя как-то вечером во дворце, когда он думал, что революция — это шутка и его выпустят из заточения, когда первая волна бури спадет.

«Этот человек, — продолжала голова, механическое движение губ теперь точно соответствовало манере Эдуму говорить, словно дыхание ветра влетало и вылетало из его души, — делает вид, будто объединяет многообразные племена и религии Куша против капиталистов-тубабов, фашистов-американцев, которые продвигают дело международного капитализма ради блага алчного меньшинства мира, каким являются голубоглазые белые дьяволы». Да, его голос стал слегка похожим, показалось мне в продуваемых сквозняком залах моих воспоминаний, на голос Посланца, мягко бубнившего во Втором храме Чикаго маленькую литанию о вековых злодеяниях против темнокожих, осторожно концентрируя ненависть.

Голова продолжала вещать с внезапным пронзительным вскриком — это подскочил амперметр в электрической сети, который, как я понял, подхватывал и передавал колебания голосовой сумки, не имеющей легких.

«Этот человек, утверждающий, что ненавидит американцев, на самом деле в душе американец, отравленный четырехлетним пребыванием в их стране после того, как он дезертировал из колониальных войск. Это человек глубоко нечистый. Одна из его жен — американка, та, что зовут Укутанная. Из-за своей черной кожи он подвергся дискриминации и неприятным эмоциональным переживаниям в стране дьяволов, и политическая война, которую он ведет, сжигая подарки с едой и убивая функционеров, которые их привозят, на самом деле является войной с самим собой, а невинные массы от нее страдают. Он подчинил искусственно созданную нацию Куша своей неистовой, хотя и раздвоенной воле: граждане этой несчастной страны стали пленниками его фантазии, а бесплодная земля, где дети и животные мрут от голода, — это отражение его истощенного духа. Он устал делать вид, будто ненавидит то, что любит. В его сны, когда он дремлет над чертежной доской, на которой лежит проект Народной Революции, столь живо составленный нашими героическими советскими союзниками, вкрадывается ностальгия, а в жизнь благородных, прекрасных и действительно чистых кушитских крестьян и рабочих вползают признаки декадентского обреченного капиталистического потребительства».

Я чувствовал, что рука наемного писаки вставила эти фразы, и громко произнес берберское слово, означающее свежее говно верблюда. Стоявшие рядом люди возмущенно зашикали, завороженные анализом наших внутренних трудностей в изложении головы.

«Зря меня, — продолжала голова, и голос ее с изменением децибелов зазвучал жалобно, — в худшем случае безвредную и циничную фигуру, принесли в жертву благополучию государства. Голова должна была скатиться с плеч полковника Хакима Феликса Эллелу. Его публичное „я“ гневно демонстрирует борьбу по уничтожению всех следов иностранной заразы, а его затаенное „я“, действуя на нашей наивно чистой, высокой духом, но подверженной влияниям территории, вызывает новые вспышки болезни. Даже теперь в долине ущелья Иппи, над резервуаром воды, хранящейся с незапамятных времен в пористом песчанике на случай появления махди[[60]](#footnote-60), возник целый быстро растущий американский город с лживыми фасадами, с бесстыжими проститутками, выдувающими пузыри жевательной резинки, и салунами, где можно разжиться наркотиками. Разрушьте этот город зла, граждане Куша! Но если вы не уничтожите то, что породило его: подавляемые склонности и пустопорожние мечтания вашего таящегося в темноте вождя, — появятся новые уродства, и ваши дети будут по-прежнему заслушиваться рок-музыкой, ваши жены будут втайне мечтать о том, чтобы выставить напоказ щиколотки, а ваш брат, с которым вы делитесь последним куском козьего сыра, поддастся жажде наживы и станет бездушным роботом, алчным ростовщиком, винтиком в машине, эксплуатируемой экономическими силами, которые не внемлют человеческим призывам! Граждане Куша, сбросьте Эллелу! Сбросьте Эллелу, и пойдет дождь!»

Я посмотрел вокруг себя в поисках граждан Куша и, конечно, не увидел ни одного — там были только иностранцы, любители приключений, любопытствующие, чей мозг был уже занят тем, что им предстояло увидеть, а также возвращением в автобус и проблемой найти уборную без длинной очереди. А голова тем временем завершала свою речь, и губы ее двигались явно не синхронно со словами:

«Это было видение, явившееся мне в Раю, где с глаз людей спадает пелена. Все это вы увидели и услышали благодаря советской технике. Спасибо за внимание. Вы можете побродить по пещере, только не трогайте доисторических произведений искусства Сахары — они постепенно разрушаются под воздействием вашего дыхания. Вам будут показаны на стене позади меня слайды с изображениями национального достояния Куша».

## VI

Президент — в чем согласны все последующие отчеты — с достоинством выслушал эту диатрибу. Только когда началась демонстрация слайдов, он вмешался. Как был — а он, помните, был в рваной галлябие путешествующего по пустыне помощника музыканта, участника маленького оркестра, — Эллелу шагнул через цепь, когда из проектора появились первые слайды: запечатленные на кодаковой пленке дюны, пирамиды земляных орехов, плотина гидроэлектростанции, обожаемой Микаэлисом Эзаной, танцы с перьями племен, живущих вдоль мутной Грионде, пироги, жующий жвачку верблюд и закутанный тарги, сердито уставившийся на неожиданный для Истиклаля восточногерманский небоскреб. Приняв внезапно исказившиеся изображения на свою спину и искривленные плечи, Эллелу схватил голову за копну волос и оторвал от цветных проволок, ловко продетых сквозь верхний лист плексигласа, который состоял из двух просверленных слоев. Полетели искры — зеленые, оранжевые. От страха и удивления вокруг осквернителя святыни тотчас образовалась тишина.

Голова Эдуму не поразила Эллелу своей тяжестью, как тогда, когда в ней находился водянистый мозг и кровь, — теперь у него в руке было нечто, созданное из бумаги и воска, умерщвленное совсем другим способом. Череп был расширен, чтобы вместить всю технику и электронику, — еще один совьетизм, рассудил диктатор, так как американцы с их более совершенной миниатюрной техникой могли бы поместить все это в череп крота. Однако невзирая на эти небольшие изменения в масштабе, Эллелу прижал голову к своей груди, чтобы порвать последние упрямо не поддававшиеся соединения, и обнаружил, что глаза его обожгли слезы — ведь в жизни он никогда не прижимал к груди эту голову, венчавшую тело человека, который в этом голом мире был ему почти как отец, а сейчас у него появилось такое желание. Они принадлежали к одной породе — оба маленькие, невозмутимые, более остро чувствующие, чем это полезно для единства тела и души, мысли и действия. Король подготовил Эллелу к тому, чтобы править, хотя привело это к его собственному изгнанию. «Король не должен быть свойским, — сказал он своему честолюбивому атташе. — Его обязанность в том, чтобы принимать обиды народа на свое бедственное положение». *Король не должен быть свойским* — эта истина, чисто африканская, шевелилась в черепной коробке Эллелу, пока оскверненный им череп прижимал свой маленький, похожий на фигу, носик, ставший мягким после реконструкции, к его затихшему сердцу. Тут возмущенные инженеры-электронщики и смесь охранников в синих одеждах туарегов и в зеленой солдатской форме выскочили из своих укрытий и окружили его с намерением убить.

Послышались крики на русском, арабском, на языках вандж и тамачек. Эллелу грубо дернули за галлябие и вырвали из его рук голову Эдуму, но золотая повязка, утратившая значение священного присутствия, осталась у него в кулаке. Вокруг теснились пленившие его люди, дыша ему в лицо не только водкой, но и перебродившим местным пивом, а также кислятиной каши из проса, слизанной с грязных пальцев, вместе с каким-то непонятным легким сладким запахом парикмахерского масла для волос.

— Я — Эллелу, — повторил он, так как с первого раза его не услышали или не поняли его произношения.

Его ударили в ухо — по лицу разлилось багровое омертвение; на него плевали, ему связали руки и стали разжимать пальцы, стараясь вытащить золотую повязку.

Наконец на него перестали наседать, крики прекратились. Появились Опуку и Мтеса, облеченные бесспорной властью: в руках у Опуку был красавец пулемет Бертье, смазанный маслом, как нубийская проститутка, а у Мтесы — едва ли менее волшебный 45-калибровый «магнум». Рядом с лицом Эллелу был развернут патриотический плакат — толпа туристов, мало что понимая, но отступив перед насилием, зааплодировала, словно это сравнение плаката с человеком было запланированным зрелищем, частью национального наследия Куша. Дело в том, что все это время показ слайдов автоматически продолжался и на искаженное лицо разъяренного техника наложилась улыбка бербера, а на нашу схватку — мирная пасторальная картина: стадо овец, пасущихся в низине Хулюль. На плакате была нечеткая фотогравюра, и мою личность не могли установить, пока кто-то из советских не подошел ко мне и не пожал мне руку: я узнал его, несмотря на то что он был загримирован нелепым какаового цвета кремом под кочевника, по присущим его расе неглубоким, настороженным, желтоватым глазам охотника.

— Полковник Эллелу, — сказал он, — je présume[[61]](#footnote-61).

— Полковник Сирин, — вспомнил я.

— Смерть врагам народа и ревизионистам-контрреволюционерам, где бы они ни были обнаружены, — сказал он при помощи переводчика, появившегося рядом с ним в мешковатом костюме маоистского туриста и в очках.

— Вот именно, — сказал я, кивнув в сторону жалкой реликвии Эдуму IV, лежавшей на полу пещеры, еще одних останков, развенчанных, никому не нужных, как реквизит за сценой. — Вы не задавались вопросом, — спросил я полковника, — не является ли ваше участие в этой шараде серьезным нарушением договора, существующего между двумя нашими великими демократическими странами?

Полковник пожал плечами и долго, в русской манере, говорил. Его слова были переведены так:

— В бункере ужасно скучно. И в качестве détente[[62]](#footnote-62) наше правительство наказало нам свободнее общаться с местным населением.

— Никакого населения здесь не было, пока эта ваша штуковина не привлекла народ. В любом случае аудитория состоит из тех, кто приезжает на день из Занджа и для кого наша граница будет отныне закрыта. Ваша задумка дала небольшой доход, который пошел в карман Комомо, но никак не повлияла на благонамеренных граждан Куша.

— Да уж повлияла, товарищ, недаром первый гражданин Куша приехал лично в такую даль, чтобы поприсутствовать у оракула, и мы знали, что так будет.

Полковник явно избавлялся от смущения, вызванного загримированным лицом, и неловкости, связанной с костюмом, и его потуги на всезнание напоминали пытку приема в бункере — его пьяные тосты, его высказывания, полные материалистических клише, его атеистические насмешки. В Коране говорится: «Горе тем, кто отвращает других от пути Аллаха и старается сделать его извилистым». Король однажды приобщил меня к мудрости: «Враги — это обогащение духа, союзники — это реальное бремя». Как настоящая славянская свинья, мой союзник, уверенный, что я теперь знаю о его хитроумном вмешательстве и разделяю шутку, весело поднес огонек к сигарете «Космос», никак не вязавшейся с его лохмотьями и гримом. И я подумал, что должен не только закрыть границу с Занджем, но и аннулировать договор о ракетах, как часто советовал Эзана, — таким образом, я с нежностью думал об Эзане в тот момент — минутой раньше или позже того, как он за коктейлями с орешками влюблялся в миссис Гиббс, чья медная шевелюра играла в пинг-понг с искорками, вспыхивавшими в бесплатном бурбоне мистера Клипспрингера. К моей голове было подключено не меньше проволочек, чем к голове низложенного короля.

И я сказал сидевшему напротив, самодовольно ухмыляясь, полковнику:

— И оракул говорил множество легковесных, бесчестных и предательских глупостей в духе этого мессии буржуазного самокопания, сиониста Зигмунда Фрейда.

— Оракул — разве ты не заметил — касался не только психологии, но и географии!

— Слух о городе в низине Иппи я считаю столь же фантастическим, как и произведенный этим приспособлением анализ невротических сублимаций президента.

— Речь идет не о крупном центре, а о маленьком промышленном городе типа... — После консультации с переводчиком было наконец произнесено: — ...того, что вы называете «провинциальным».

— С большим разнообразием домов и прелестными местами для отдыха, — добавил переводчик.

— Мой министр внутренних дел информировал бы меня, — сказал я им, — даже если бы там появилось поселение нищих. В идеальной пустоте нашей страны и рождение верблюда вызывает встряску.

Полковник улыбнулся, и чешуйки какаового грима отлепились от его щек.

— Ты правильно осудил своего министра внутренних дел: он предатель. А кроме того, он не любит разногласия. Мы же, твои советские друзья, остаемся верными революции. Предупреждая тебя об опасности, мы на многое пошли, чтобы избежать официальных каналов, которые наводнены ревизионистскими шпионами.

Эллелу понял, что должен ехать на запад, в низину Иппи, но когда этот новый виток приключений развернулся перед ним, он почувствовал лишь изнеможение, усталость человека, которому предопределено пробежать длинный путь, чтобы прийти к тому, что с самого начала должно было принадлежать ему: к своей самобытности, своей судьбе. Его поездка в Балакские горы, сопровождаемая распутством и простыми тяготами, была олицетворением свободы; его спуск с массива по совсем не живописному шоссе в «мерседесе» с кондиционером, без любимой Шебы, был удручающей обязанностью. Шеба исчезла в свалке из-за головы — чьи руки и куда ее утащили, оставалось неизвестным. Русские, горя желанием затушевать истерические угрозы президента аннулировать договор и положить конец анархии, помогали в лихорадочных поисках Шебы. Проверили каждую щель в пещере; аппарат аудиовизуальной иллюзии перевернули, ящики механиков обыскали, даже холодильники в кафетерии, даже бочонки из-под икры. Шебы в пещере не было.

Значит, ее вывели наружу. Обыскали расщелины в скалах, а вокруг летали голуби, и Эллелу в агонии воспоминаний вновь пробегал пальцами по складочкам ее тела, вспоминая среди суровых камней печальную мелодию ее анзада, округлую безупречность ее лоснящихся плеч и иссиня-черных бедер, бархатистое прикосновение ее губ к его безразличному члену, ее одурманенную покорность и мягко высказанную надежду на то, что жизнь должна все-таки быть лучше. *Вкус* ее, вспоминал Эллелу, — вкус колы в ее поцелуях и соленый вкус ее женской секреции, к которому примешивалась щелочная сухость буры, когда под звездами, прямо на земле, он входил в нее языком. Киоски с быстрой едой и напитками были один за другим перевернуты и разбиты по команде Эллелу, и кушитские солдаты, нанятые советскими военными, приняли участие в отчаянных поисках. «Разведись со мной», — молила она его после того, как сказала: «Ты так принижаешь все, что я делаю». Туристические автобусы, начавшие разъезжаться со своим грузом верещащих любознателей из Дорсета и Кантона, были остановлены, пассажиров заставили выйти и стоять, положив руки на голову, под теперь уже немилосердно палившим полуденным солнцем, казавшимся на небе не больше горошины, этакой добела раскаленной пулей.

— Избейте их, — приказал Эллелу. — Изнасилуйте!

Солдаты, озадаченные молодые ребята, поступившие служить с полей земляного ореха и из рыбацких поселков, попытались по наивности выполнить приказ, но били они слабо, а объекты насилия, иссохшие и дрожащие в английских платьях с длинными рукавами для работы в саду и шляпах с большими полями для срезания роз, были малоаппетитны. Русские инженеры прошли по автобусам с мерными лентами и ручными компьютерами в надежде обнаружить укрытие, где могла спрятаться бесценная супруга президента. Взрезали шины, били ветровые стекла. Шоферы, жители Занджа, гордившиеся тем, что они в брюках водят машины, которые больше слонов, были избиты просто так, ради забавы.

— Громите! — кричал диктатор, к ужасу полковника. — Громите все вокруг, что не создано рукою Господа!

— Но бетонные дорожки...

— Превратить в щебень. Все это было сделано без моего позволения, и с моего позволения все следы осквернения будут убраны.

— Мы же получили разрешение, — залопотал русский. — Новый глава департамента лесного хозяйства и рыболовства... все формы заполнены... для удобства будущих путешественников... евродоллары. — Переводчик с трудом успевал за ним.

— Никогда не предполагалось, — стремительно ответил Эллелу, — позволять путешественникам опошлять эти пики. Но найдите мне мою Шебу, полковник Сирин, в целости и сохранности, и я разрешу оставить это увеселительное место как памятник в честь счастливого события. Иначе его опустошение по моему приказу будет вечным вещественным доказательством пустоты в моем сердце.

— Позвольте предположить, — сказал переводчик то ли на сентиментально-французском, то ли на неясном арабском — не помню, на каком языке. — Среди нас было несколько настоящих туарегов, выступавших в качестве советников, разведчиков и знатоков данного района. — Наслаждаясь возможностью высказать собственные мысли, он продолжал: — Вы знаете, говорят, — это очень интересно, — что туареги происходят от христиан, средневековых крестоносцев, которые сбились с пути истинного. Потому-то они часто использовали крест как украшение и по-аристократически отказывались заниматься ручным трудом.

— Это интересно, — снизошел заметить Эллелу. — Где же эти кяфиры?

Вскоре среди крутящихся столбов пыли от осыпавшегося бетона и перевернутых автобусов было обнаружено, что туареги-то оказались ненастоящими, а подлинные сбежали.

— Они продадут ее йеменцам! — воскликнул Эллелу.

— В таком случае, — предположил переводчик, — это тоже не лишено исторического интереса, поскольку Йемен в библейские времена был страной Шеба. Быть может, она почувствует себя там как дома.

У нее будет кухонька, морозильник, маленький домик с колокольчиками на двери и с пластинками, которые фирма «Мьюзак» передает по радио. Шеба будет ходить в передничке и в домашних туфлях, научится орудовать пылесосом. Она забудет его — он сократится в ее памяти до размеров пчелы. И сильный мужчина заплакал. Он приказал Опуку выстроить всех туристов и расстрелять из пулемета.

У его ребенка, как и у него самого, вместо отца будет молва, дыхание ветра. Эта выдумка, что он оставил в disparue[[63]](#footnote-63) Шебе свой след, превратилась в убеждение, пока Эллелу, предоставив сокрушенным советским людям восстанавливать свой гектар Балакских гор в исконном виде, спускался в «мерседесе» на запад, в направлении низины Иппи. В ушах его стоял гул транспорта на шоссе. Мыслями он вернулся к тем временам, когда он сам, Оскар Икс и двое-трое других (как, например, Джон 46-й — ему Аллах помог избавиться от привычки к героину, он пытался играть за нападающего форварда в команде «Упаковщиков» и был такой же широкоплечий, как Опуку, так что когда он присоединялся к компании, Феликсу приходилось сидеть в машине сзади) ездили из Фрэнчайза на юг, в Милуоки, молиться в храме или на час дальше на юг — в Чикаго, в Святая Святых. Зеленые поля Висконсина проносились мимо них как мягко колеблемое море. Белые сараи и серебристые силосные башни создавали представление о такой Америке, где их алчно жрущий бензин, не имеющий глушителя «олдсмобил» выглядел дьявольской нечистотой, как и другие машины, эти черные тельца, курсирующие по американским венам мимо вздымающихся пластов земли, которые, хоть и походят на океанские волны, измерены шагами фермеров из поколения в поколение. По радио в машине зазвучал голос Дорис Дэй и гортанные жалобы кантри, а когда мы подъехали ближе к городу, ее сменила Дина Вашингтон и прерывистый, веселый, словно вырвавшийся из уютной тьмы, джаз черного человека. Эти звенящие ноты всегда проходили по гребню волны. На вершине горы, словно горделивый замок, стоял длинный фермерский дом с остроконечной крышей в компании с единственным большим деревом. Бедность покрыла дома то тут, то там купленной по дешевке дранкой шести различных цветов. Феликс был заворожен мачтами высоковольтных передач, стальными скелетами, которые казались гигантами, изящно держащими в тоненьких, свисающих вниз ручках-изоляторах нити огромной силы. Высокие кружевные сооружения шагали до самого горизонта. И порой в быстрой смене перспективы, видные с заднего сиденья машины, накладывались одна на другую, — эти мгновения, схожие с déjà vu[[64]](#footnote-64), производили захватывающее впечатление, которое сохранялось даже тогда, когда мачты, выстроенные по идеальной прямой, постепенно уменьшались. Феликс видел смысл в обратной стороне реклам, которые стояли слева, — в этих тщательно продуманных, вырезанных, скрепленных и прибитых сооружениях, призванных нести торговое предложение: одна реклама представляла собой изогнутый силуэт, который оказывался сзади пикулем, а другой, если смотреть издали, выглядел весьма зловеще — бычок, рекламирующий собственную кончину в местном Доме бифштекса. Порой на удаленном расстоянии появлялась водонапорная башня, стоявшая на своих длинных ногах, как вторгшийся марсианин, и озадаченно размышлявшая: что делать дальше? Зимой эти поля становились белыми, белыми с черной каллиграфией, прописанной загородками от снега и безлистыми деревьями, — пейзаж, столь же лишенный растительности, как и тот, по которому мчалась наша серая машина, поглощая горизонт, за которым тут же открывался другой такой же. Порой диктатору хотелось отстегать свою страну за то, что она такая большая. День слепящей головной болью изгибался дугой над бесконечно поглощаемыми километрами.

Эллелу, сидевший один сзади, своей неподвижностью маскируя душившую его борьбу с вновь и вновь возникавшей мыслью о потере Шебы, не сразу почувствовал накаленность атмосферы в машине, напряженность и порицание, исходившие от круглой лысой головы Опуку, соединенной с массивными плечами блестящей пирамидой шеи. Эллелу вспомнил, что так и не слышал пулеметной очереди, хотя приказал расстрелять туристов. Он нагнулся вперед и спросил:

— Туристы — они умерли как надо?

Опуку молчал.

— Или они умерли постыдно, — не отступался он, — умоляя и клохча о пощаде? Свиньи. — И он процитировал: — «Когда пробьет час Судного Дня, грешники будут клясться, что они отсутствовали всего час».

— Я не расстрелял их, — признался Опуку. — Я сказал им: «Бегите в скалы». А которые были слишком испуганы и слабы, спрятались за автобусами.

Эллелу, чью душу ритмически заливала боль, спросил охранника, почему он предал Переходный период. В душе его, когда он сосредотачивался на своих ощущениях, словно орудовал некто с неловкими руками, пытавшийся утопить в ведре с вязким, скользким пластиком отчаянно борющуюся за свою жизнь кошку.

— Это не предательство, — сказал Опуку. — Этих бедных тубабов просто завлекло туристическое агентство Занджа. Старухи. Джентльмены-марабуты[[65]](#footnote-65).

— Паразиты капиталисты, — апатично произнес Эллелу, глядя из окна на окружающую пустоту. — Милитаристы и эксплуататоры.

— А с ними вместе косоглазые, — добавил Мтеса.

— Поклонники Никсона, — был по-прежнему вялый отклик. Но Эллелу не понравилось то, что Мтеса присоединился к Опуку. Их маленькую контрреволюцию следовало задавить. Президент отвел взгляд от соответствовавшей его настроению серовато-коричневой пустыни за окном и постарался воспламенить искрой былого пыла предсказуемые растопки своей риторики. — У тебя в руках было оружие, перед тобой — их лица, — сказал он Опуку, — и тут вмешалась жалость. Жалость — наш африканский порок. Мы пожалели Мунго Парка, пожалели Ливингстона, пожалели португальцев и оставили им жизнь, а они поработили нас. — Душераздирающие воспоминания о Шебе на розовом верблюде со всеми регалиями придавили его, и он продолжил свою речь уже на крике: — Представь себя в виде цифр на бухгалтерском счету тубаба и затем представь, что, вычеркнув тебя, тебя и тысячу других, он может сэкономить доллар, шиллинг, франк или даже лю в итоговом подсчете. Ты думаешь, лейтенант Опуку, что *его* палец не нажмет на спусковой крючок? Нет, чернила потекут. Ты будешь вычеркнут «Эксоном», оккупирован «Галфом», раздавлен США, лишен права на гражданство Францией, и не только ты, а весь твой любимый народ — пышнотелые жены, преданные братья, правильные отцы и постаревшие, но все еще веселые матери. Абсолютно все будут вычеркнуты без малейших угрызений совести. В словаре выгоды слова «жалость» не существует. Так что твой щепетильный отказ выполнить мое недвусмысленное приказание был смехотворным чудачеством, бабочкой, прилетевшей с Луны и говорившей на непонятном языке с этими глухими тупицами землянами, у которых нет сердца и чьи тела заполнены минералами, не имеющими ничего общего с вашими эластичными артериями и крепким костяком. Эти люди состоят всецело из чисел. Если бы ты нажал на спусковой крючок твоего купленного на деньги правительства — я вынужден это подчеркнуть — пулемета, твоего великолепного пулемета Бертье, ты этим своим актом стер бы их с лица земли, не неся за это вины, сделал бы подарок своему президенту таким послушанием и достаточно вежливо — так, что даже старый безмозглый Комомо, король-клоун панафриканского недоразумения, понял бы, — объяснил мотивы своего поведения. Помни, Опуку, что написано в Книге: «Мухаммед — апостол Аллаха. Те, кто следует ему, безжалостны к неверным, но милосердны друг к другу».

И Эллелу, выдохшись, откинулся на бархатные подушки. Он окружил себя мелочами в облике Шебы — вспомнил ее серьги, холмик припухлости посредине верхней губы — и укутался в них, как в одеяло. Но задремать не смог: в машине продолжало чувствоваться напряжение. Опуку курил тонкую сигару с пластиковым концом, с недовольным видом предварительно сдернув с нее хрустящую обертку, а Мтеса упорно вел машину по плоскостям Айхоо, долине из талька, затвердевшего в своем нынешнем виде, тысячелетия подвергаясь воздействию не знающего пощады солнца. В таком мире мозг Эллелу не мог найти прибежища, хотя веки его и были закрыты. Перед его мысленным взором проносились зеленые поля, ребристые задние стенки рекламных щитов; внезапно он услышал, как крякнул Мтеса.

— Еще один грузовик? — осведомился Эллелу. Он уже смирился с тем, что подобные чудеса будут попадаться им на пути.

— Не грузовик, сэр. Посмотрите налево.

Километрах в семи к югу в солнечном мареве блестел покинутый город, один из тех красных городов, которые, по мнению некоторых археологов, были воздвигнуты среди существовавших тогда зеленых просторов бежавшими из покоренного Куша королями. Другие считали, что это были христианские монастыри, чьи кельи позже были использованы под гаремы шейхами, изгнанными из Дарфура. Каменные стены из кирпичей в голубую крапинку, каждый из которых могут поднять лишь двое современных мужчин, молчат об этом; несмотря на свою солидность, они частично обрушились, так что с расстояния глазам Эллелу, которые тоже стали не теми, чем были, они казались хрупким кольцом ветоши, какая остается от разоренного осиного гнезда. Из этих тонких, как бумага, зубцов поднималась в никуда целая и почти не тронутая природой лестница-монолит из местного, не подверженного разрушениям камня.

А тем временем (переводим повествование в другое место) за лучшим столиком Afrikafreiheitswursthaus[[66]](#footnote-66), который восточные немцы открыли на верхнем этаже своего небоскреба, миссис Гиббс, мистер Клипспрингер, Микаэлис Эзана, Кутунда Траорэ и молодой полицейский шпик в феске сливового цвета с удовольствием поглощали завтрак. Эзана был счастлив, сидя за столиком, уставленным импортными приборами и хрусталем, он болтал, слегка опьянев от «Либфраумильх», и был влюблен в рыжеволосую американскую вдову, чье естественное горе усугублялось расстройством желудка и проблемой с ухом, возникшей в плохо герметизированном «Боинге-727» компании «Эр Куш». Эзана демонстрировал африканский цинизм и способность к языкам, и хотя его кокетство не было оценено той, кому оно предназначалось, зато ее благостно улыбающийся спутник с тяжелыми веками и изящными усиками, профессионально терпеливый мистер Клипспрингер получал от общения с Эзаной полное удовольствие.

— Ваш мистер Никсон, — трещал Эзана на своем музыкальном английском с плавно расставленными ударениями, — не думаю, чтобы эта уотергейтская история как-то ему повредила. Ну как может такая ничтожная contretemps[[67]](#footnote-67) затмить его достижения за последние полгода? Он прекратил бомбардировки Камбоджи, восстановил отношения с Египтом, помог созданию достойных доверия правительств в Чили и в Греции, посадил рядом с собой нового вице-президента, такого же высокого и красивого, хоть и не такого красноречивого, как прежний, и укрепил американскую экономику, договорившись с арабами удвоить цену на нефть. Действительно обаятельный человек-динамо, поразивший американский народ тем, как работает их собственная демократия.

Клипспрингер хохотнул. Что за славный человек, какой неисчерпаемый такт!

— Пожалуй, Майк, ты верно говоришь, — допустил он. — Но на мой взгляд, он в проигрыше.

— Так-то оно так — в узком смысле, но подумайте об очистительной ценности такого явления, когда руководитель раскрывается перед смотрящим на него народом. Если он падет, он унесет с собой в пропасть беды вашей страны. В последнее время дважды, если не ошибаюсь, ваша федерация была унижена — северными вьетнамцами с их минометами и арабами с их эмбарго. Может ли быть более поэтическая и более убедительная психотерапия, если я употребляю правильный термин, — тут он одарил ослепительной, не оставленной без внимания улыбкой американскую вдову, изучавшую свою тарелку в попытке понять, из чего сделана сосиска, — чем когда вспарывают президента и из него вываливаются в изобилии пленки, подделки, фальсифицированные декларации о доходах и сладкоречивая ложь? Это театр в лучшей африканской традиции, когда актера по-настоящему убивают!

— А ваш президент — где он? — спросила Анджелика Гиббс, заставив себя отключиться от созерцания собственного, весьма неспокойного нутра.

Эзана перевел вопрос на язык capa для Кутунды и язык фула для мужчины в феске, и оба рассмеялись недобрым булькающим африканским смехом, исходящим прямо из преисподней. Он звучал в ушах Эзаны как реакция на увлечение этим усталым, измученным диареей ангелом, который прилетел из такого далека, чтобы сидеть напротив него за столиком Afrikafreiheitswursthaus, накрытым накрахмаленной скатертью.

Вместо ответа Эзана поднял вилку на уровень лица и произнес сквозь ее старательно искривленные зубцы:

— Подобно нашим ноздрям, в каналах мозга, возможно, есть волосинки, их, кажется, называют ресничками? Если мы думаем в определенном направлении, они ложатся, замирают и перестают выполнять свою функцию по очистке. Санитария требует, как я часто думаю, исследования различных вероятностей — надо представить нечто противоположное привычному, и тогда эти маленькие... реснички, верно?.. встанут дыбом и смогут снова выполнять свою очистительную функцию. Вы хотите, чтобы я привел примеры. Если мы верим во всемогущество Аллаха, то надо предположить, что он не существует. Если нас уверяют, что Америка — ужасное место, надо считать ее счастливым местом.

— Это место как раз для меня, — весело перебил его мистер Клипспрингер, — я был в аду и выбрался из него. Когда я вижу из самолета душещипательный купол нашего старого Капитолия, я думаю: «Вот оно. Это мое».

Эзана продолжал флиртовать с бедной уставшей миссис Гиббс.

— Вот ваш президент, — сказал он ей, — мастер быстрой смены суждений. Предположим, он говорит, что Китай — не плохое место, а хорошее, дружелюбное. У нас в Соединенных Штатах много симпатичных китайских ресторанов, значит, возможно, Китай, рассуждает он, тоже симпатичный. Или предположим, говорит он, правитель должен не руководить народом и не вдохновлять его, а прятаться от него, отлучаться все больше, подобно древнему Тиберию, который проказничал на своем острове в то время, когда Иисус Христос занимался подрывной деятельностью, — я не перепутал факты?

— Я никогда не слышал, чтобы их так излагали, Майк, — сказал Клипспрингер и обхватил губами влажный конец кубинской сигары, за которую он заплатил двадцать лю в лавке, где продают корзинки и где эти сигары гниют штабелями, а затем прикрыл глаза и поднес к другому концу зажигалку с пропаном. Мужчина в сливовой феске восторженными глазами смотрел на зажигалку, и Клипспрингер передал ее ему. — Она ваша, — сказал он, сопроводив свои слова легким взмахом пухлой наманикюренной руки. И, наслаждаясь своей щедростью, выдохнул идеальное колечко дыма, вылетевшее из-под его изящных усов словно некая вновь изобретенная ракета.

— Наш президент, — продолжал Эзана для бледной американской красотки, — тоже правит согласно непонятному отходу от того, что диктует разум, если я правильно выразил мысль, предоставив заниматься благовидным прагматизмом тем из нас, кто остался в неустойчивом Истиклале, тогда как сам он обследует широкие просторы в поисках знаков, которые помогли бы найти религиозные источники засухи.

Человек в сливовой феске, понимавший по-английски больше, чем ожидали другие, прервал Эзану тирадой на местном языке, которую тот слушал, сначала явно забавляясь, а потом посерьезнев. Мягким жестом говоривший дал понять, что просит Эзану перевести.

— Он говорит, — сообщил Эзана Клипспрингеру, — что дело не в засухе. Кочевники переживали и худшие времена: они отдавали свой скот оседлым фермерам на юге, а потом, когда сухая пора проходила, забирали его обратно. Введенная французами экономия урожая, чтобы выручать за него деньги, затруднила использование принятой у нас системы. Фермеры не ведут больше дел с кочевниками: им нужны бумажные деньги, чтобы покупать женам японские сандалии и транзисторы. Дальше он говорит, что благонамеренные белые люди пробурили колодцы и сделали прививки скоту против чумы, и это настолько увеличило стада, что животных пришлось выгонять в пустыню. Так что, говорит он, дело не в засухе, а просто в плохой экологии.

Брови Клипспрингера, изящные серебристые полоски, подстриженные, но не слишком, поднимались вверх и опускались под влиянием эмоций, бушевавших за его лбом, подобно тому как вздымались и опускались барки Ра в зависимости от его настроения. Брови Клипспрингера взлетали высоко, приподнимая его тяжелые веки и высвобождая влажные карие глаза, заботливо глядевшие на сидевших за столом. Когда он заговорил, его баритон дрожал от волнения.

— Майк, — сказал он, — передай от меня этому человеку: проблемы не существует. Наши ребята-техники могут ликвидировать любую беду, какую создают машины. Вам нужно лишь немного вложений в развитие страны, соорудить плотины в вади и насадить высокоэнергетическую траву пампасов — ее качества открыли ребята из зеленой революции. У вас тут в основе своей прекрасная страна, и мы готовы взять на себя ощутимые обязательства в отношении ее будущего. Скажи этому человеку, что мы очень чутко относимся к экологии, так что он может не беспокоиться. Люди очень волновались на Аляске, а теперь перестали. Карибу никогда лучше не жилось. Наши ребята каждый день творят чудеса.

— Я хочу, чтобы этот убийца был предан суду! — неожиданно воскликнула миссис Гиббс из глубин своего горя, подстегиваемая нетерпением, тошнотой и нереализованным сексом. — Я хочу, чтобы Дон был отомщен. — На одном из ее обнажившихся зубов было видно пятнышко помады.

Клипспрингер ловко положил руку на ее кисть.

— Анджелика, возмездие не входит в международное право. С точки зрения международного права возмездие — это ни-ни. Вместо него происходит перегруппировка.

— Мадам — гостья нашего государства, — заверил ее Эзана. — Мне больно подумать, что ей будет отказано в Куше в чем-то, чего она желает.

Кутунда, приревновав своего бывшего начальника к этой веснушчатой дьяволице, приехавшей из страны, где лед уходит в землю, принялась рассказывать длинную историю о том, как Эллелу взял ее в плен: он ворвался в хижину, где она спала, целомудренная дочь глубоко уважаемого дибиа, и осквернил ее тело своей мочой, после чего никто уже не взял бы ее в жены, так что ей пришлось стать его наложницей — другого выбора не было. Он держал ее взаперти, заставлял выполнять всякие свои грязные требования; даже не позволял учиться грамоте и печатать на машинке. Молодой человек в феске, владевший языком capa почти так же хорошо, как и своим фула, пришел в восторг от ее рассказа и старался сдержать смех, чтобы не пропустить ни слова. Эзана владел языком capa не настолько свободно, чтобы следить за потоком крепких и пахучих словечек, и по окончании рассказа заметил, обращаясь к белой вдове:

— У этой дамы, атташе по вопросам культуры, тоже есть претензии к нашему президенту. К сожалению, за последние полгода он действительно совершил немало непопулярных поступков. Его намерения не всегда приносят хорошие результаты. Он предал смерти нашего старого короля, которого многие из тех, кто живет у реки, боготворят.

— Но где же он? Где *он* ? — возопила Анджелика.

— Он отправился, можно сказать, с миссией доброй воли, — сказал Эзана, взглянув на черный циферблат своих часов, словно в его плоской глубине содержалось не только время, но и пространство, подобно тому, как жизнь содержится в спиральке ДНК. — Трудно сказать куда.

— Где... йон... есть? — неожиданно выдавил из себя по-английски, запинаясь, исполняющий обязанности министра внутренних дел. — Йон... есть... *тут!*

Все рассмеялись, кроме миссис Гиббс, и Эзана повернулся к Клипспрингеру.

— Давайте обсудим то, что вы называете «расширением наших отношений». Если строить институт Брайля, это должно быть сделано руками местных рабочих, набранных из новообразовавшихся масс городских безработных, следуя принципам африканского гуманизма.

Американский дипломат опустил веки и соскреб пепел с сигары на край тарелки, хранившей несколько скромных ленточек кислой капусты и перетянутые резинкой концы съеденных сосисок.

— Конечно, — сказал он. — Возможно, с небольшой сетью магазинов, бутиков и агентств путешествий — ничего шумного — на первом этаже. Мы хотим помочь вам обрести себя. Утверждение личности — основа свободы. А народ, который не самоутвердился, является врагом свободы. Народ ненавидит Америку, потому что ненавидит себя. Прогрессивный, процветающий народ, каков бы ни был его расовый состав и политические убеждения, любит Америку, потому что, откровенно говоря, по моему не такому уж непредубежденному мнению — просто факты подкрепляют меня, — Америка достойна любви. Америка любит все народы и хочет видеть их счастливыми, потому что Америка сама любит быть счастливой. Мистер Эзана, вы и этот ваш босс, — и он махнул рукой в сторону обладателя сливовой фески, который с готовностью улыбнулся и так сжал под столом колено Кутунды, что от боли губы ее еще шире растянулись в улыбке, — возможно, удивляетесь, почему американская революция просуществовала почти двести лет, а ваша захромала всего через два-три года. Ответ один: наши отцы-основатели обещали нам только счастливую жизнь. И наши люди все еще стараются ее достичь и никогда не достигнут. Если бы они ее достигли, то повернулись бы к ней спиной и стали во всем винить революцию. В этом состоит секрет, если вы меня поняли.

— Эд, прекратите, — сказала миссис Гиббс. — Что вы предпринимаете по поводу Дона?

— Мы над этим работаем, — заверил он ее. — Сначала вы сказали, что хотите получить его прах, а теперь вам нужна месть.

— У нас есть город, которому мы, пожалуй, преждевременно дали имя и теперь могли бы переименовать его, — предложил Эзана, — в Гиббсвиль.

— А где этот город? — спросила миссис Гиббс.

По лицам пробежала искра взаимопонимания, и Эзана печально признался:

— Мы не можем вам сказать.

Она обвела взглядом сидевших за столом и увидела сквозь слезы черные лица, хранившие за улыбками тайны, тайны.

Эзана посмотрел на нее и поверх рыжеватой массы ее волос увидел сквозь поставленное с наклоном зеркальное стекло, создававшее панорамный вид на такой высоте над городом, что ни запахи, ни страдальческие стоны не могли сюда долететь, юго-восток Истиклаля: оживленную, построенную как по линейке деловую часть города прямо под небоскребом, узкие полихромовые коробки с надписями на многих языках, включая даже родной язык лавочников — хинди; вереницы верблюдов и велосипедов, привязанных и припаркованных на немощеной площади перед мечетью Судного Дня Беды; саму мечеть с ее минаретом в виде одинокого фаллоса и куполом, как грудь из голубых изразцов; бульвары, которые французы проложили сквозь мешанину грязных ромбовидных и кривых переулков; засохшие каштаны и тополя, вытянувшиеся вдоль бульваров и окружающие мрачным облаком пастельные виллы Ле Жарден; собранное из кусочков, блестящее под солнцем одеяло скопища лачуг в Аль-Абиде; слева — аэропорт и узкая дорога на Собавиль; справа — почтенный район Хуррийя на холме с беспорядочно разбросанными домами, который словно уютное плечо подпирает розовую скалу под западным крылом Дворца управления нуарами; дальше — сук, покосившийся док и пироги, а еще дальше — черный изгиб берега голубой Грионде. «Люблю тебя, люблю тебя», — крутилось в мозгу Эзаны, и усталое лицо белой женщины, которой явно нездоровилось, и веселье, возникшее между сливовой феской и химической блондинкой Кутундой, и уверенность заверений седого американца, что все будет взято под контроль, — все сливалось с этой всеохватной круговой панорамой. Так в Куше рождалась политика любви.

Хребет Иппи — явление глобальное: он таится под долинами Северной Европы, натужившись, изрыгает гору Этна и Валье дель Бов, проходит под Средиземным морем и тянется на юг почти до Йоханнесбурга. Космонавты на своих орбитах видят этот хребет лучше, чем Великую китайскую стену. А те, кто живет на нем, вовсе не видят. Согласно теории смещения континентов хребет Иппи является той линией, по которой со временем Африка расколется на две половины — не так, как с человеческой точки зрения казалось бы разумным, не по оси восток — запад, когда одна треть исламско-кавказского мира отделилась бы от преобладающей южнее пятнадцатой параллели негроидной расы, а по долготе, так что все наше разнообразие рас и климатов не только сохранится, но и удвоится. Ошибочное деление по долготе, примерами которого являются пролив Эресунн, политическое разделение Германии на две части, озеро Танганьика и алмазные копи Кимберли, приводит к геологическим аберрациям, и уже давно ходят слухи о странных явлениях — появлении оазисов, гула, зарева — поблизости от хребта Иппи, рассекающего пустынное однообразие центрального Куша.

Тем не менее президент был потрясен, когда на второй день его унылой однообразной поездки с мрачным Опуку и избегающим разговора Мтесой машина на второй скорости повернула на спуске и на крутом розовато-сером восточном склоне хребта в глаза сквозь ветровое стекло ударила изумрудная зелень.

В некоторых частях света эта зелень была бы воспринята просто как загородная лужайка, здесь же такая яркость казалась зловещей, словно привидевшееся им вдруг лицо Руля. В глубине лужайки стояло опасное сооружение — низкий фермерский дом с кирпичным фасадом, зачем-то побеленным неровными мазками, и стенами из алюминия, окрашенного под дерево. Аналогичные, хотя и не совсем такие же дома стояли по обе стороны дороги, которая превратилась в изогнутое асфальтовое шоссе, именуемое строителями «серпантином». Разбрызгиватели расцвечивали радугой кристаллически сухой воздух. Других признаков жизни — даже одинокого почтальона — не было видно. Дети, должно быть, находились в школе, домохозяйки — в супермаркете. Или же это поселение было сооружено, просто чтобы помучить его. Эллелу чувствовал небрежность в постройке, что-то приевшееся, как в городках, которые мелькают мимо, пока пассажир дремлет над развернутой на коленях картой, а шофер крутит радио, стараясь найти нерелигиозную станцию. «Что же до неверных, их творения — как мираж в пустыне. Мучимый жаждой путешественник думает, что это вода, а подойдя ближе, не обнаруживает ничего. Он обнаруживает там Аллаха, который сполна вознаграждает его». Слишком скоро, учитывая, какие пространства находились в распоряжении строителей городка, серпантин сменила уродливая прямая дорога с супермаркетами, мусорными свалками и модными ресторанчиками в подвалах. Мтеса и Опуку, сидевшие впереди, зашумели: они никогда прежде не видели заправочных станций с пластмассовыми вертушками или киосков по продаже мороженого в виде высокого стакана с пломбиром и вишенкой наверху, играющей роль кондиционера. Или золотые параболы «Макдоналдса», скудной едальни, совсем маленькой по сравнению с гигантской рекламой и целым исполосованным озером для парковки. При виде этих чудес Мтеса и Опуку сначала забормотали, а потом громко, весело принялись восторгаться — так восторженно смеялись бы перепуганные люди, попав в водяной туман грохочущего водопада.

Прямая дорога привела их в унылый маленький «центр» города со светофорами и тротуарами. Здесь вид соотечественников в ковбойских шляпах, джинсах, цветных рубашках с короткими рукавами и легких летних деловых костюмах вызвал еще больший взрыв восторга, что взбесило Эллелу, который пытался спланировать свое наступление и сконцентрироваться, отбросив поверхностное. Он надел черные очки. «Мерседес» сбавил ход и стал ползти. Под навесами, возле счетчиков, измеряющих время стоянки, прошла молоденькая девушка, моложе и грубее Шебы, в абрикосовом бюстгальтере, бумажных трусах с рваной бахромой и выцветшими сердечками на ягодицах и в блестящих зеленых платформах десяти сантиметров высотой. Она сосредоточенно жевала пузырчатую резинку.

Опуку высунулся из машины и крикнул ей на народном арабском:

— Куда идешь, деточка?

— Туда, где тебя нет, толстяк, — был ответ, на котором поставил точку выпущенный ею пузырь, что вызвало новый взрыв веселья у двух солдат.

Девчонка, давшая отпор, бросив искоса томный, вызывающий взгляд, каким пользуются кушитки в потенциально допускающих компромисс встречах, проходила как раз мимо витрины «За пять и десять», и плохо сочетаемое обилие товаров на ней — пыльное множество игр, пластмассовых игрушек, мячиков, инструментов, игральных карт — породило в груди Эллелу жажду разрушения: уничтожить все это, упростить, *избавиться*. Руки его дрожали. Он попытался рассуждать спокойно. Этот нарост в сердце Куша не лава, а артефакт, множество артефактов, созданных здесь с помощью денег. А там, где деньги, там и ограбление, — это доказывает Маркс. Должен существовать капитал, эксплуатация, трансмутация сырья. Словом, промышленность. А там, где промышленность, — там и машины, тщательно расставленные и налаженные. Эту установку, эту наладку можно уничтожить, а вместе с ними и все дьявольское сооружение. Этот город пропах чиновничеством, голубыми воротничками. Фрэнчайз был чище со своим озером, по которому гулял ветер, со своим увитым плющом святилищем. Многие мужчины на этой улице были в промасленных комбинезонах, а некоторые в алюминиевых шлемах.

Эллелу попросил Мтесу остановить «мерседес» перед входом в «Магазин армии и флота», который, как он обнаружил войдя, обслуживал главным образом пролетарскую молодежь, и выбор здесь, на хребте Иппи, так далеко от центров распределения товаров, — особенно для человека роста и комплекции Эллелу, — был до нелепости ограничен. В обмен на свою униформу цвета хаки, — продавец из племени галла был счастлив получить ее, так как ее блеск и мягкость, приобретенные в носке, не могут быть воспроизведены машиной и высоко ценятся молодежью, — и несколько тысяч лю Эллелу приобрел не засаленный серый комбинезон, какой он видел на улицах, а синюю спецовку с нагрудником и двойной прострочкой, которая от новизны стояла колом, вместо шлема — допотопную шахтерскую каску и лимонно-желтую трикотажную рубашку с надписью: *«Неуклюжих легко любить»*. Облачившись таким образом, диктатор начал, по своему обыкновению, общаться с народом, — Мтесу и Опуку он противозаконно оставил в зоне разгрузки.

Солнце Сахары безжалостно било по поблескивавшим сооружениям этого обреченного пригорода пустоты. Эллелу чувствовал, как эта обреченность жжет его. Ему захотелось пить, и он зашел в магазин мелочей. Внутри было прохладно. В аптечном отделе высокие фиалы с подцвеченной водой служили символами магической силы лекарств. Вертушка с солнечными очками стояла запыленная, нетронутая. Содержимое полок было лишь прореженной тенью того, что лежало в магазине мелочей в Фрэнчайзе. Если читателю покажется, что поверхностный анализ психологического состояния диктатора, произнесенный лишенной тела головой, нашел подтверждение в галлюцинациях и воспоминаниях о Фрэнчайзе, штат Висконсин, он должен понимать, что данный город во всех отношениях уступает процветающему производителю бумаги на берегу озера. Это типичная для «третьего мира» попытка создать промышленный городок, вытянувшийся едва на ширину квартала в обе стороны от главного «прохода» на скудной земле, лишенный истории и тени деревьев, с горожанами-африканцами, с бессистемной и даже, можно сказать, вялой торговлей. Фрэнчайз по сравнению с этим местом выглядел как любовно подстриженный и глубоко посаженный куст гортензии по сравнению с перекати-полем.

Продавец в аптечном отделе, высокий черный хассунец в традиционном, застегнутом на все пуговицы, антисептическом халате, посмотрел с улыбкой на шахтерскую каску переодетого тирана.

— Аллах добр, — сказал он. — Чем могу служить вам, сэр?

— Я хочу пить, — пояснил Эллелу. — У вас есть фонтанчик с содовой водой?

— Такие выкрутасы уже много лет как вышли из употребления, — принялся он разъяснять, — когда подскочила до небес минимальная плата за содовую. Вы, видно, живете в прошлом. Машина, которая продает безалкогольные напитки, стоит в глубине магазина, рядом со стойкой с пластмассовыми яйцами, в которые упрятаны тонкие шелковые колготки. Будьте осторожны, дружище, не уроните в банку металлическое ушко после того, как ее откроете. Не один из моих клиентов задохнулся и умер таким образом. Мы это называем «Смерть последней капли».

— Мне нужен, эфенди, также совет, — сказал ему Эллелу, обретя уверенность, так как понял по акценту и манере говорить своего собеседника, с кем имеет дело. Несмотря на смело выставленные товары, магазин явно не слишком часто посещался, и продавец не утратил свойственной обитателю пустыни любви поговорить. Слова расцветают там, где ничто больше не цветет. — Я ищу полезную работу, — признался Эллелу.

Продавец поднял локти и протер длинными, мягкими, как тряпки, руками стекло стенда, за которым стоял.

— А какого рода работу мог бы джентльмен выполнять?

Диктатор неожиданно растерялся. Факир, землекоп, продавец апельсинов — его нынешний костюм не соответствовал ни одной из этих профессий. И тут он вспомнил мистера Каннинхэма, его румяное лицо в пятнах, накрахмаленные белые рубашки. Он сказал:

— Я занимаюсь страхованием. Утрясаю претензии.

— Я слышал о таких людях, — сказал аптекарь. Он неожиданно напрягся, словно спохватившись, что незнакомец может оказаться налетчиком. В голосе его появились суровые, угрожающие нотки. — Видите ли, сэр, работу здесь можно найти только на колодцах. Без колодцев и техники тубабов ничего бы здесь не было. Вы, смею надеяться, слышали о колодцах?

— Конечно, — солгал Эллелу.

— Грандиозные природные запасы, — торжественно объявил тот, снова расслабясь, и убрал со стекла свои рваные локти, обнажив лежавшие под протертым стеклом пакетики презервативов цвета карамелек и кремовые вибраторы, нацеленные, словно прожекторы, во всех направлениях. — Углеводород, — произнес нараспев аптекарь. — В одном этом слове будущее, сэр. Дорога, ведущая из бедности, спасение нации. Валовой национальный продукт, торговый баланс — я уверен, вы знаете все эти термины. Им вполне может пригодиться человек с вашим опытом, сэр. Я слышал о несчастных случаях с машинами, чуть ли не взрывах. Советую вам предложить свои услуги, и мой барака пойдет с вами. Не хотите освежиться перед тем, как идти в кадры? Воспользоваться дезодорантом, прополоскать рот? Эти неверные придают большое значение личной гигиене. Бог видит душу, человек принюхивается к телу.

До чего, право же, нудный мужик! Лавочники так и засосут в болоте трепотни. Горе экономике, которая выставляет свои товары на полках мелочей. «Национализировать, — кипя от бешенства, подумал Эллелу. — Национализировать».

— Как мне найти эти колодцы? — спросил он.

— Держи нос по ветру, человече. Ты где-нибудь жил под землей?

— Я приехал с Балакских гор, — стал оправдываться путешественник. — Долгое время разбирался с одной претензией. Разреши мне задать еще один вопрос, очень простой — ты, возможно, даже удивишься. Скажи, пожалуйста, как называется этот город, в котором я очутился?

У аптекаря был действительно удивленный вид.

— Эллелу, — сказал он. И снова выпрямился во весь рост, стоя перед мириадами с латинскими названиями на своих полках, где были и сухие травы, и яды, полученные из насекомоядных растений, и любовные зелья, и сонные зелья, и антигистамины, и мочегонные. — *Эллелу*, — громко, словно муэдзин с высоты минарета, произнес он. — Это имя нашего вождя, борца за национальную независимость, Бога, сошедшего к нам бороться за нашу свободу, великого человека, чья железная воля сравнима с его стальным пенисом. — И, перегнувшись через прилавок, аптекарь прошептал: — Надеюсь, ты не с теми, кто вместе с этим архипредателем Микаэлисом Эзаной устраивал заговор против целей и учений нашего просвещенного главы.

— Я человек вне политики, простой профессионал, — с достоинством ответил переодетый диктатор, — и ищу заработок в период засухи.

— Здесь нет никакой засухи, добрый человек. Наш несравненный вождь, чьи враги за границей и у нас дома только попусту скрежещут зубами, уразумел, что наш хребет при наличии таких геологических разрывов сумеет удержать все жизненно важные жидкости — назовем лишь две: воду и нефть.

От того, с каким апломбом аптекарь переходил всякий раз от одной манеры общения к другой, у Эллелу создалось крайне раздражавшее его впечатление систематической неискренности, которая (подумалось ему) могла объясняться тем, что он ничего не покупал. Хотя ему по-прежнему хотелось пить, он от неловкости решил побыстрее уйти и потому сказал на прощанье:

— Бог добр.

— Бог велик, — был разочарованный ответ.

На улице солнце Сахары изо всей силы било по выцветшим навесам, незажженным неоновым надписям и лжекирпичным фасадам авеню, как гласило название, Окончания Беды. Эллелу вошел в закусочную, узкую, как беговая дорожка; все поверхности тут были в дымке стертых следов от рук и пролитых напитков. Эллелу заказал лаймовую шипучку и выпил ее залпом, втянув в себя через соломинку. Официантка в короткой юбке прочитала надпись на его рубашке и хихикнула. У нее было некрасивое лицо с торчащими зубами, однако ноги крепкие и гладкие и кожа здорового цвета. Эллелу заказал еще одну лаймовую шипучку и пошел с ней в кабину. В каждой кабине лежал селектор для музыкального автомата с крышкой под слоновую кость, стоящего в глубине закусочной, и Эллелу, листая его пожелтевшие страницы, к своему удивлению узнал некоторые песенки: «Шестнадцать тонн» в исполнении Теннесси Эрни Форда, «Рок-н-ролльный вальс» в исполнении Кэй Старр, «Блюберри-холм» в исполнении Толстяка Домино, «Моя молитва» в исполнении «Плэттерс». Эту последнюю он даже напевал, глядя на раскинувшиеся зеленые поля и серебристые силосные башни. Он почувствовал, что слишком много выпил шипучки. И крышка столика из пластика гнетуще действовала на него — ее часто протираемая поверхность слишком напоминала бесцветное небо. Эллелу встал, расплатился, дал официантке один лю на чай и пошел к выходу. Когда он уже выходил, музыкальный автомат заиграл со скрежетом «Письма любви в песке».

На улицах царила пустота сиесты. На пересечении авеню Окончания Беды с какой-то другой, на самом перекрестке находился овальный островок со статуей его самого в бронзе — даже солнечные очки и шнурки ботинок были больше натурального размера и бронзовыми, лицо его было затенено кепи, которое, как и эполеты, побелело от птичьего помета, — посреди фонтана, ритмично выбрасывавшего вверх покровы и призраки брызг, которые испарялись, прежде чем капли влаги успевали вернуться в каменную чашу, где эти неспешные взрывы питались. По краю этой большой чаши шло слово «свобода», написанное на двенадцати языках моей страны. На языке вандж нет такого слова — вся жизнь является той или иной формой рабства, и место, оставшееся пустым в гирлянде слов, отполировано до гладкости детьми, перелезающими через край чаши, чтобы пошалить в воде. Сейчас детей не было. Они сидят пленниками в школе, предположил Эллелу, думая о том, как точно фонтан отображает Вселенную, которая столь поразительно и безостановочно что-то излучает в никуда. Волнистая зелень венесуэльской густоты росла с подветренной стороны фонтана, чье мимолетное дыхание лизнуло его как языком, когда он переходил перекресток. Шагая по тротуару вместе со своей резко очерченной маленькой тенью в каске и мешковатой одежде, Эллелу положился на чутье. Магазины постепенно уступали место парикмахерским и печатным цехам с грязными окнами, за которыми виднелись ящики с алфавитами, собиравшими пыль возле молчаливых станков. Низкопробные кафе и бары ждали наплыва после смены рабочей клиентуры. Внутри бесцельно крутились под потолком однолопастные вентиляторы. Пол был покрыт опилками, и большущие зеленые бутылки охлаждались под мокрой мешковиной. В нос Эллелу ударил запах, такой же сернистый, такой же едкий и многогранный, как тот, что распространяли бумажные фабрики на озере в Фрэнчайзе. Там тоже при подходе к промышленному сердцу города, его сатанинскому raison d'être[[68]](#footnote-68), было скопление домов-трейлеров с храбро выставленными в окнах ящиками с цветами и ванночками для птиц, более многочисленных, чем стоящие там же низкие строения из шлакобетонных блоков с таинственными названиями или вообще без названий, — службы центрального комплекса, который, судя по всему, был на многие мили окружен проволочной оградой с красными объявлениями, предупреждающими о высоком напряжении, взрывчатых материалах и больших штрафах даже за появление в этих местах.

Эллелу подошел к ограде и заглянул за нее. За большой полосой заасфальтированной пустыни, что не позволяло определить ее реальные размеры, темной массой возвышались сараи со скошенной крышей, непонятные покатые настилы, бараки с черными окнами, конические трубы, башни с пламенем наверху и агрегаты с грохочущими насосами, издававшими многообразный стук и изрыгавшими океан химического запаха углеводорода. Башни с круглым, как шар, верхом, где происходит распад, и квадратные хранилища были связаны со своим источником снабжения серебряными спагетти параллельно проложенных труб. Язычки использованного пламени украшали это сооружение, словно флаги на замке. Хотя глаза Эллелу обнаружили лишь несколько человеческих фигур, которые при таком неопределенном масштабе могли бы и не быть замечены, вся эта чудовищная штуковина жила, что-то ела из земных недр и переваривала, превращая в экскременты, которые поглощал мир белых дьяволов. За этим смрадным, дымным, крутящимся, пульсирующим посланцем потребительства высился лиловатый западный склон хребта, слишком крутой для любой дороги, слишком голый для любой формы жизни, он висел словно занавес, за которым ждала, как брошенная наложница, концепция Куша. Но Эллелу не чувствовал запаха пустыни. Все, что он знал в стране, было уничтожено, кроме пустого неба над головой, такого интенсивно-голубого, что оно казалось фиолетовым.

Он пошел вдоль изгороди, шагая по пустым банкам и коричневым конвертам, в которых выдают жалованье, пока не дошел до охраны, фанерной конуры не больше телефонной будки, и попросил сидевшего там человека впустить его.

— Покажи пропуск.

— У меня нет пропуска, но есть дело.

— Тогда иди к главным воротам — они там решат. Какое у тебя дело? По одежде судя, у тебя не все дома.

— У меня есть претензия, которую надо утрясти. Я утрясаю претензии. Там у вас произошел несчастный случай.

Охранник, высокий вялый моунданг в грязном бурнусе, недоверчиво посмотрел на него.

— Никакого несчастного случая тут не было.

— Я унаследовал от моей матери дар предвидения, возможно, несчастный случай скоро произойдет, — ответил Эллелу и только собрался сочинить басню, которая расположила бы к нему охранника, как понял, что знает его. — Вадаль! — воскликнул Эллелу. — Вадаль, копатель колодцев, ты что, забыл своего слугу? Мы познакомились на севере Хулюля, в Рамадане, и вместе гнали из страны проникших к нам американцев.

Вадаль смотрел на меня из-под капюшона бурнуса с возрастающим подозрением и положил руку на ружье в караульной будке.

— Я помню много дыма и неразберихи, — сказал он. — И как мою Кутунду забрали у меня.

— Кутунду, которая была тебе ни к чему, которую ты отобрал у другого и которую, в свою очередь, отобрал у меня человек, который долго ее не продержит. Ты эксплуатировал ее, потому что тебя самого эксплуатировали. Пропусти меня, Вадаль, и мы учиним суд над этими осквернителями и эксплуататорами. Тут достаточно горючего для большого дыма.

Он все еще пытался восстановить в памяти, кто я, — так путешественник, выйдя из тени палатки, смотрит сощурясь и пытаясь понять, что перед ним — мираж или гора.

— Ты говорил, что ты Эллелу, — сказал он, — и плохо работал лопатой.

— Я плохо работал, потому что ты выбирал неподходящие места для рытья колодцев. Но сейчас чутье тебя не подвело. Как ты сюда попал? Сколько времени это место существует? Кто дает капитал и кто поставляет специалистов? Кто тут управляющий, кто президент компании?

— Мы никогда его не видели и никогда не спрашивали, — сказал Вадаль по-прежнему недружелюбно, прижав к себе ружье. Сквозь прореху в бурнусе я увидел его вяло лежавший член. — Он нас кормит и платит нам, и ничего больше не нужно. Он дает людям заработать и увеличивает валовой национальный продукт. Еще несколько колодцев, и мы станем второй Ливией, вторым Оманом.

— Второй Байонной, вторым Галвестоном, — сказал Эллелу. И скомандовал: — Пропусти меня в этот ад.

Вместо того чтобы послушаться, Вадаль замахнулся ружьем, словно собираясь ударить прикладом. Счастье от возможности воздать за старую воображаемую обиду осветило его угрюмое лицо, но тут по трескучему, усеянному мусором проулку незаметно подкатил серый «мерседес», и Вадаль опустил ружье. Эллелу жестом дал понять, чтобы машина ехала дальше, и повернулся спиной к охраннику: у него родился более фантастический план, чем проникновение с помощью грубого принуждения.

Он вернулся на улицы этого нового мира, названного его именем, в парикмахерские и магазины мелочей, склады с дешевой мебелью и магазины «За пять и за десять», в бары и конторы по продаже недвижимости, каморки, где чинят электроприборы, созданные, чтобы служить без починки, и в киношки, где оцепеневшие зрители таращат глаза на то, как гигантские розовые половые органы трудятся под симфоническую музыку, и всюду Эллелу спрашивал обитателей Куша: «Вы счастливы?» Если они от смущения молчали, или буркали: «А вам-то что?», или вызывающе бросали: «Да», или не менее вызывающе: «Нет», или отвечали уклончиво, он, не отступаясь, говорил: «Те, кто не вполне счастлив, следуйте за мной». И некоторые шли за ним, хотя многие воздерживались, а иных притягивала толпа, связанное с ней обещание чего-то интересного, ее нацеленность — ведь хотя они жили сравнительно обеспеченно, однако сама природа экономики, необходимость оправдывать рост производства повышением потребления рождали легкую лихорадку неудовлетворенности и неопределенных надежд. Этот маленький коричневый человек в накрахмаленном нелепом костюме, с его приятной военной выправкой, возбуждал надежды, как возбуждает комета, серийный убийца, государственная лотерея, верблюд-альбинос или что угодно, что уменьшает голодные боли повседневности. И вот Эллелу во главе толпы потребовал у главных ворот, чтобы его впустили.

Вадаль, должно быть, предупредил своих хозяев о грозящей неприятности, так как за запертыми воротами из перевитых проволокой труб стояло несколько вооруженных охранников в форме, а из алхимии нефтеперерабатывающих установок был вызван тубаб. Он был низенький, красный и взволнованный, в рубашке на пуговицах, с закатанными рукавами и несколькими ручками в кармашке. Какие-то ручки протекали, оставив синие пятна. Это был простой клерк, застенчивый инженер, агент агентств, находящихся в далеких стеклянных городах. Он был одного со мной роста и смотрел прямо мне в глаза сквозь очки со стеклами без оправы и проволочную сетку, по которой пропущен ток.

— Вы хотите получить работу? — спросил он.

— Я хочу справедливости. Мы хотим компенсации.

— М-м... по-моему, вы пришли не туда. Верно? — обратился он к появившемуся рядом с ним высокому черному нуару в клетчатом костюме с жилетом из какой-то скользкой синтетической летней ткани, с широкими, как крылья канюка, плечами; в руке он держал дощечку с зажимом.

— У этого сопляка наверняка есть претензия, — сказал черный и, обращаясь ко мне, добавил: — Я тут работаю по связи с общественностью. Так в чем дело, приятель? — Лоб у него был в шрамах, положенных нуарам, но по-американски он изъяснялся гладко.

— Я — Эллелу, — сказал я ему.

— Конечно, а я — О. Джи. Симпсон. И я тебе не нравлюсь.

— Я пришел не за рубашкой. Я пришел, чтобы установить справедливость или все уничтожить.

— Вот как! И что же за справедливость ты имеешь в виду? Большую справедливость, маленькую справедливость или справедливость по-мирному?

— Справедливость для всех. Граждане Куша, что стоят за моей спиной, утверждают, что они недостаточно счастливы.

— Что же тут нового? Они в лепешку разбились, чтобы попасть сюда. Видите ли, я не знаю, как хорошо вы знаете местную ситуацию, но возможностей у нас тут не так уж много. Мы не зовем людей сюда, мы от них отбиваемся. Это экспериментальный проект, мы стараемся сдерживать наши рамки.

Эллелу устал задирать голову и смотреть на бойкого представителя компании.

— С чьего разрешения возник этот проект? — спросил он у толстого белого дьявола.

— Насколько я понимаю, со всеобщего. Мы имеем дело главным образом с министерством внутренних дел. Президент — человек осторожный: он дал городу свое имя, но держится на расстоянии. Первые контракты были заключены до того, как я сюда прибыл, — нас держат здесь всего год: это считается тяжелой службой. Доля моей компании в этой операции ничтожна, но начальство в Техасе имеет слабость к «третьему миру». Председатель совета директоров пришел с фермы, где выращивали репу.

— Этот проект не бизнес, — вставил тот, что отвечает за связи с общественностью, несколько суховато, как бы в порицание словоохотливости своего начальника, — это *филантропия*.

— Значит, вы не главный начальник? — спросил Эллелу тубаба. — Какое положение вы занимаете?

— Мое звание — инженер, а моя работа — ремонт. Открытие нового месторождения в такую пору — это безумие, лучше работать исправным оборудованием в уже разведанном месте. Я всю жизнь занимаюсь гидравликой и жидкостями. Это просто чудо, что можно выжать из камня, если знать, где его проткнуть. Там, внизу, под куполами, столько воды, что можно затопить Хулюль.

— А нефть? Она хорошая?

— Отличная, — сказал инженер, разболтавшись от облегчения, какое испытывают неверные, когда речь идет о работе, а не о чувствах или идеологии. — Она поступает без напора, так что можно даже ее попробовать. Такой слабой буровой грязи я не видел — разве что в Оклахоме. Вы разбираетесь в нефти? Когда вы расщепляете самую сырую методом Бэртона...

Сотрудник по связи с общественностью прервал его:

— Вы зря тратите время на этого человека. Он же террорист. Его не интересует правдивая информация.

— Так или иначе, — не желая расставаться со сферой своей деятельности, заключил тубаб, — ваш мистер Эзана рад-радешенек — у него есть для этого основания.

Толпа, устав присутствовать при этом техническом разговоре, который все равно никто не слышал, принялась скандировать: «Эллелу, Эллелу...» Сотрудник по связи с общественностью с плечами-крыльями и шрамами нуаров на лбу уловил опасность ситуации, хотя и делал вид, что не узнает президента. По его команде появилась небольшая армия бородатых замученных парней с мотками проволоки и набором электроники — громкоговорителями, трансформаторами, тюнерами. Все это было расставлено на выжженной земле. Когда связь была налажена, сотрудник по связи с общественностью взял в руку микрофон, похожий на фаллос с гландами из мягкой черной резины, дыхнул в него для проверки и, удостоверившись, что он работает, произнес:

— Дамы и господа, рабочие и независимые профессионалы, все граждане Куша, любого племени и цвета кожи: возвращайтесь домой и на ваши рабочие места. Этот безумец, несомненно, вдохновленный религиозными побуждениями, которые он считает истинными, ввел вас в заблуждение, нарисовав картину нереального счастья. Ваши надежды на настоящее счастье, иными словами, на сравнительное отсутствие напряженности и лишений, осуществят не абсолютисты и пророки, способные творить чудеса, а сбалансированные капиталистические инициативы и социалистические посредники. Позвольте иностранному капиталу и опыту приобщиться к вашим природным ресурсам и врожденным культурным формам. — Он бросил взгляд на свою дощечку и продолжал: — Африканский гуманизм ваших предков, в противоположность похожим на муравьиные кучи объединениям Азии и невротическим сублимациям христианского Запада, внушает вам идеалы терпеливого радостного труда, интуитивного здравого смысла и многоканальных родственных связей, которые скорее укрепляют, чем размывают индивидуальность. Не приносите, дамы и господа, свою бесценную личность на алтарь деструктивных затей лжеспасителей. Бога нет, хотя вы вольны поклоняться кому хотите, как вольны заниматься своеобразным сексом с согласным взрослым партнером.

Речь продолжалась слишком долго — не столько для толпы, которая, перестав скандировать «Эллелу», подпала под обаяние оратора сообразно нашей, в основном устной, культуре, сколько для американца, наивно нетерпеливого и с маленьким запасом внимания, а кроме того, жаждавшего самому произвести впечатление славного и сильного человека, не стремящегося «устраивать церемонии» и преисполненного сознания «честной игры»; теперь он взял микрофон у своего разговорившегося помощника и прогрохотал в него:

— Откройте ворота, мы не боимся этих добрых людей. Промышленность была хорошим другом этого оазиса, и, ей-богу, мы намерены и дальше быть им.

Ворота открыли, толпа со смехом протиснулась на территорию. Молодые ребята-техники поспешно переставили свое оборудование и отключили провода, а Эллелу в этой сумятице — осторожно, словно беря легкий предмет в розовую ладонь, цветок или стакан вина, налитого в честь события, — отобрал у них микрофон. Он стал всемогущим, будто у него появилось оружие; толпа остановилась, освободив для него в виде сцены небольшой участок голой земли. Сердце у него бешено колотилось, рука, державшая микрофон, казалась ему самому маленькой и сморщенной. В его мозгу ветром проносились разные мысли. Снова возникло воспоминание о Шебе — ее печальные глаза обманутой женщины искали встречи с его взглядом сквозь покров ткани и кораллы, — а с ним усталость от отсутствия рядом женщины и легкое сожаление о той, которая лаской избавила бы его от злости и уложила спать. И тут он заговорил, и дыхание, вырывавшееся из его горла в узкое пространство между губами и пористым концом микрофона, отдавалось грохочущим эхом в его ушах, которое, казалось, накрывало весь мир и подавляло всевозможную вредность, и сердце его успокоилось среди грохота собственного голоса.

— Граждане Куша! Вы были ужасно обмануты! Махинации Руля, дьявола пустыни, а также фокусы с мертвой головой Эдуму Четвертого в сочетании с вероломством живого Микаэлиса Эзаны привели к тому, что вы живете в этой чумной дыре, именуемой Эллелу! А Эллелу — это я! И я — свобода!

Он сбросил шахтерскую каску, чтобы показать свое лицо. Приветствовали его менее бурно, чем он ожидал. Сотрудник по связи с общественностью сделал было движение, чтобы отобрать у него микрофон, но тут же застыл и стоял с пустыми руками, проверяя свой маникюр и посвистывая сквозь зубы в попытке отвлечь внимание.

— Что такое свобода? — продолжал тем временем Эллелу. — Можете ли вы делать вид, что она существует, если вы в цепях, можете ли держать ее в каменных стенах, за стальными дверями, на пространстве, окруженном изгородью, по которой проходит ток?

— По изгородям пропущен ток, чтобы обезопасить нас от подростков и бродячих собак, — поспешил шепотом вставить сотрудник по связи с общественностью.

Эллелу пренебрег разъяснением и поспешил дать по громкоговорителю сам собой напрашивавшийся ответ:

— *Нет.* Эти страшные материальные вещи не приносят свободы, они приносят противоположное — рабство. А свобода — понятие духовное. Свобода — это покой в мозгу. Свобода — это пренебрежительное отношение к миру, который Аллах отбрасывает, как пар, как видение. В Коране говорится: «Горы, хоть они и твердые, исчезнут как облака». Коран спрашивает: «Слышали ли вы о Явлении, которое поразит Человечество?» Свобода — предшественник этого Явления, ее ослепительный свет — единственный верный свет, от которого растают наши цепи и превратятся в пар стены наших жалких жизней!

Сотрудник по связи с общественностью, стоявший рядом, буркнул:

— Загоняйте мяч в лузу. Мы можем дать вам еще пять минут.

Эллелу заговорил, и микрофон превратил его слова в облака, которые понеслись над покрытым рябью морем черных лиц.

— Вы видите рядом со мной купленного черного человека, одетого в костюм белого и наученного бойко излагать трюкачества белого человека. А слева от меня вы видите живого розового дьявола, с виду кроткого, как ягненок, впервые сосущий мать на окутанном утренним туманом пастбище, а на самом деле смертоносного, как яд, который скорпион приберегает для змеи. За моей спиной вы видите чудовищную пирамиду с мерзким запахом и мерзкой целью, паразитирующую на земле Куша и развращающую его народ. Как ваш президент, я велю вам, как ваш слуга, я прошу вас: уничтожьте эту вторгшуюся к нам грязь. Несколько хорошо нацеленных пуль сделают свое дело. Эта вспышка навсегда осветит ваши сердца и станет темой песни, которую вы сможете петь своим внукам!

— Он призывает к насилию! — произнес белый мужчина за спиной Эллелу.

— Он, наверно, шутит, — успокоил его сотрудник по связи с общественностью. И поднял три пальца так, чтобы Эллелу мог их видеть, показывая оратору, что по непонятным законам техники у него осталось всего три минуты.

— Находящийся за мной зверь, который пьет священную черную кровь нашей земли, выбрасывает дым и синее пламя и очищает побочные продукты нефти, так же смертен, как и любое другое существо, — объявил в микрофон Эллелу, — и я советую моим солдатам послать первые пули в яремную вену, а именно: в голый трубопровод, выводящий пары бензина из башни, где происходит деление, ниже шара конденсатора. — Он сам удивился, как это он сумел изложить. Это все равно как держать горячие уголья во рту — нужно только иметь слюну и веру.

Однако солдаты не стреляли. Они стояли в своей серой униформе среди пестрой толпы, наивные, озадаченные мальчишки из палаток пастухов и травяных хижин, и ждали появления кого-то, кто мог отдать им приказ.

Эллелу пытался стать этим кем-то с помощью всего лишь своего голоса и двух электрических минут, которые могли возвысить его над массами. А толпа, по-прежнему добродушно настроенная и, возможно, жаждущая потрогать сказочное электронное оборудование, на котором все еще стояло написанное осыпающимся золотом имя ныне распущенной, погубленной наркотиками рок-группы «Ле Фазз», или «Пушинка», придвинулась ближе, опасно близко. Пытаясь собраться с силами, чтобы говорить дальше, Эллелу почувствовал, как за его спиной сотрудник по связи с общественностью и белый инженер обмениваются наспех написанными планами чрезвычайных мер, «сценариями», а кроме того, в его носовых пазухах появился, перекрывая химическое промышленное зловоние, какой-то непонятный запах. У этого запаха была пронизывающая сладость, напоминавшая о шерстяных вещах, и опавшей листве, и розовых щеках людей кавказской расы, и — да, безусловно, — о свежих, покрытых глазурью пончиках в закусочной вне студенческого городка, которыми кормили студентов, искавших прибежища от минусового холода висконсинского утра между занятиями. Пончики лежали на вощеной бумаге, еще теплые, только что вынутые из печи, тесто в них было такое пушистое, что прямо таяло во рту, оставляя сладкий вкус и чешуйки глазури на губах, — как этот запах, предвестник вкуса, мог появиться здесь и так живо напомнить все Эллелу в промежутке между его ораторствованиями, что рот его наполнился слюной? Никакой тележки с едой для рабочих не было видно, однако запах не исчезал из его носа. А в ушах стоял скрип карандашей врагов. Эти отвлекающие факторы поколебали хрупкую чашу с перегонкой его обращения к народу, с концентратом его космического возмущения и, пожалуй, помешали ему произнести эту свою последнюю публичную речь так хорошо, как следовало. Низким голосом, деловым тоном он вновь заговорил о производимых из нефти продуктах.

— Вы можете спросить, что капиталист-неверный делает из бесценной черной крови Куша. Он получает из нее, конечно, горючее, которое позволяет ему и его разжиревшей, сварливой семейке, до того перебравшей сахара и крахмала, что все лица в прыщах, раскатывать без надобности на машинах и посещать друзей, которые им вовсе не рады. Вместо того чтобы жить и работать, как мы, в одной деревне с близкими, американцы разбрасывают родных по всей стране, которую они похоронили под гудроном и камнем. Они потребляют также нашу кровь на своих заводах и в небоскребах, где свет горит всю ночь и стоит жара, как в полдень в низине Хулюль! Народ мой, в моих странствиях, которые я совершал только из любви к вам, чтобы лучше нести ваше бремя, я был в этой стране дьяволов и могу вам сообщить, что они делают из вашей священной крови скользкие зеленые мешки, в которые складывают свои отбросы и даже листья, падающие с деревьев! Они делают из нефти игрушки, которые ломают их дети, и бигуди для завивки волос, в которых, как по глупости считают их толстые жены, они будут красивее выглядеть, когда отправятся в супермаркеты покупать еду, упакованную в прозрачную бумагу, сделанную из нефти и выращенную с помощью удобрений, полученных на основе вашей крови! Из вашей крови они делают дезодоранты, чтобы скрыть данные Богом запахи тела, и воск для спичек, с помощью которых они раскуривают свои смертоносные сигареты, а также воск для чистки обуви, тогда как народ Куша ходит по обжигающему песку босиком!

Появился новый запах, тоже сладкий, но острый. Эллелу пытался определить его, переходя на более общие и более духовные темы.

— Таковы безумства, творимые расой, которая презирает и Маркса, и Аллаха. Мир стонет от алчной вульгарности этих неверных. Они досуха высасывают обширные слабые государства во имя своего изобилия и извращенного вкуса. Земля, ставшая поставщицей мелких удобств и искусственных радостей, может лишь превратиться в пепелище, в обглоданную кость, вращающуюся в пространстве. Приблизьте Судный День, благословенные солдаты нашей патриотической армии, и расстреляйте этого гиганта, раба взяточничества, пошлите ему милосердную пулю в горло и восстановите на этом древнем хребте исконную пустоту, столь милую Аллаху, мудрому и всезнающему!

Эллелу наконец определил запах: так пахло розовое дезинфицирующее, похожее на мыло средство, которое прикрепляют под нижний край писсуаров в мужских уборных некоторых американских заправочных станций и ресторанов и которое всегда вызывало недоумение у юного Феликса, пока он не привык к этому настолько, что перестал удивляться.

— Вы можете сказать, что эти колодцы принесли воду. А я скажу вам, что Всевышний мог бы заставить реку течь по хребту. Вы говорите: здесь теперь растет трава, так что появилась пища для овец, растут фиговые и апельсиновые деревья, а то, что не растет, можно купить. А я говорю: Сахара некогда была вся зеленая, и Всемилостивый дал ей высшую красоту, красоту самого малого, неизменную, незагрязненную, необходимую. Сейчас в мире идет сражение между армиями тех, кто довольствуется необходимым, и тех, кто живет в условиях переизбытка. Присоединяйтесь к этому сражению. Господь дал вам сегодня в руки возможность разгромить и испепелить это зловредное явление на нашей земле, это зловонное вторжение!

Но понял ли он, интуитивно или как-то иначе, суть происходящего? Непонятное розовое вещество, несомненно, имеющее в основе нефть, находилось в выемке фарфоровых писсуаров, по которым стекала моча, — для чего его туда прилепляли? В качестве талисмана, джю-джю, жертвоприношения чистоте.

— Вы говорите, — выкрикнул он в микрофон, который казался ему сейчас узким горлом большой гулкой трубы из тыквы, — что здесь тяжело жить и что засуха сделала жизнь еще тяжелее. А я говорю: безоблачное небо является отражением безоблачной души Куша, души, освободившейся от тирании материального мира. «Восхваляй своего Владыку, сохраняй одежду в чистоте и держись в стороне от всякой грязи».

Дьяволы, стоявшие позади него, продолжали совещаться. А толпа, размеров и протяженности которой он не мог видеть, была подобна парусу на далеком озере Тиммебаго, который ждет, когда подует ветер и натянет парус или же, если направление неверно рассчитано, парус изменит угол наклона.

— Народ мой, ваш президент тяжело переживает засуху, она чуть меня не сломала, пока я не понял: засуха — это явившийся нам Свет, и то, что мы при этом чувствуем себя несчастными, — богохульство. Книга книг порицает: «Ваши души с колыбели и до могилы полны мирской корысти». Книга книг обещает: «Скоро вы узнаете. Если вы будете со всею несомненностью знать правду, вы увидите огонь Ада, — увидите собственными глазами». Народ мой, давайте разожжем большой костер. Белые дьяволы с их машинами проникли к нам через дверь нашей слабости, наших блужданий и нетвердой приверженности идеалам исламского марксизма, красоте Рождения, славе Куша, которой завидовали фараоны и которую проклинали христиане Аксума! Перестань блуждать, народ мой! Разрушь этот гнусный храм Маммону! Солдаты, стреляйте! Эллелу приказывает вам стрелять!

В молчании, воцарившемся в ответ, послышался голос сотрудника по связи с общественностью, который буркнул:

— О'кей, хватит!

И микрофон был вырван из руки диктатора. Сотрудник по связи с общественностью сказал в микрофон:

— У руководства есть вопрос, на который, я уверен, все здесь хотели бы услышать ваш ответ. Вопрос следующий: с чего вы взяли, что вы — полковник Эллелу?

— Сейчас я это докажу, — спокойно произнес Эллелу и умолк, дожидаясь, чтобы толпа расступилась и дала дорогу неопровержимому доказательству — президентскому «мерседесу».

Но толпа не сдвинулась в едином порыве, не отошла, как море, в сторону, зато каждая голова заинтересованно завертелась в ожидании, а объединения не произошло. Эллелу встал на цыпочки, затем подпрыгнул, опершись на крылоподобное плечо сотрудника по связи с общественностью. Он не видел ни Мтесы, ни Опуку, — впрочем, нет, подпрыгнув в третий раз, он обнаружил Опуку, который стоял пассивным зрителем по ту сторону ограды, а когда Эллелу подпрыгнул в четвертый раз, то увидел, что рядом с Опуку, жуя резинку, стояла девчонка в абрикосовом бюстгальтере. Ни Мтесы, ни «мерседеса» не было и следа, — лишь малиновые буквы на бетонном сооружении с пандусом, быстро пожелтевшие под солнцем Сахары, возвещали: АВТОСТОЯНКА.

А за надписью расстилалось бесцветное небо.

Толпа, поскольку никакого подтверждения не появилось, начала галдеть, считая, что ее обманули. Белый инженер — лицо его блестело от пота, а тонкие светлые волосы цвета навоза больной козы были прочесаны гребенкой, словно по ним прошла борона, — произнес в незаменимый микрофон:

— Что скажете, люди добрые? По-моему, мы дали этому парню шанс высказаться. Если кто из вас хочет пить, заходите в буфет справа от входной двери, получите бесплатно каждый по банке пива. Не толкайтесь — всем хватит.

— Это предательство, — сумел все-таки выкрикнуть Эллелу свои последние слова в качестве президента, прежде чем толпа со смертоносным ликованием покатилась по нему.

Он превратился в игрушку, в погремушку. Из колодцев продолжали качать нефть, а на другом конце города продолжали вращаться на лужайке дождевые установки. На небе появилась маленькая тучка.

## VII

Борьба человека с судьбой абсолютно чужда арабской культуре.

Сахайр эль-Каламави, 1976

Я остался жив. Предложение белого дьявола выпить бесплатно пива, пожалуй, спасло мне жизнь, так как толпа слишком спешила напиться и не задержалась, чтобы со смертоносным пылом, который я своей речью пытался зародить в моих слушателях, разделаться со мной. Сломанное ребро, распухшая губа, снятые ботинки, определенное количество плевков — и мое тело было оставлено в покое. Жизнь обаятельного руководителя страны не может быть усыпана одними розами. Мой бумажник с многоцветием лю, фотографиями моих четырех жен в одежде и моей любовницы Кутунды без оной, с кредитными карточками и пластиковым вечным календарем, с кодами сигналов воздушной тревоги и с номером личного телефона Брежнева тоже исчез, и это семиотическое богатство, очевидно, пополнило тайны какого-то ловкача, бывшего кочевника, чувствующего себя в безопасности на своем месте в этой зарождающейся нефтяной промышленности. Маленькая живописная казнь мерзавца пошла бы на пользу обществу. Я думаю... впрочем, моего мнения больше уже никто не спрашивает.

Быть босым и без бумажника в Куше, даже в этой модернизированной его части, не так уж страшно. Несколько дней и ночей нищенствования под дождем, лившим с такой же силой, как во времена, предшествовавшие Возрождению, когда меня не раз пинком отправляли подальше от двери гордящиеся своей собственностью бюргеры Эллелу, заставили меня осознать, что мой охранник действительно бросил меня на милость толпы, с которой при моей эксцентричности мне доставляло удовольствие общаться. После утраты Шебы мое падение произошло с такой же закономерностью, с какой отделение одного сегмента телескопа влечет за собой отделение и другого, более маленького. Такбир! Я вынужден был искать работу и кров среди счастливых отбросов. В студенческие годы безденежья за океаном я занимал целый ряд более чем скромных должностей — выполнял «негритянскую работу», как по-дружески называла это белая элита в Фрэнчайзе.

Та самая закусочная, где в последние сумеречные часы моего президентства я позволил себе выпить не одну, а две порции лаймового напитка, наняла меня раздатчиком, как только я показал, что кое-что понимаю в дрянной кухне, которой эти сатаны из Северной Америки с железными животами отравляют весь мир. Чизбургеры, беконбургеры, пеппербургеры; яичницы в самых разных вариантах — с «глазком», желтком вверх, желтком вниз; поджаренное рубленое мясо, жареный сладкий лук и горячая пастрами — все это было в моем репертуаре у шипящего, заворачивающего кусочки мяса гриля. Пирожки с яйцами и пиццы прибывали в замороженном виде с полюсов странствий Марко Поло — их требовалось лишь разогреть. «Героические» сандвичи уничтожались моими клиентами, которые все еще примитивно верили, что еда делает человека. С шести до двух или с двух до десяти я резал, переворачивал, подавал. Я жонглировал заказами среди моря музыки: если клиенты не подкармливали машины, выбирая мелодии, это делала Роза, как звали длинноногую официантку с торчащими зубами. Она до одурения все время что-то напевала и, однако же, была огорчительно некоммуникабельна: мои попытки соблазнить ее попадали на высохшую почву ее твердой решимости достичь больших высот вместе с мужем Бадом. Они жили в алюминиевой коробке на краю города, оборудованной туалетом с химикалиями и убирающейся в стену мойкой на кухне. Как только закладная по этому жилищу будет выплачена, они предполагали продать его и переселиться на ферму в две с половиной спальни с полутора детьми. Следующей ступенькой будет домик в два с половиной этажа в лжетюдоровском стиле, с подделкой под бревна и с окнами, выходящими на шестую лунку поля для гольфа, пока Бад будет ползти вверх по грязным трубам нефтеперерабатывающего завода. Подобное продвижение вместе с мужем на полшага вверх олицетворяло собой свободу для Розы, и мои робкие попытки стащить ее с этой колесницы в мои анархические объятия были столь же тщетны, сколь оказались бы мои попытки стащить с рельсов паровоз. Нет более железной добродетели, чем та, что выкована на краю нищеты. Зайдя в закусочную, Бад, огромный муби с ручищами, способными бросить копье на семьдесят метров, сел, покорно положив эти могучие руки на столик из нечестивого пластика, и уставился на спектральные огни иерархической машины, поджав губы в бессознательном подражании недовольному лицу белого человека. Она трудилась как раба, деля с ним общую мечту. Единственным ее отступничеством были сонные мелодии, день за днем омывавшие наши уши тоской и болью. Куш находился на последней ступени долгого спуска сквозь уровни национального развития, и этим пластинкам, чьи желобки хранили лишь хриплые призраки песен, потребовалось двадцать лет, чтобы из Америки пятидесятых добраться до хребта Иппи. Снова и снова теплые, здоровые голоса, гулко смешиваясь со скрипками, взлетали в небо в до-роковом стенании, рыдая, подчиняясь патриотическому, экономическому призыву к возвышению человека. «Люби меня нежно», — просил моложавый Пресли; «Выплачь мне реку», — молил Джонни Рэй; «Что будет, то будет», — философствовала Дорис Дэй, и голос ее всякий раз задевал какой-то шип в моей душе. Царственные голоса Грейс Келли и Бинга Кросби легко сплетались в качаниях вальса «Настоящая любовь», и Дебби Рейнолдс нежно лепетала о своей неизменной верности «Тэмми». Контрапунктом этому женскому замирающему плетенью звучал хорал, мужской голос пел: «Желтая роза Техаса», «Счастливый странник», и когда эти мелодии вырывались из колодца времени, мы с Розой со стуком ставили на стойку тарелки и быстрее шмыгали за нее (ни разу не упустив возможности задеть, как мне казалось, провокационно, друг друга бедром, — или только я так старался?). «Трясемся вовсю», — заверял нас Джерри Ли Льюис, похожий на дервиша в экстазе. Даже гриль распалялся жарче, и быстрая еда готовилась быстрее. А когда нас пронизывал свист «Марша на реке Квай», мы чувствовали, костями чувствовали, что выиграем в «холодной войне». Свобода, как и музыка, омывала нам сердце. Ах, Роза, моя тайная любовь и хмельная королева, мой сахарочек, стоящий на углу среди осенних листьев, моя озорная госпожа тенистой аллеи, в этой хронике, где слишком много оскорбленных женщин, только ты окружена ореолом счастья, шипящим жирным ароматом производительного радостного труда, какой надеялся увидеть Адам Смит.

Эллелу, которого товарищи по работе знали как Блинчика, проработал поваром в буфете три месяца, пока ожоги от масла не вынудили его перейти на работу дежурным запарковщиком в единственном в городе многоэтажном гараже. Очевидно, здесь, думал он, Мтеса прятал «мерседес» в роковой час, но ни машины, ни шофера уже не было, а плохо различимые пятна от масла на цементе не могли служить путеводной нитью, да и девчонка в абрикосовом бюстгальтере исчезла вместе с Опуку. Однако в один прекрасный день он обнаружил в углублении цемента на повороте с пандуса третьего этажа анзад Шебы, завернутый, как ребенок, в тагильмуст. Эта находка показалась ему мягкой иронией. Он улыбнулся: подобно каждому верующему, он не был оскорблен тем, что за ним следят. Он, которого всегда возили шоферы, научился необычайно ловко пользоваться задним ходом, ставя автомобили, главным образом старые, сильно хромированные, пожирающие большое количество бензина машины из счастливой детройтской поры с уже давно вторично переставленными одометрами и бесчисленными вмятинами.

Тем временем на протяжении двух месяцев джюмада, в это время года, которое туареги называют акаса, над Кушем лил дождь, достаточно сильный даже для тезки внука Ноя. Высокая душистая трава выросла на пустырях Эллелу и на миллионах гектаров вокруг. Скот так разъелся, что у животных ломались ослабшие ноги, а пастухи падали от чрезмерных праздничных плясок и обилия просового пива. Даже на костях, лежавших на песке, наросло мясо, и животные стали давать молоко. Семена, спавшие в земле на протяжении тысячелетий, выбросили вверх, к сомкнутому строю дождевых облаков, гигантские цветы и сочные плоды, которых не найти даже в знаменитых энциклопедических справочниках по ботанике. «Все это, — с грустью думал Эллелу, — я получил, перестав существовать. *Я* был проклятьем этой страны».

Известия о том, что происходит в стране, почти не достигали хребта — местная газета похвалялась тем, что она пишет лишь о том, что интересует здешних людей: цены на нефть, конференции ОПЕК, окончание эмбарго, новые торговые центры, правила регулирования бума жилищного строительства. Никто в Эллелу не слышал о каком-либо перевороте, когда все проекты по улучшению жизни граждан, все программы по ликвидации неграмотности и созданию оздоровительных клиник, все планы по замощению, канализации и устройству парков стали осуществляться от имени вождя нации, который, перечеркнув исторические мифы, одним взмахом руки одновременно покончил с французами, с королем и с контрреволюционными элементами в ЧВРВС. События, отдаленные по времени и по причинности, а некоторые, начавшиеся еще когда я был солдатом-пехотинцем и студентом за границей — декларация loi-cadre[[69]](#footnote-69), отказ де Голля от la France d'Outre-mér[[70]](#footnote-70), период конституционной монархии в стране, восстание генерала Соба, изгнание из страны неоколонистов, сожжение Гиббса, казнь короля, — свалились в одну кучу и, разгладившись, образовали одну победоносную цепь, чьей сигнатурой стал зеленый флаг, а вершиной — зеленая трава, колыхавшаяся, как океан, под благостным серым небом.

Став анонимом в этом кипучем полисе, взявшем мое имя, я просматривал газеты в поисках известий о себе. На второй странице иногда печатались сообщения из столицы, что находилась — помните — так же далеко, как Рим от Амстердама или кратер Коперника от озера Сомниорум. В этих сообщениях речь всегда шла о некоем «народном правительстве», которое выпустило целый вал постановлений о новом стимулировании заработной платы, периодах освобождения от налогов иностранных инвесторов, введении новой, более мягкой шкалы тарифов на импорт и туристических виз, о привлечении специалистов из Израиля для прокладки ирригационных каналов и специалистов американской помощи по борьбе с голодом, а также предварительные планы строительства на консолях библиотеки Брайля в центре Истиклаля и прочие разнородные политические решения, сильно отзывавшие доверчивостью и нечестивой энергией Микаэлиса Эзаны. К концу моего пребывания в качестве повара — специалиста по бургерам — под сообщением, приветствовавшим прибытие команды голландских специалистов по предотвращению наводнений (я представил их себе с побелевшими, пропитанными водой большими пальцами), мелким шрифтом было сказано:

Полковник Эллелу, пожизненный президент и верховный учитель, отбыл для установления фактов из столицы.

Собственно, так оно и было. Работая днем, шагая по улицам вечером, я проводил много времени, наблюдая моих сограждан-кушитов, их жизнь в этом изолированном оазисе изобилия. Они утратили, без сомнения, привлекательную грацию мускулистого тела настороженных хищников, стройность и легкость, с какой они балансировали, ступая по земле, как наши девушки балансируют, удерживая в равновесии вязанки тамариска на голове. Люди не казались больше выточенными из дерева, какими они кажутся в деревнях, в армии и даже какими казались в дни становления независимости и монархии в Истиклале. Тело тех, что прогуливались по авеню Окончания Беды в хлопчатобумажных платьях и костюмах с картинками, которые они носили и в праздники, и в рабочие дни, было не столько вырезано из дерева, сколько сбито. Утрата напряженности, красивой дикости проявлялась и в том, как они говорили, сменив образованную голосовой щелью взрывчатость их местных языков на гладко скользящий язык мягкого соучастия и лукавой беспечности. Больше не было надобности утверждать себя как личность перед другим человеком. Встретиться взглядом было довольно трудно на сырых тротуарах Эллелу, где лужи окрашивались в цвет неоновых вывесок. Небольшие, но нелегкие испытания порядочности, храбрости, мужского характера, женского характера, которые определяли нашу жизнь в бедности, исчезали, как глиняные молельни и мечети, загоняемые во внутреннее вместилище, которое хранится в такой же тайне, как банковский счет; обмен мнениями у Эллелу происходил под музыку отрицания всего, что вновь прибывшие из буша, раздражительные и голодные, принимали за слабость, а на самом деле это был великолепный протест, продиктованный силой. Добыча нефти и все прочие отрасли промышленности, группирующиеся вокруг добычи нефти, заняли душевные силы, которые ранее были посвящены битвам и обрядам, смерти и Богу, так что эти последние стали казаться (подозревал я) не только чем-то чужеродным, но и монстрами, непредставляемыми, как невразумительные научные формулы, согласно которым нефть вытягивают из вязкой породы и из ее молекул производят жидкости на продажу. Тайны, которые приподнимали людей, сместились, а блеск мелких развлечений и поэтизирование повседневности, потаенное стремление людей получить удовольствие, похоже, вечны. Затопленный посмертной славой, погруженный в будущее, против которого я всем существом восставал, я наконец расслабился. Я часто рано вставал и отправлял мои телеса с неотпускавшими меня снами в закусочную или в бетонную спираль гаража. По пути я видел забавных детишек с серьезными лицами, которых гнали в школу императивы получения образования в промышленно развитом государстве, — они шли, покачивая сумкой и прижимая к груди книжки, такие серьезные в своей уверенности, что от них требуют чего-то нешуточного, и они покорно отвечали на это требование, создавая свою страну. Все в форме, некоторые — в зеленой, нашей, кушитской, зеленой, напоминающей не об опаленной зноем Зеленой Сахаре, а о цветущей зелени вокруг, они казались немыми этим ранним утром, маленькие фигурки, как на картине, собиравшиеся группками на автобусных остановках. Ты понимаешь, что любишь страну, только когда видишь, как ее дети идут в школу.

Я копил заработанные деньги и старался вернуть себе поколебленное душевное равновесие для неизбежного возвращения в Истиклаль. На второй месяц моей работы в гараже, когда меня повысили, поручив брать у клиентов квитки и лю и поднимать полосатый деревянный барьер внизу пандуса, на второй странице ежедневной газеты «Рифт рипорт» появилось еще одно сообщение:

Правительство официально высказало сегодня опасение, что полковник Эллелу, председатель ЧВРВС, проводивший переговоры с советской стороной о поэтапном сокращении ракетных установок в низине Хулюль, похищен террористами левого толка.

Так, значит, почва для его официальной смерти подготовлена. И президент решил, что настало время возвращаться. Двигаясь на попутных машинах на юг с анзадом Шебы, притараненным к спине, Эллелу заметил, что небо постепенно прояснялось, словно отбелившись от страха перед его возвращением к власти. Его подхватил грузовик, который вез тюки с образцами прошлогодней парижской моды из Алжира на суки и в бутики Истиклаля. Шофер был молодой бельгиец, искавший лучшей жизни. Радио в грузовике перестало передавать «La plus haute quarantaine»[[71]](#footnote-71) и повторило сообщение о том, что давно отсутствующего президента, видимо, следует считать мертвым и исполняющему обязанности президента пришлось нехотя, несмотря на горе, взять в руки бразды правления. Формально закрепляя преемственность — «Эллелу» на языке берберов значит «свобода», — новый глава государства принял имя Дорфу, что на языке салю имеет двойное значение: «солидарность» и «консолидация». После сообщения был исполнен национальный гимн, а вслед за ним прозвучала мелодия Рихарда Штрауса из фильма «2001».

Собственно, на языке салю «дорфу» означает: «крокодил, оцепенело лежащий на берегу реки, но не мертвый», в противоположность «дурфо», что значит: «крокодил, мечущийся с добычей в зубах».

Микаэлис Эзана и Анджелика Гиббс ужинали с Кэнди и мистером Клипспрингером. Кэнди сбросила с себя покровы и, покинув женскую половину, выглядела в строгом, но облегающем фигуру сером шерстяном вязаном платье с ниткой культивированного жемчуга так, как ей и следовало выглядеть: привлекательной женщиной под сорок, пережившей неудачный первый брак. Миссис Гиббс, наоборот, вырядилась в малиновый с лиловым бубу и свои блондинистые с медным отливом волосы упрятала под повязку таких же цветов. Ее загар, приобретенный у бассейна вновь открывшегося Клуба Сахары, где призраки церемонных колониальных офицеров уступили место голландским гидрологам и мускулистым сталелитейщикам, собирающим безрассудно смелый скелет библиотеки Брайля, никогда не примут за цвет кожи африканки, хотя она в подражание местным женщинам и смотрит теперь настороженно, искоса, прищурив глаза. Сидя на ящике с книгами по самоусовершенствованию, она спросила Кэнди:

— Как вы можете уезжать отсюда? Все эти запахи! Темп жизни! Я впервые чувствую себя среди своих. Господи, думая сейчас об Америке, я понимаю, как ненавидела ее. Делай то, делай это. Поворачивай направо только на красный свет. Поторапливайся, поторапливайся. А эти жуткие слякотные зимы — они же просто убивают!

— А я боюсь, что когда увижу первый снег, — умру от счастья.

— Послушайте, этот дождь — просто нечто! — воскликнул Клипспрингер, потирая бедра, чтобы подчеркнуть свой восторг, свою неутомимость, свою стойкость. — В августе, надо же!

Это застолье было устроено как прощание и с ним. Он сделал свое дело: установил связь, контакты и основу для развития отношений. Теперь он уже свободно говорил по-арабски и приемлемо на языке сара. На нем была дашики, африканская мужская рубашка, купленная в Джорджтауне, округ Колумбия.

Эзана наклонил голову, и его круглые щеки заблестели в отблеске свечей Кэнди, единственного освещения в ее опустошенной, лишенной электричества вилле.

— И однако же, — заметил Эзана, — уже целую неделю нет дождя. Мне кажется, возвращение солнца — неприятный знак.

— Все покрылось плесенью, — сказала Кэнди. — Я вздумала сжечь мебель, так вонь распространилась по всей округе.

— Зато все кусты, посаженные французами, снова зацвели, — заметил Эзана. — Так было в пору моего детства, когда иезуиты преподавали нам Паскаля и его исчисление.

Анджелика положила узкую, в веснушках, руку на плотно обтянутое брюками бедро Эзаны.

— Это прелестный город, дорогой, — сказала она.

— Все меняется, все заживляется, — неожиданно возгласил Клипспрингер. И поднял стакан с кайкаем. — Выпьем за Матушку Перемену. Жесткая старая ведьма, но мы любим ее.

Остальные трое поддержали тост — Анджелика выпила перье: она изучала Коран и даже научилась растирать просо. Эзана поморщился от прикосновения Анджелики — в своем африканском одеянии она уже не кружила голову, не казалась ветерком, дующим из рая. Скорее — ненужным багажом, тяготившим его своей влюбленностью. Нынешняя миссис Эзана была ужасна — амазонка с голой грудью, синий чулок, — но то был знакомый ужас: он привык не слышать ее пронзительно крикливых жалоб и мог во время ссоры держаться так, будто это его вовсе не касается. Их отношения были идеально инерционны, как у туманных планет. Ее омерзительность побуждала его к полетам. Эзана в задумчивости приоткрыл рот и, блеснув золотым зубом, как запонкой, повернулся к Клипспрингеру и стал обсуждать с ним то, что больше всего интересовало его: орошение, электричество и долги.

— Долги, — сказал ему Клипспрингер, — это наилучшая страховка, какую вы можете приобрести. Чем глубже заемщик залезает в долг, тем больше вложит кредитор, чтобы не дать ему утонуть. Вы, ребята, невероятно рисковали, когда все эти годы не были нам ничего должны.

— Наш Великий Учитель, — соглашаясь с ним, произнес Эзана, — был, пожалуй, излишне исполнен вдохновения для нашего несовершенного мира.

— У меня такое чувство, что я *не знаю* тебя, — вырвалось вдруг у сидевшей рядом с ним миссис Гиббс. И она вцепилась ему в руку со свойственной ее волчьей расе капризной нетерпеливостью хозяйки. — Майкл, я это чувствую даже в постели. Ты скрываешь какую-то тайну.

— Не приставайте к нему, — посоветовала ей Кэнди. — Они любят тайны — не могут без этого. Африканец ненавидит сниматься. Мой муж в течение шестнадцати лет считался отцом нашей страны, и никто не знал, как он выглядит.

— Жаль, что я так и не познакомился с ним, — сказал Клипспрингер. — Похоже, он весьма своеобразный человек.

Все эти звуки — шуршанье пальм на крыше, топот крыс, бегающих по пустым комнатам, и трескотня их пустой вечерней болтовни — горячили надеждой им кровь, и они не слышали стука в дверь.

— Тайна, хранимая мужчиной, — проявляя любезность к дамам, сказал Эзана, — это, конечно, наша слабость, наша нужда. Но когда наша тайна, подобно такой же способности женщины питать нас и утешать в нашей нужде, раскрывается, это уже становится скучным, монотонным, слишком — как бы это сказать? — вечным. Жизнь похожа на затянувшуюся пьесу, с которой мы не уходим, так как в нашей памяти сохранились смутные воспоминания о прочитанных рецензиях.

В комнату вошла высокая горничная Кэндейс из племени сонгай и сообщила, что у дверей стоит нищий. Она велела ему уйти, но он сказал, что принес на продажу апельсины. Она ответила, что им не нужны апельсины, тогда он предложил вырыть колодец или спеть песню. Он держится как-то повелительно, она ничего не может с ним поделать, — так не угодно ли хозяйке поговорить с ним?

Нищий с анзадом за плечами тенью вошел следом за горничной в комнату.

— Великий боже, вы только посмотрите, кто явился! — сказала Кэнди.

Незваный гость в обтрепанных джинсах и трикотажной рубашке с короткими рукавами, на которой уже нельзя было прочесть выцветшую надпись, стоял у края освещенного свечами пространства — маленький, худой, жалкий. Анджелика и Клипспрингер вежливо молчали, почувствовав напряжение от невероятной наглости пришельца. Микаэлис Эзана пригнулся, изучая незнакомца, и, дотронувшись до твердого предмета, успокоительно лежавшего под левой подмышкой, снова откинулся в тень.

— Ну и нахал же ты, — продолжала Кэнди.

А Эзана подумал: «Что, если эта перемена, столь нагло приветствуемая нашим американским эмиссаром, была бы единственной в мире? Есть тут беспощадная схожесть. Младенец кричит, требуя грудь; мать ублажает его; ребенок растет; взрослый умирает».

Высоким, пронзительным голосом нищий плаксиво объявил:

— Я пришел не мешать вашему празднику, а усладить вас песней.

Он снял анзад с заплечья и смычком из газельего дерева исторг из него мелодию. А затем, гнусавя, запел:

Земля, без совести — пустая земля,

проклятая земля, пустынная земля,

где у детей красные волосы и вспухшие животы,

где у взрослых алчные улыбки и жесткий смех.

Совесть важнее для земли,

чем нефтяные скважины, иностранные займы

и кооперативы по производству орехов;

совесть выпрямляет поступь молодых людей

и зажигает мягким светом взгляды девушек.

Но среди бюрократов Куша,

а их так много, этих марколизателей и книголизов,

нет места для совести.

Вот я и спрашиваю, не следует ли

национальную совесть отправить на пенсию?

Музыкант поработал по струнам пальцами и положил рядом смычок. Хозяйка воскликнула:

— О господи, Счастливчик! Неужели ты не понимаешь, что тебя могут теперь пристрелить? Они же все без тебя сделали.

Эзана, которого заинтересовала песня, спросил:

— Разве главное в совести не в том, чтобы быть невидимой и неведомой?

Незваный гость кивнул.

— Видимой только по благотворным результатам. Так и с Аллахом: предстать обнаженным — значит создать тиранию.

— В таком случае, — сказал Эзана, — может быть устроена пенсия, если совесть в прошлом оказывала услуги государству. К сожалению, я не имею официального поста и могу лишь рассуждать, так как в администрации Дорфу Микаэлис Эзана занимает только почетный пост. Это, однако, является повышением по сравнению с тем, что при предыдущей администрации он сидел под замком.

«В жизни человека наступает время, — подумал нищий, — когда он начинает думать о себе в третьем лице».

Анджелика Гиббс, еще не вполне освоив обманчивую покорность, с какою ведет себя африканская женщина, раздраженно спросила:

— Кто этот трепач? Милый, почему мы позволяем ему портить наше застолье?

— *По-моему*, это своего рода развлечение, — тактично вставил Клипспрингер, удвоив улыбку за счет седых кончиков своих усиков. — Такой у них тут стиль: они не вмешиваются, когда что-то происходит. По-моему, это здорово.

— Я принес тебе добрую весть об убийце твоего мужа, — обратился нищий к вдове. — Он, как и его жертва, растворился в дыму. Со временем их трудно будет отделить друг от друга. Их общая жертва открыла шлюзы американской помощи, чей триумф персонифицирован двумя джиннами прагматизма — твоим любовником и твоим сопровождающим. В Книге книг сказано: «Каждая душа предстанет в сопровождении той, что будет свидетельствовать против нее, и другой, которая будет подгонять». Так черное и белое, сухое и мокрое сменяют друг друга. Ваш маятник, мадам, качается: я приветствую ваш костюм, абсолютно аутентичный. Мой наряд, я это знаю, жалкая смесь всего на свете. Но вы давно присутствовали перед моим мысленным взором, и то, что этот нищий может смотреть на вас, служит наградой за его бродячую жизнь.

Дама почувствовала себя оскорбленной.

— Где он так научился английскому? — спросила она Эзану и, быстро убрав с лица раздражение, добавила: — Что он имел в виду, говоря об убийце Дона?

— Наша самозваная совесть стремится утверждать, — сказал Эзана, — по собственным, несомненно, продиктованным совестью соображениям, что ваш супруг сам захотел уйти из жизни, и это породило много хорошего.

— По-моему, этот малый призывает, — развил дальше мысль Клипспрингер, — к преемственности и спокойному переходу власти. Я поддерживаю его на сто десять процентов. Если ваши люди не способны найти в своей душе отклик на его просьбу о пенсии, я подумал, не сможет ли Информационная служба США набрать ему стипендию для путешествий? Эй, есть идея. Сделайте его стипендиатом Дональда... как его инициалы?

— Не помню, — сказала Анджелика.

— Сделайте его стипендиатом Дональда Икс Гиббса, — докончил Клипспрингер, удовлетворенно потирая ноги, — а деньги мы откуда-нибудь добудем.

— Я многое забыла о Доне, — призналась миссис Гиббс. — Собственно, я вообще мало его видела: он вечно старался кому-то помочь. Но помогать он любил лишь тем, кого никогда не видел. Таким образом, мы все время перемещались. Не знаю, может, я его ненавидела.

— Здесь, в Африке, — заверил ее Эзана, — вы не найдете такого самопожертвования. Здесь эго и личность все еще находятся под ярмом выживания.

Печальная нотка, прозвучавшая в его тоне, его уверенность в бесконечности Африки, простирающейся перед ней, испугали молодую вдову, и она посмотрела на другую американку в поисках поддержки, но Кэнди уже покидала не только Африку, а и комнату. Дрожащей рукой она отвела нищего в сторонку и подтолкнула к прихожей, где стоял сильный запах расцветших кустов.

Ее дрожь тронула его — то, что под кожей пульсировала заботливость жены, и в нем возникло схожее с гневом любовное волнение, ощущение многочисленных биений крови, вызывавших в памяти старые воспоминания о ней, — так хищник неожиданно понимает, что сам стал добычей.

— Тебе, право же, надо убираться из Куша, — резко заявила ему она. — У этих новых людей, что пришли к власти, нет ни капли твоего ироничного отношения к жизни. Они народ мрачный.

— А ты не хотела бы взять меня с собой в страну молока и меда?

Она задрожала сильнее. И легонько отпихнула его, как в свое время пихнула карусель с солнечными очками.

— Нет. Я подаю на развод, Счастливчик. Не получилось у нас, а там будет только еще хуже. Видишь ли, ты *действительно* ненавидел Штаты, хоть и стараешься вспоминать только идиллическое. Так же будет, я знаю, и у меня с Кушем, стоит мне отсюда уехать. Дома сейчас скучно. «Холодной войне» пришел конец, пришел конец и Никсону. Остается лишь собрать разбитые осколки и целовать задницу ОПЕК. На тебя нападет уныние. Выходит, все интересное происходило в пятидесятых, только в то время никто этого не понимал.

— Я мог бы стать профессором по проблемам черных. Я мог бы стать партнером твоего отца и вновь открыть чикагскую контору — я ведь духовный брат. Там теперь идет поиск символов, верно? Для вашего истеблишмента. У нас могли бы появиться дети соответствующего цвета. Ты могла бы научить меня кататься на коньках.

— Нет, Счастливчик. Когда-то такое, возможно, могло бы быть, но не теперь. Мы бы просто стесняли друг друга, как это было всегда. Я понимаю, тебе трудно в это поверить, но между нами все кончено. Право же.

Она была права: мужчине трудно поверить, что его сексуальная власть над женщиной, сколько бы он ею ни злоупотреблял, ослабла. Нам кажется, что это наше таинственное притяжение существует в эфире, где никогда не бывает трения, а на самом деле оно окружено голыми как скала и полными острых углов жизнями других людей.

Нищий сказал:

— Наилучшие пожелания твоему папаше. — И, сжав обе ее белые ручки в своей руке, прошептал в гулкой прихожей: — Таллактуки, Таллактуки, Таллактуки.

Кадонголими в свое время сказала: «В этом доме тебе будут рады, когда все остальное рухнет». Однако, приближаясь к ее вилле в Ле Жарден, превратившийся в закопченную благоухающую деревню, Эллелу увидел, что предсказание Кадонголими уже сбылось: все заросло сорняками. За время дождей в дранке сараев появилась гниль, и жирная зелень на полых стеблях вырастала быстрее, чем люди могли утоптать шагами землю. Эллелу признали сразу, несмотря на то что он был в джинсах и солнечных очках. Его снова встретил пьяный тощий мужчина; голая девчонка снова взяла его за руку, но повела к могиле. Посреди двора, где были вырыты каменные плиты, чтобы устроить печи для лепешек, высилась гора свежей земли, уже поросшей ярко-зеленым адиантумом. Значит, для Кадонголими при ее объемах потребовалось перекопать такую массу все забывающей земли.

— Сердце у нее захолонуло, в конце она начала кричать, что не хватает воздуха, чтоб вынесли ее под открытое небо, — рассказала девчонка Эллелу, а он с удивлением смотрел на нее, слыша в ее голосе танцующие интонации своей первой жены, видя в этом стройном теле продолжение женского начала, те же возрожденные формы, которые он когда-то держал в объятиях. «Я — лев, она — газель».

— Она не звала Бини? — спросил я.

— В том числе и его. Но многие ухаживали за ней. Все как один человек. Она дожила, чтобы увидеть, как землю снова оросила вода, и сказала нам, что наш отец преуспел в жизни.

— А я хотел просить ее взять меня обратно. Теперь придется просить тебя.

— Нас выселяют. У Дорфу свои родные, свои люди. Уже, как видишь, хижины стоят пустые, на полях сладкий картофель перерос. Приезжали белые и скупили наши орудия и джю-джю для своих музеев. Мы с Ану побудем здесь, пока земля на могиле нашей матери не осядет и уже нельзя будет ее осквернить.

Ану — так звали моего зловредного дядюшку. Струйка его распутства и опасных качеств проникла через кровные узы вместе с красотой в меня, и я всегда, даже в смерти, останусь в этой паутине, пока поэты будут воспевать моих предков. Всюду природа брала верх. Узенькие тропинки, подобные тем, какие зайцы прокладывают по саванне, пересекали внутренние дворики, где тощие загорелые жены французских управителей, отложив в сторону томик Симоны де Бовуар, закапанный лосьоном для загара, громко хлопали в ладоши, призывая слуг принести еще citron pressé[[72]](#footnote-72), еще кампари с содовой водой, еще любви под маской услужливости. Кадонголими лежала на одном из брошенных ими шезлонгов, а потом он рухнул, и вместо него теперь остался этот чудовищный выброс земли у моих ног. Этакая миниатюрная гора, по которой дождь уже начал прокладывать бороздки между порослью сорняков.

— Ты вернешься в деревню? — спросил я девчонку.

— В деревне у нас уже ничего нет. Говорят, что землю разделили для агрикультур, которые субсидирует новое правительство. У правительства есть планы, много планов.

— Ты ненавидишь новое правительство?

— Нет, — торжественно объявила девчонка ровным тоном, каким с предосторожностью произносят слова. — Они — последыши, глупцы, их нельзя за это винить. Кадонголими разговаривала с ними по поводу нашего выселения и очень позабавилась. Она их простила. Она им сказала, что в Куше было слишком много чудес и что чудодеи через какое-то время становятся злодеями. А глупцы — они и есть глупцы. Они предложили ей пенсию.

Эллелу заинтересовался.

— И она согласилась? Где эта пенсия? Она заполняла бумаги?

— Моя мама отказалась. Она сказала, что у нее была сладкая молодость и она полностью ею насладилась, а теперь она хочет испробовать неподслащенную горечь смерти. Она сказала, что мир ее умирает, жизнь завершила свой круг, и попросила месяц не трогать ее, чтоб ее тело взвесили, прежде чем опускать в землю. А для меня она попросила стипендию. Я думаю, что стану агрономом или педиатром. Ты благословляешь меня на это?

— Зачем ты спрашиваешь? В этом нет надобности. Правительство управляет и без Эллелу, его безумие мешало, вместо безумия правит теперь техника, а человек решил остаться животным среди животных, чемпионом. Иди осеменяй свою утробу или занимайся с помощью микроскопов другой дьявольщиной, какой от тебя потребуют тубабы. Их познания не что иное, как ад, — они теперь это знают и тем не менее навязывают его нам, тащат нас за собой, а мы стояли на обочине, отнимают у нас всякую надежду на рай. Они смотрят в микроскоп и говорят нам, что никакого духа нет. Нельзя представить себе жизнь на Земле в следующую тысячу лет иначе как ад, как жизнь под одним большим микроскопом.

— Мама говорила мне, — сказала девчонка, — что ты мой отец и не откажешься благословить меня. Даже у змеи каждая новая шкура ласкает старую по мере того, как та исчезает. — Это были, несомненно, слова Кадонголими, но произнесенные мягче, без насмешки, без того, что на языке салю мы называем двойным смыслом.

— И куда же ты поедешь учиться?

— Одни говорят, надо ехать в Каир. Другие — во Флориду. Это в Соединенных Штатах. Наше правительство на деньги от нефти создает там программу.

— Я слышал, там тяжелый климат. Непременно возьми с собой таблетки от малярии. А твой дядюшка Ану — что станет с ним?

— По-моему, министерство почт наняло его сортировщиком. Он должен только сидеть на стуле и бросать конверты в мешки. А мешки потом швыряют в Грионде. С тех пор как укрепились наши связи с революционным правительством в Америке, значительно увеличились почтовые поступления третьего класса. Кстати, я все еще не слышала, чтобы ты меня благословил.

— Зачем же благословлять то, что неизбежно?

— Именно это и нуждается в благословении, — сказала она. — А невозможное само о себе позаботится.

Я отвернулся. Я подумал, что если и дальше буду слушать, то услышу голос Кадонголими из этой горы земли, мало чем отличавшейся от того ее облика, который я видел в последний раз. Когда человек уходит, нам больше всего недостает его острот, — острот, понятных тем, кто нас знает: любовницам, бабушкам, детям. Искры вспыхивают в их глазах лишь однажды — когда мы уходим. Девчонка ждала вместе со мной, когда заговорит Кадонголими, пока мы оба не поняли, что эти цветущие травы и эти ручейки эрозии на глинистом холмике и есть ее слова. С ободранных пальмовых крыш пахнуло запахом, напомнившим кормоизмягчитель, полный земляных орехов, который служил для деревенской молодежи в пору вседозволенности пещерой и спальным местом. Перед моим мысленным взором пронеслись тени жирафов, этих невероятных мародеров с огромными глазами, которые неслись на прямых ногах под звяканье пестиков в ступках в руках перевозбудившихся мальчишек. Кадонголими унесла эти тени с собой в землю, не оставив мне никакого крова, кроме того, который я сам сумею себе создать. Снова пошел дождь, клюя могилу, скручивая листья. Голая девчонка рядом со мной затряслась. Я положил обе руки ей на голову — волосы ее, разделенные на ряды, были заплетены в тугие косички — и на исчезающем языке амазегов произнес благословение.

Кутунду нелегко было увидеть, не говоря уж о том, чтобы встретиться с ней. Она по-прежнему жила скромно, — что иногда делают люди могущественные, чтобы скрыть свое могущество, — в узком ветхом доме в Хуррийя, где ее, неграмотную соню, поселил Эллелу, когда они приехали в «мерседесе» с границы с Сахелем. Теперь тот же «мерседес», по-прежнему за рулем с Мтесой, чьи усы за это время стали значительно гуще, возил ее по крутым песчаным проулкам из ее квартиры во Дворец управления нуарами и обратно; вот только в окна были вставлены темные пуленепробиваемые стекла, сквозь которые можно было заметить лишь маленький курносенький профиль. Фотографии ее рядом с Дорфу на той или иной публичной церемонии часто печатались на страницах ставшей теперь официозом «Нувель ан нуар-э-блан», однако кушитские печатники еще не сумели освоить недавно привезенные американские офсетные станки, и изображение Кутунды было часто крапчатым или смазанным, так что ее нельзя было узнать. (До того как в 1968 году уйти в подполье, став подрывным контрреволюционным изданием, которое во времена конституционного правления короля превратилось в скандальную бульварную газетенку, печатавшую порнографию талидомидных уродов и астрологию кинозвезд, «Нувель» выпускалась на плоских прессах французами, которые, работая с набором Дидо и презирая всякую пиктографию, печатали снова и снова одни и те же герметичные и симметрично расположенные правила, а также рассуждения о негритюде из последних гениальных творений Жида, Сартра и Женэ.)

Мастерская, где плели корзины, по-прежнему существовала под комнатами Кутунды, и молодые наркоманы со впалыми щеками по-прежнему выходили оттуда, ежимая в руке завернутую в рафию контрабанду, но теперь в этом месте явно присутствовала правительственная охрана. Эллелу несколько раз видел Опуку в мягкой фетровой шляпе с маленькими полями, скрывавшей его лысину, и в сером костюме фэбээровского типа на широких плечах, который проверял этот передовой пост внутренней полиции. «Мерседес» приезжал рано утром и привозил Кутунду обратно редко раньше полуночи. К тому времени в мастерской горела единственная зеленая лампочка, указывавшая на присутствие одинокого сонного полицейского в штатском, и проныра-нищий, притаившийся в арке школы по изучению Корана немного дальше по проулку, осмелился подойти со своим анзадом под узкое, как щель, окно, которое благодаря склону горы, где стоит дом, оказалось почти над его головой, так что ему почти не пришлось повышать голос.

Круглый и крепкий, как груди младшей сестры любимой,

Той, что обнажает десны, смеясь,

и подглядывает со своей подстилки, дожидаясь, когда придет ее время,

апельсин качается в мозгу, словно луна, сбежавшая с горизонта,

но застрявшая в ветвях баобаба...

Раздался резкий, но спокойный голос Кутунды:

— Заходи.

Тяжелая связка ключей протиснулась сквозь щель и упала, как звезда, к ногам нищего. При лунном свете нелегко было отличить ключ, который отключает сигнал тревоги, от ключа, который открывает дверь внизу узкой лестницы, а затем там, где стены, кажется, надвигаются на тебя и слушают, — отобрать четыре ключа, чтобы открыть два двойных замка на двух стальных дверях, тогда как раньше тут была одна-единственная большая деревянная доска, и Эллелу мог открыть дверь, выступав свое имя по слогам. Он неуклюже орудовал ключами, избрав самый длинный путь: первый замок он открыл лишь четвертым ключом, перепробовав все остальные; из трех оставшихся третий ключ открыл второй замок и, наконец, в последнем замке четвертый ключ не желал поворачиваться! Эллелу стал пробовать остальные в обратном порядке и обнаружил, наконец, что первый ключ подошел. На этой второй двери, укрепленной ребристой решеткой, была крошечная медная дощечка, на которой было что-то выгравировано — разобрать написанное удалось лишь благодаря полиролю, застрявшему в буквах. Эллелу прочитал:

Министр внутренних дел,

защитник женских прав

Место, оставшееся под надписью, ожидало дальнейших титулов. Подобно Эзане, несколько месяцев назад осторожно открывшему дверь своего бывшего кабинета, Эллелу так же осторожно открыл эту дверь. Она распахнулась — и за ней был куб света, в центре которого находилась тень — туманная сердцевина в виде человека. Глаза Эллелу, привыкшие к темноте проулка, защипало.

На ней был шелковый халат царственной длины, а ее глаза, некогда карие с крапинками, стали голубыми. Изменилась и осанка: настороженная согбенность служанки с тяжелыми бедрами, редко осмеливающейся поднять голову, превратилась в стройность женщины, привыкшей отдавать приказания. Повинуясь легкому мановению ее руки, он закрыл дверь. Сохранившаяся в его памяти уютная комната теперь устремилась ввысь, и там, где раньше было переплетение стропил и осыпающаяся штукатурка, из которой торчала верблюжья шерсть, теперь с куполообразного свода свисала решетка из маленьких круглых лампочек для туалетного стола, способных давать освещение (предположил он) соответственно ситуации, какой бы конфиденциальный характер она ни носила. Для данной ситуации Кутунда установила реостат на полный холодный свет. Ее глаза неестественно ярко сверкали. В них были контактные линзы.

— Ты растратил свои маски, — сказала она ему. — Это нехорошая песня.

— Когда-то это зачаровывало мою любовницу, — произнес нищий, съежившись от яркого света в ее квартире, от ее властного тона.

Там, где раньше стены были заполнены картотеками, теперь царила пустота, присущая начальству, — ее нарушали лишь серебристые абстракции, заказанные, как ему представилось, Георгу Йенсену или монетному двору имени Франклина. Забитые одеждой шкафы исчезли: ее гардероб и предметы туалета перекочевали в другую комнату, так как весь этот дом, да и соседний — мастерская внизу, где торгуют гашишем, существовала лишь для вида — были освобождены для Кутунды. Там, где стоял ее горшок, чугунная винтовая лестница, выкрашенная в цвет слоновой кости, вела на второй этаж этой двухъярусной квартиры холостячки. На месте грязной подстилки, с которой ее любовник взирал на глухую стену Дворца управления нуарами, розовевшую на восходе солнца, лежал водяной матрас с горой атласных подушек, а стальной стол сменил столик из розового дерева с ящичками, украшенными королевскими лилиями. Здесь, как он представлял себе, она брала из отделений бюро государственные бумаги и визировала их. Она из неграмотности поднялась на вершины власти, где не снисходят до чтения и письма.

— Садись, — сказала Кутунда, указывая на пластмассовый, как в зале ожидания аэропортов, стул, а сама садясь в обтянутое атласом кресло эпохи Людовика XVI с овальной спинкой.

— Я работал в этом нефтяном городе на хребте...

— Мы называем его Эллелу, — сказала она. — За неимением лучшего имени.

— ...и когда мне удалось отложить немного денег, я, голосуя на дорогах, вернулся в Истиклаль.

— Ты видел новую библиотеку?

— Я наблюдал, как туда без конца закачивали цемент. Я вот думаю, не треснут ли эти крылья, висящие на тросах, когда задует харматтан. Как тебе известно, ближе к экватору сила притяжения возрастает. Или ты все еще сомневаешься, что Земля круглая?

— У нас есть эксперты, чтобы беспокоиться об этом, — торжественно объявила она.

— Когда я был у власти, я обнаружил, что экспертам нельзя доверять. И по простой причине: в противоположность тиранам они не обманывают себя, считая, что они — неразрывная часть этой страны, этого народа. А тиран под влиянием этого обмана воспринимает все как личное. Эксперт же так не думает. Поэтому он ни в чем не виноват. И если мост рухнул и война проиграна, он тут ни при чем. Его знания остались при нем. Так же и в отношении библиотеки, но это применимо и ко многому другому... я тебе не наскучил? Ты ведь рассказывала такие забавные истории в кювете!.. Так вот, люди думают: раз штука такая большая, значит, в нее вложено много разумных мыслей. Это неправда. Большая идея может быть скорее неверна, чем маленькая, потому что масштаб — это вещь неорганическая. Великая китайская стена, например, чрезвычайно глупое сооружение. Два величайших феномена в нынешнем мире — это маоизм и американское телевидение, и оба чрезвычайно глупы.

— В таком случае тебе приятно будет узнать, что библиотека Брайля не будет больше названа именем твоего патрона короля Эдуму. Микаэлис Эзана предложил назвать это здание Центром по трансвизуальному изучению Корана имени Дональда Икс Гиббса — в качестве свадебного подарка своей новой жене, быстро акклиматизировавшейся вдове Гиббса.

— Красивый подарок к такому обреченному на неудачу бракосочетанию, — сказал нищий. — И вполне подходящий памятник этому пресному дьяволу, который в своей расистской слепоте пытался сбросить химические кашки и сорго для скота в желудки наших детей.

— Она просила о другом подарке — и ей было в этом отказано: она просила подарить ей твою голову в корзинке. Она хотела, чтобы ты был назван врагом народа, найден и предан суду. Мы на это не пошли. Мы хотим, наоборот, чтобы твое имя почитали, особенно школьники.

— Но ведь существует освященная веками традиция почитания королей-преступников — от Нерона до султанов, от Ивана Грозного до нашего вредного Эдуму. Страна начинает испытывать извращенную гордость в зле, которое она смогла поддержать, в плохом управлении, которое она сумела пережить. Слишком много ты металась, дорогая Кутунда, однако, несмотря на все твои чины и сверкающие наряды, ты по-прежнему сохранила застенчивость, выражающуюся в отводе глаз забрызганной грязью, лишенной своего племени девчонки. Кстати, о глазах: как это твои глаза изменили цвет?

— Это контактные линзы, если уж тебе так хочется знать. Они у меня в глазах уже шестнадцать часов, и стало больно.

— Так вынь их, — приказал он. — И скажи моему преемнику — забыл, как его зовут, — что в анналах истории умеренность записывается невидимыми чернилами.

— Я не уверена, — сказала она и, умолкнув, раздвинула пальцами одной руки веки, так что одна линза выпала на ладонь другой руки, и посмотрела на него разноцветными глазами, — что тебе следует говорить со мной об этом.

Словно слетел щиток от ветра, и в асимметрии ее глаз появилась пикассовская диспропорция, которая, показалось ему, пронизала атмосферу всей комнаты. Кутунда нагнула голову и вынула вторую линзу, а потом достала на ощупь из кармана халата занятную капсулу с выпуклыми концами для линз, поскольку их так же трудно найти, как старинные кушитские зеркальные монеты, если они упадут.

Эллелу спросил:

— Почему ты решила сделать себе голубые глаза? Вся красота их в том, что они карие.

— У Дорфу слабость к туарегским женщинам, хотя туареги — это пережиток, они скоро станут оседлыми согласно планам правительства, будут жить в поселках и заниматься прибыльным трудом — выращивать земляные орехи и работать в легкой промышленности.

— Дорфу. А ты знаешь, что это слово на языке салю означает также оцепенение, в которое впадает рептилия, проглотив слишком много еды? Матери, укачивая младенцев, бормочут: «Дорфу, дорфу...»

Кутунда поморгала, прогоняя слезы, и вновь обрела высокомерие, положенное члену кабинета министров.

— Это правда: в противоположность своему предшественнику он не суетится. Ты получил удовольствие от этих месяцев странствий после своей отставки?

— Я был неописуемо счастлив, — сказал ей Эллелу. — Сырая погода приводит меня в восторг, как и каждого гражданина, патриота Куша. Но я испытал также в этом городе Эллелувиле радость другого рода, боюсь, чуждую как могущественным, так и беспомощным людям нашего континента. А в Истиклале, к моему удивлению, я почувствовал особенно большую радость. Я в самом деле думаю теперь, что радость — естественное состояние человека, а поскольку люди сконцентрированы в городах, то и чувство это возрастает соответственно, и что в Коране правильно приуменьшено значение трагического, за исключением трагедий неверных, которые в любом случае хищники и тени.

— Если ты так счастлив, зачем же ты искал меня, рискуя жизнью? Моя охрана научена стрелять на поражение — фанатики-террористы только это и умеют делать. Обычных преступников можно уговорить и только ранить. Брат Опуку возглавляет теперь новое министерство дисциплины. Он возродил crapaudine[[73]](#footnote-73), который существовал во времена Иностранного легиона.

Без искусственно-голубых линз лицо Кутунды стало мягче — глаза собольего цвета с золотыми и песочными искорками, широкое плоское лицо женщины племени capa, особенно широкое в скулах, рот, чьи губы казались желобком для множества маленьких белых горошин, коричневые веснушки на темных щеках, мокрые на вид пряди волос, спускавшиеся на щеки, невзирая на строгий костюм особы, облеченной властью, весь ее прелестный вид *порочной* женщины. Я представил себе ее бедра и ягодицы, эту перекатывающуюся от тяжести плоть под складками ее блестящего царственного халата, и чреслам моим стало сладко. Слишком долго я был целомудрен. И я сказал:

— Дорогой мой министр внутренних дел и защитник женских прав, разрешите подать вам три петиции. Первая петиция: не пожелаете ли вы выйти за меня сейчас замуж? В разрешенном мне квартете жен образовалось несколько вакансий.

— Эта петиция поступила слишком поздно. Я обвенчана с государством и с идеалами исламского марксизма, лишенного безответственного авантюризма и романтического индивидуализма. Дорфу ласково объяснил мне, что мы, он и я, не должны вступать в брак. Мы будем стоять отдельно и на равных, являясь живыми примерами для мужчин и женщин Куша. Мы уподобимся героическим статуям из песчаника фараона и его сестры-невесты, а не той мешанине, какую создал Роден в своей скульптуре «Поцелуй».

— Или наподобие Гитлера и его Евы, а не любовно обнимающихся Рузвельтов.

— Мой президент из государственных деятелей того периода особенно восхищается канадцем Маккензи Кингом, который беседовал со своей матушкой, отошедшей в мир иной. На номерных знаках наших машин мы собираемся написать «Африканская Канада». — Она зевнула, мой веснушчатый найденыш, чей открытый рот был блаженной пещерой, в которой лежал мощный язык. — Мои встречи во дворце начинаются ровно в девять утра, — сказала она. — Какая твоя вторая петиция?

— О пенсии, мадам. Я имею на нее право, и, получив ее, я навсегда уеду из страны — пусть остается бессознательной. И тебе никто не помешает сделать что сможешь с этой безнадежной прекрасной страной.

— Мы, Дорфу и я, сейчас не чувствуем, что нам кто-то мешает.

— Да нет, сейчас вы — действительность Куша. А действительность порождает недовольство, и если я вновь появился бы, как Наполеон после Эльбы, началась бы контрреволюция. Микаэлис Эзана, как я догадываюсь, уже злится на официальную неопределенность своего положения и берет себе в жены эту тубаб для возможного отпора в той игре, которую из-за вашего резкого отхода от моих друзей Советов вы, должно быть, ведете с американцами. Там, где есть их библиотеки, появляется кока-кола, и по мере того, как растет наша жажда кока-колы, умножается и наш долг, и кружочек неба над головой... — и под ее куполом яркого света я описал руками кружок, — ...заполняет улыбка Клипспрингера. Продажа нефти дает вам доллары, на которые можно купить лишь то, что делают те, кто производит доллары.

— Зачем платить тебе, чтоб ты уехал, когда пуля стоит меньше одного лю? — спросила Кутунда.

— Люди знают, что я жив. Я существую среди них, и им нет нужды меня называть. Если я умру, блаженство вашего правления кончится: оно построено на моем безмятежном сне. Дорфу знает это, а ты, сгоряча посоветовавшая мне убить короля, — не знаешь. Если б король был жив, все беды сваливали бы на него, а я по-прежнему был бы президентом.

Ее слова прозвучали сухо, скучающим тоном:

— Пенсиями я не заведую.

Сколько бы она ни зевала, я чувствовал ее тепло в этой комнате с массой подушек, и эхо запаха ее пикантного, коротконогого, приземистого тела, обещавшего наслаждение, глубоко взволновало меня. Сидячее положение и свободная одежда нищего скрыли дубину, выросшую, словно гриб, во тьме между моих ляжек.

— Ну, а третья петиция? — спросила она.

Я встал и показал ее — моя запыленная похоть возродилась, как возрождается пустыня, и до того набухла, что мои не совсем здоровые зубы заныли.

— Или расскажи мне одну из твоих историй, — попросил я. — Расскажи одну из своих грешных историй, какие ты рассказывала в кювете, когда приходила ко мне при луне, еще не просохнув после Вадаля и карлика.

Кутунда тоже поднялась — шелковый халат, как кольчуга, ниспадал с острия ее грудей.

— Нет. Время басен для Африки кончилось. Мы должны жить среди суровой реальности. Ты арестован — как предатель, эксгибиционист и нищий.

Мужчины, вошедшие в комнату — один через двойные двери, другой по гулкой чугунной винтовой лестнице — с поста прослушивания, где наверняка были записаны все произведенные нами шумы, включая мои сражения с двумя парами двойных замков и сексуальные позевывания Кутунды, не были Опуку и Мтесой, это были духовные потомки Опуку и Мтесы. Наручники и непременное выкручивание рук сочетались у них с каким-то безразличием (так энергичные молодые актеры выполняют все, что требует от них пьеса, написанная старым гомосексуалистом, чьим уговорам за сценой они противостояли и чьи политические и религиозные взгляды они презирают) и холодной мягкостью, вкладом их поколения в развитие человечества.

Место заточения короля было лишь поверхностно убрано. Остатки его царствования: сломанный табурет, les joujous[[74]](#footnote-74), коврики, некогда пропитанные кровью какой-нибудь несчастной визжащей жертвы, курицы или скотины, а теперь засохшие, ставшие буро-коричневого землистого цвета, были сброшены в один угол, но уборщик ушел, — возможно, помолиться — и не вернулся. Слишком недолгое (по моей книге) пребывание здесь Микаэлиса Эзаны добавило кучу скользких журналов — «Пари-матч», «Шпигель», «Кель-тель», «Экономист», итальянское издание «Плейбоя», а также фильтры от сигарет с низким содержанием никотина, пустые коробки от овальтина и ночные туфли, мягкие, как гениталии, с шерстью нерожденных каракулевых ягнят внутри, а снаружи сшитые из полосок кожи греческих ящериц, снятой, пока они грелись на солнышке на мраморе Акрополя. «Импортные, — подумал я, — импорт — гибель для „третьего мира“. Христианство и блуд — два по цене за одно. Но это уже не мои проблемы, а они сократились до размеров моей собственной шкуры, которой грозит уничтожение.

Я выбросил ночные туфли из окна — они проделали тот же путь, который некоторое время назад проделал босиком Эзана, что я, представив себе, так живо описал на предыдущих страницах. Через несколько секунд ночные туфли со стуком, но вопреки Галилею не одновременно, плюхнулись на внутренний двор. Это был маленький сырой Двор Правосудия, а во дворе за ним, который был виден поверх черепичной крыши прохода на кухню, ученицы Антихристианской средней школы после занятий строились в кружки и параллелограммы для каких-то игр. Их крики долетали, как перекличка голубых птиц, лакомившихся кузнечиками и взлетавших при приближении стада антилоп гну. Глиняное солнце горизонтально проникало в помещение. Призыв к салят аль-аср гнусаво прозвучал с минарета мечети Судного Дня и был слабым эхом повторен мечетью Капель Крови. Из коридора, возвещая ужин, донесся запах паленых перьев вместе с шуршаньем одежды и щебетом солдатских женщин. Бурые тени в углах моей комнаты стали синими; высоко в небе появился розовый отсвет, нежная его окраска поблекла, словно капнули воском, от появления трех четвертей луны. Солнце село. Началась салят аль-магриб. Мне принесли еду — вареные, якобы козьи, ножки. Я полистал «Пари-матч», который посвятил этот номер американским порнокоролевам и западногерманским террористам, дочерям священнослужителей и Wirtschafstswunderarchitekten[[75]](#footnote-75). И те и другие молодые женщины выглядели крайне усталыми, вспышка камеры отбросила вампироподобные тени на голые стены позади них. Комнаты, в которых были сделаны эти снимки и записаны интервью, выглядели дублями одной и той же комнаты, — комнаты, укрытой от мира, однако на самом деле включающей весь мир. И я подумал: мир превратился в шар из комнат, в улей, тогда как раньше был широким пространством, где лишь иногда встречались карманы жилищ. Наши черепа — это комнаты, в которых живет мозг с его страхами и клаустрофобией, и весь Истиклаль, эта масса глиняных коробок, является мозаикой из частных домов-тюрем. Существование скрытых в них погребов и квартир, где молодые знаменитости, упомянутые на этих измятых страницах, замышляли свои проделки и банальности с таким же мертвящим душу пылом, подразумевало наличие за их стенами внушающего страх пространства, и в слове «комната», казалось, таилась некая загадка, без решения которой нельзя остановить соскальзывание мира в бездну, закупорить его боль. Ночь стала заполнять углы, и я ждал, что призрак мертвого короля вновь завладеет своей комнатой и, шурша и постукивая, оживит свои мертвые игрушки и напугает меня, но ничего такого не произошло, если не считать любопытного химического пленения сном, а потом высвобождения. Проснувшись, я услышал непрерывный мягкий стук дождя. Город расплывался, сверкали увеличенные мокрые огни далекого аэродрома. Жизнь моя висела на волоске, но я не нервничал. Таким я видел леопарда, висевшего на четырех лапах на высокой ветке раскачиваемой ветром акации, передние лапы его подрагивали от предвкушения убийства во сне.

Так проходили дни; наконец к концу дождливого сезона, во второй половине дня, меня навестил Дорфу. Я снова был поражен его красотой, не имевшей отношения к полу, — он был весь словно из полированного дерева или как гибкая лоза, которая безошибочно и изящно тянется вверх, к свету. Его улыбка в моем заточении была как луч солнца, нашедший в лесу путь к земле. Феска, его символ, была блестящего сливового цвета, и цвет застиранного винного пятна ненавязчиво гармонировал с ней. Куш нашел себе вождя, который по крайней мере костюмом превосходил Эллелу. У него была прекрасная кожа племени фула, которая кажется всегда смазанной маслом. Высокого роста, экономный в движениях, он действовал решительно, опровергая домыслы, что его правление может быть легкомысленным. Тубаб мог бы подивиться царственной легкости, с какой держался Дорфу, — ведь он совсем недавно был маленьким полицейским шпиком, но мы, африканцы, быстро привыкаем к роскоши и власти. Да это, пожалуй, справедливо в отношении всех сынов Адама: никакая удача, даже самая экстравагантная, не считается нами недостойной нашего райского происхождения. Он заговорил на принятой при дворе смеси английского с арабским. В руках у него была книга с переплетом из золотой ткани.

— Насколько я знаю, — с улыбкой произнес Дорфу, — в некоторых странах политических заключенных подвергают так называемому «перевоспитанию». Здесь мы предпочитаем считать это развлечением. Я подумал, не почитать ли вам, как я это делал раньше для благочестивого Эдуму. — Он сел, скрестив ноги, на свою зеленую подушку, согнутым большим пальцем открыл Коран и стал читать с того места, где остановился почти год назад: — «...и с серебряными браслетами. Их Господь даст им чистого питья». — И, подняв от книги глаза, спросил: — Какое питье может быть чище свободы?

— Никакое, — ответил Эллелу. — Я жажду ее.

Дорфу продолжил чтение:

— «Неверные слишком любят эту быстротечную жизнь и тем готовят себе тяжелый Судный День. Мы создали их и наделили их ноги, руки и суставы силой, но если Нам захочется, Мы можем заменить их другими людьми».

Эллелу заметил, что Дорфу, как и Аллах, предпочитает говорить «Мы». Вот этот трюк сам он не сумел освоить.

Дорфу дочитал суру:

— «Он проявит милость к тем, к кому захочет, но для злоумышленника Он приготовил ужасное наказание». — Президент милостиво поднял взгляд с накаленной страницы. — У африканского правительства есть особая проблема — как быть с телами свергнутых правителей. В Того умный Сильванус Олимпио был неэлегантно расстрелян своим преемником полковником Эядемой. В Мали и Нигере бывших президентов Кейта и Дьори весьма неуклюже посадили в тюрьму, чтобы они ждали там своей смерти. В нашей стране наш друг Эдуму был смело убит, но его тело превратили в марионетку. Теперь ты предложил — в разговоре с нашей сестрой Кутундой, записанном на пленку, — не только простить тебя, но и отправить в изгнание с пенсией. Предложение достаточно нахальное, как и твое несвоевременное и грязное нападение на ее непорочность.

У Эллелу так сдавило горло, что он даже перестал чувствовать жажду.

— Как все граждане Куша, я отдаю себя на твою милость.

Улыбка расплылась по лицу Дорфу.

— Ты превращаешь необходимость в достоинство — в этом искусство жизни. Я не забыл, кто возвысил меня — хотя и поспешно, даже с некоторым презрением к моим возможностям — в ранг исполняющего обязанности министра. И я считаю, твои доводы, высказанные Кутунде, не лишены смысла. Должен сообщить тебе, что это она предложила подвергнуть тебя ряду весьма изобретательных пыток, оканчивающихся кремацией, чтобы твое распутство не оскверняло больше чистоты Куша. Я бы не стал пренебрегать ее обычно разумными советами, но в данном случае превалируют определенные соображения, касающиеся международных отношений и средств массовой информации. Как президент ты умер в городе, носящем твое имя. А честь *президентского поста* должна быть сохранена. Мы должны показать нашим друзьям американцам, что мы ставим правительственный пост выше человека.

— Я не хочу выжить благодаря американскому предрассудку.

— Тут есть также и местное соображение: на континенте, где материализм еще не упрочил своих позиций, живой человек меньше заметен, чем мертвый, лежащий под землей.

Эллелу стало легче дышать.

— Я с радостью подчинюсь исконно местным поверьям. Какая будет у меня пенсия и когда я смогу ее получать?

— Мы решили дать тебе пенсию полковника плюс половину этой пенсии каждой из жен, которая будет сопровождать тебя, и одну треть каждому ребенку. Ты получишь достаточно денег для поездки за границу; когда сообщишь нам адрес, тебе каждый месяц будут высылать чек. Все это при условии, конечно, твоей анонимности и молчания.

— Ты дешево отделаешься. Со мной не будет жен.

— Есть одна, как сообщает нам разведка, о которой ты не просил. Но это твое affair[[76]](#footnote-76), как говорят французы. — Он склонил голову и снова стал читать Коран: — «Пусть тот, кто хочет, изберет верный путь к Господу. Но хотеть ты можешь, только если хочет Аллах». — Дорфу закрыл Коран, однако не спешил уйти. Было что-то в этой камере со сваленными в кучу остатками от прошлых обитателей и оранжевым отсветом предвечернего солнца, что роднило этих двух людей.

— Странно, — сказал Дорфу. — Ты взял себе имя Свобода и до сей поры был пленником своих демонов. Наша столица именуется Независимостью, однако наше государство — сплошное переплетение зависимостей. Даже чистота воды — это парадокс, ибо пить ее можно, лишь когда она химически нечистая. Чтобы избавиться от голода, люди отдали частицу себя племени. Чтобы бороться против угнетения, люди вынуждены объединяться в армию, став тем самым, по мнению некоторых, менее свободными, чем прежде. Свобода — это как одеяло: если натянешь до подбородка, оголишь ноги.

— Ты, возможно, хочешь сказать, — предположил пленник, — что свобода, как все, целенаправленна. Один из журналов, который бросил Эзана, «Лэ меканик попюлер», по-моему, так он называется, уверяет своих доверчивых читателей, что все быстро движется в том или ином направлении, даже Вселенная, по которой мы измеряем движения Земли и Солнца, тоже движется в направлении какой-то немыслимой цели. До чего же чудесно, мой президент, остановиться в своем движении и почувствовать, как божественная инерция толкает тебя вперед!

— Должно быть, ты слышал ток своей крови. Ветер не чувствует ветра. Следовать воле Аллаха — значит вкусить полнейший покой. Однажды в процессе моей подготовки в качестве участника системы принуждения я прыгнул с парашютом, ожидая почувствовать смятение, а вместо этого почувствовал неизъяснимый покой, видя, как Земля поднимается мне навстречу, предлагая в качестве подноса верхушки деревьев, разветвления своих высохших рек, звездоподобные точечки своих стад и соломенные крыши, с которых вился, как извивался и я, дымок от приготовляемой пищи. Это было под Собавилем, и я заметил, как опасно узка дорога, ведущая из казарм в столицу. Став исполняющим обязанности министра внутренних дел, я прежде всего превратил эту дорогу в четырехполосное шоссе. В нашем правительстве, которое находится в младенческом возрасте, связь между главой государства и системой принуждения должна быть самой тесной. Будучи президентом, ты, пожалуй, должен был включить в свои странствия Собавиль.

— У меня есть вкус к битве, — признался Эллелу, — но не к принудительному camaraderie[[77]](#footnote-77), к юмору отхожих мест в казармах мирного времени. Когда мужчины собираются вместе, возникают нездоровые испарения. Если я свободен, то когда могу уйти отсюда, господин президент?

Слегка пожав прагматически плечами, Дорфу поднял изящно лежавшие на коленях руки.

— Когда ты сам ощутишь себя свободным.

— Я хотел бы попытаться сделать это прямо сейчас, — сказал я. Главным препятствием было впечатление, что он нуждается во мне, а это, как я понял, было заблуждением.

Дорфу улыбнулся.

— Не забудь анзад Шебы. — И добавил: — Тебе следует записать некоторые из твоих песен.

— Пенсия — она будет выплачиваться в лю или в менее химерической валюте?

— Исходя из проектируемого урожая земляного ореха мы думаем сделать лю конвертируемой валютой и пустить его в обмен по плавающему курсу. Однако если ты предпочитаешь, чтобы тебе платили в долларах...

— В долларах?! — воскликнул Эллелу, вспыхнув, словно угасшие уголья от дыхания вечернего бриза. — Этим зеленым дерьмом, которым затянут гниющий пруд капитализма, который украл наших священных орлов и наши погруженные в задумчивость пирамиды, этой бумажной желчью, которую выплевывает осьминог! Платите мне во франках!

Дорфу кивнул — верхушка его фески мелькнула фиолетовым кружком, пролетев как НЛО в горизонтальных лучах угасающего света. Четырехцветная фотография девочки и некоего черного мужчины, застывшего, приподняв ногу, на ступеньке лестницы, которую Эдуму в свое время вставил в роскошную рамку, была из нее вынута, рамку украли, так как она была из золота, а снимок заткнули на прежнее место. И сейчас он заколебался, когда призыв к вечерней молитве проник в окно с зеленым подоконником.

Вилла Ситтины была как большой цветок — она вся заросла олеандрами, полевым хвощом, розами гибискус и свинчаткой, которые обильно цвели в нашем гостеприимном климате. Ее самой не было дома, хотя из него доносились голоса ее ссорившихся детей и ностальгические мелодии рока с пластинок. Я заглянул в окно. Ее «Хорошо темперированный клавир» собирал пыль на клавесине, раскрытый на фуге, чьи пять полутонов загнали ее в угол. На дальней стене по-прежнему висел наш Шагал. Я уже повернулся уходить, когда из утреннего тумана, из тени каштана с пышной листвой появилась Ситтина в голубом спортивном костюме, волосы ее уже не были зачесаны назад и заколоты рыбными хребтами, а коротко острижены, шапочкой накрывая голову. В беге ноги ее казались кривыми, как у бегунов, с голенями, повернутыми вовнутрь, чтобы ступни могли передвигаться словно по невидимой прямой.

— Феликс, — обратилась она ко мне, почти не задыхаясь и продолжая бежать на месте, — почему... ты... в деловом костюме с жилетом?

— Это тебе дают, когда выходишь из тюрьмы, — сказал я ей. — А в костюме нищего тебя снова арестуют. Правительство объявило нищенство несуществующим. Пусть долго здравствует Дорфу! Смерть экстремистам, как правым, так и левым!

— Не... смеши меня, — сказала она, — а то... я начинаю задыхаться. Такой восторг... когда ты... набираешь скорость. Я похудела... на пять фунтов. К несчастью... они все ушли с задницы... а не с живота.

— Это из-за возраста, — сказал я ей.

— Я думала... ты... испарился.

— Смещен, — сказал я. — Мы не могли бы войти в дом? У меня голова начинает болеть от твоей раскачки.

— Мне предложили работу — вести занятия пластической гимнастикой для рабочих отрядов, которые создаются в лагерях для беженцев в Аль-Абиде.

— И ты хочешь этим заняться?

— Нет. Ты же меня знаешь. Я терпеть не могу быть связанной. Но мне нужны лю... с тех пор как ты перестал быть диктатором.

Она не только подстриглась, но и уменьшила свою сопротивляемость ветру, заменив большие кольца, которые носила в ушах, на маленькие агатовые сережки. В ее узком черепе тутси не было угловатости, как нет углов у носа яхты, разрезающего волны, как у профиля Нефертити в океанах времени. Ситтина показала мне свой профиль, бросив через плечо:

— Заходи!

И, отбросив косматую ветку перистого бамбука, потянула на себя разбухшую входную дверь.

— В доме ералаш, — извинилась она. — Последняя моя помощница получила непыльную работенку в Бюро по деплеменизации. Все туареги стали охранниками у людей, разбогатевших во время голода, а правительство пытается переучить жителей трущоб и сделать из них кочующих пастухов, потому что кочевники не нарушают экологию. Не возражаешь, если я быстро приму душ? А то у меня сводит ноги.

Ее дети, серьезные оценщики череды любовников, окружили меня и с любопытством рассматривали. У одного ребенка были оранжевые волосы, что мне приятно было видеть, так как это указывало на кельтскую кровь, которая течет в его жилах.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Эллелу.

— А ты знаешь, что это значит?

— Это значит солидарность.

— Нет, ты не прав. Это значит свобода.

— А мне все равно, — сказал ребенок и повернулся на пятках, чтобы скрыть задрожавшую губу.

А братья и сестры налетели на него, видя, как он старается сдержать рыдания. Они пихали его и свалили, набросившись, как гиены на покалеченную антилопу, но когда они отступили, он смеялся. Значит, я правильно поступил, не вмешавшись. В свалке я насчитал шесть голов, что потянуло бы по новой для меня арифметике социального обеспечения на две полные пенсии. Жилет обтягивал мой живот как бы в предвкушении буржуазного комфорта. Девчушка чуть побольше кудрявого рыжика, с нилотическим разрезом глаз, в передничке от «Гуччи», спросила меня:

— Ты любишь мою мамочку?

— Я восхищаюсь тем, какая она скорая, — сказал я.

— Ты будешь заботиться о нас?

Прежде чем я успел выступить с еще одной уверткой, сквозь гостиную пробежала Ситтина, мокрая и голая — ее длинные, сужающиеся к коленям ляжки, ее фасолеобразные ягодицы.

— Чертовы полотенца в сушилке, — крикнула она через плечо. — Скажи детишкам: пора идти на автобус.

Один из детей смотрел в окно, в просвет между цветами; он крикнул, и остальные побежали за своими книжками, своими аспидными дощечками, своими переносными компьютерами, своими тетрадками на спиралях и пустыми кассетами. Я помог им выйти за дверь, разобраться со сваленными в кучу резиновыми сапогами и пристававшими к ним любимыми обезьянками. Автобус, импортированный желтый автобус, перекрашенный в национальный зеленый цвет, подкатил вперевалку к тенистому уголку и стоял, пока не вместил всех этих нуждающихся в нем, шумливых существ. Даже трехлетка ходила в группу вышивания бисером в Монтессори. В дополнение к салят ас-суб, которой я отметил восход солнца, я вознес про себя благодарственную молитву за бесплатное образование, краеугольный камень проведения организованных совместных действий и благополучия в стране.

Ситтина вернулась в гостиную, по-прежнему голая — острые грудки, большой треугольник мягких кудрявых волос.

— В сушилке их тоже нет, — сказала она. — Я вспомнила, что повесила их на веревку, чтобы не тратить электричество. Но на улице теперь ничто не высыхает. Я пошла бы посмотреть, но какой-нибудь паршивый американский турист может меня снять. Они, право, *такие* ужасные. Да и женщины на суке с этими длинными красными ногтями и голубыми волосами, подхваченными повязками, с этими надтреснутыми, пропитанными виски голосами. А западные немцы и того хуже — сплошные ремни, много жира и высокие сапоги. Помнишь, как я жаловалась на албанцев? Мне жаль, ведь ты был прав. А я не права. Следовало нам остаться в изоляции. В лавках нынче появились красивые вещи, но кому они по карману, кроме туристов? Под Центром Гиббса такие шикарные лавочки, но там всегда полно больных проказой. — Заметив, что я разглядываю ее, она крутанулась в этой комнате незавершенных округлостей и спросила: — Что ты подумал? Только не говори. Я знаю. Задница стала тощая.

Она, как всегда, опередила меня. Позже, когда я на подгибающихся ногах зашел в ванную, я обнаружил там множество полотенец, пушистых, чистых и очень белых, белых, как только что выпавший снег, как соль-сырец. А она, почувствовав эсхатологическую направленность моего визита, решила выступить в своем природном, традиционном костюме.

— Нет, не слишком тощая, — ответил я, ошеломленный ее вопросом. — В самый раз.

Я уже бывал ошеломлен — так был ошеломлен Ливингстон, очутившись в пасти льва, так бывает ошеломлен верующий выпавшей на его долю бедой — на протяжении этих страниц в самые критические минуты.

— И все же? — кокетливо спросила Ситтина, стоя в профиль, ее большой круглый лоб королевских тутси, безобидный и блестящий, выглядел не менее эротично, чем два полушария ее крепких ягодиц. Соски у нее были длинные и синие.

— И все же, — повторил Эллелу и добавил: — Мне пора.

— Снова в Балакские горы с Шебой?

— Нет.

— В Булубы с Кутундой?

— Думаю, что нет.

— На тот свет с Кадонголими?

— Это жестоко.

— В Штаты с Кэнди?

— Она уже уехала. Мы развелись. Никто из наших друзей этому не удивился: смешанные браки порождают много дополнительных стрессов.

— Любой брак — смешанный. Куда же ты теперь отправишься, бедный Феликс, и с кем?

— С тобой? Это просто наметка. Мы могли бы уехать куда-нибудь, где ты могла бы серьезнее заниматься живописью.

— Серьезные занятия — это, безусловно, не мой стиль, — сказала она, шагая на длинных ногах по своей длинной гостиной, утомленными жестами обеих рук указывая на волокнистые коричневые маски и дурно пахнущие сомалийские седла для верблюдов, которые, словно хоровод животных, озадаченно смотрели на ее поблескивающую мебель из стекла и поцарапанного алюминия. Среди этой африканы она развесила или расставила полотна, начатые с большим или меньшим энтузиазмом, но так и оставшиеся с пустыми углами и незаполненными очертаниями.

— Я просто не могу доканчивать начатое — после определенного момента они начинают на меня давить. В законченной картине есть что-то мертвое. Да и вообще в чем угодно законченном в этом климате. Может быть, так действуют пальмы и глиняные дома. Гнешь спину, а что имеешь в конце? Открытку с пейзажем из Тимбукту.

— На юге Франции, — заметил Эллелу, — очень живописные деревья.

Он шагнул к ней — она казалась такой эфемерной на расстоянии, и Ситтина откликнулась, шагнув к нему, шоколадная меж шоколадных стен, и легонько положила длинные руки на его плечи. Пучки волос под мышками, еще мокрые после душа. В углах губ следы усиков на уровне его глаз.

— Ты пахнешь, как человек, который чего-то хочет, — сказала она.

— Я хочу объединиться, — признался Эллелу.

— Давай попробуем объединить *нас* для начала.

Она по-прежнему ворковала, раздвигая ноги. Маты на полу, с которых они сбросили детские игрушки, показались им достаточно мягкими. Кровати — это для тубабов, чья кожа, взращенная мистером Якубом, не имеет упругого верхнего слоя. Эллелу возбуждало присутствие зрителей в виде пятизвездных олеандров за окном. Он — в ней, его член покоился меж ее точеных бедер, в руках — крепкие эллипсы под ними. Ситтина закатила глаза, как дикие ватжи, показывая налитые кровью белки, так что мебель и украшения стен виделись ей перевернутыми.

— Бог мой, сколько паковать-то придется! — вздохнула она. — И детям назначен прием у зубных врачей!

Добрые граждане Франции больше не таращатся на черных, разгуливающих по их проспектам. Их африканская империя, которую с присущей им страстью к абстракции они создали в самой пустынной части континента, немного дублировала их, подобно другим картографическим резервуарам, которые на протяжении столетия были окрашены чернилами европейских цветов, и выбросила в страну-родительницу струю черных дипломатов, студентов, рабочих и политических эмигрантов. Даже в Ницце, на Английской набережной, ставшей набережной Соединенных Штатов, появление черного, прилично одетого семейства среди шуршащей на пляже гальки и скрипа карандашей раздающих автографы молоденьких полуголых девиц, оставшихся от Каннского кинофестиваля, привлекает лишь мимолетный взгляд, который позволяет французу отложить в ящичек памяти еще одно aperçu[[78]](#footnote-78). Африка узаконена здесь своим искусством. Делакруа снял пенки с Магриба, а Пикассо вывез кубизм из Габона. Жозефина Бейкер, Сидни Бечет... noire est belle[[79]](#footnote-79).

Женщина — чрезвычайно шикарная: высокая, как модель, с чуть надменно поднятой головой и походкой, от которой так и переливаются ее радужные брючки. Мужчина с ней довольно невзрачный, не заслуживающий внимания, ниже ее ростом и в больших черных очках, скрывающих половину лица. Он не выглядит отцом многообразных детей, которые шагают с ними рядом. Судя по выправке, он, возможно, военный. А вот мальчики, глядя на их откормленный вид, никогда не будут солдатами, или если будут, то плохими. Девочки... у девочек могут быть самые удивительные судьбы: они могут стать танцовщицами, матерями, проститутками, хирургами, стюардессами, акробатками, агрономами, помощницами фокусников, любовницами, causes célébres[[80]](#footnote-80), любительницами загара, выцветающими фотографиями в альбомах памяти, богинями, промелькнувшими, как черные лебеди, в сверкающей опере, в накидке из шиншиллы, положив руку в перчатке на золоченые перила балкона и уже повернувшись, чтобы уйти. Язычники молятся женщинам. Душу писателя греет, когда он представляет себе будущее своих девочек. А вот о мальчиках он беспокоится. Он боится, что они могут упасть, став гражданскими жертвами в войне за право иметь больше и больше, которая, безусловно, охватит нашу планету.

Семейство, явившееся с известного лишь по слухам континента, живет за Карабаселем на улице Святого Клемента, где улицы круто идут вверх, а с крытых плиткой садовых стен свисают бугенвиллеи и лежат на них, ржавея, забытые ножницы. За этими стенами они усердны, экономны, счастливы как супруги, умеренны, оптимистичны, динамичны, более или менее здоровы и современны. Женщина, судя по слухам, рисует. Дети, как утверждают соседи, учатся играть на скрипке, анзаде, кларнете, какаки, фортепьяно и санзе. Маленького черного мужчину часто видят сидящим за круглыми белыми столиками на набережной или в нескольких кварталах от отвлекающего его внимание Средиземного моря, усеянного яхтами, за столиками уличных кафе на эспланаде Генерала де Голля с текущей по ней рекой автомобилей. У его локтя всегда стоит либо фанта, либо кампари с содовой, либо выжатый лимонный сок, приправленный анисовой водкой, — такое впечатление, что этот человек вечно страдает от жажды. А другой его локоть прижимает стопку бумаг. Он что-то пишет, мечтая за темными очками среди выхлопных газов «веспы», вспоминая прошлое, чтобы вновь это пережить.

Известия из Куша почти не доходят сюда. Франция стала чем-то вроде того, каким когда-то был Китай, — островом первоклассной цивилизации, самодовольным, загнивающим, глухим. Какое ей было дело до переворотов, гладко происходящих в песчаных краях, где некогда ее вторые сыновья в небесно-голубых шапочках загоняли синекожих туарегов глубже и глубже в дюны? На конференции ОПЕК в Женеве среди министров нефти, оказавшихся в заложниках, вынужденных слушать разглагольствования австрийского недоучки из церковной школы и его тощей подружки, значилось имя Майкла Азены (неправильно написанное) из Куша. Он выжил, правда, революционеры разбили его часы. В других же случаях Куш ассоциируется с непонятным запахом, напоминающим корм из земляного ореха, или зеленую полосу на предзакатном небе возле Биота, или вкус апельсина в «Куэнтро», или тень от зонта, на котором написано «Чинзано» и который вызывает в памяти, когда морской бриз треплет его края с бахромой, тень в палатке, самом эротическом в мире приюте. Куш существует вокруг нас в этих аллюзиях, в этих закодированных посланиях, но реальности сегодняшнего дня — косое умеренное солнце, сенсационная близость моря — превращают все это в хрупкие остатки кораблекрушения, которые плавают на поверхности воды, и их становится все меньше и меньше по мере того, как волны разбиваются, шипя, отступают и скользят по гальке. Все вчера таким образом уходят на дно, и из виду исчезает то, что в свое время было у нас под ногами. «Как он сюда попал?» — возможно, спросит себя розовощекий прохожий, оскорбленный озабоченным выражением лица этого негра, который сидит среди красот их города, уткнувшись в свои cahiers[[81]](#footnote-81), где он выводит длинные нити с завитками, похожие на длинные цепи случайностей, приведших к нашему появлению на свет, к тому, что мы сидим сейчас на вершине мира, и водяные лилии скрывают массу наших корней. «Те, кто ушел до них, тоже замышляли, но Аллах владеет каждым помыслом: Он знает пустыни каждой души». Человек счастлив — он спрятан. Дует морской бриз — официанты не замечают его. А он пишет свои мемуары. Нет, мне следует выразиться точнее: полковник Эллелу, говорят, работает над своими мемуарами.

1. Сухой восточный ветер. — *Здесь и далее примеч. пер.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Расстройство желудка (*фр.*). [↑](#footnote-ref-2)
3. Черная (*фр.*). [↑](#footnote-ref-3)
4. Воробей в руке лучше голубя на крыше (*нем.*). [↑](#footnote-ref-4)
5. Суры из Корана в переводе Г. Саблукова. [↑](#footnote-ref-5)
6. Вместо (*фр.*). [↑](#footnote-ref-6)
7. Пожалуйста, никакого алкоголя: Бог нашего народа запрещает это (*фр.*). [↑](#footnote-ref-7)
8. Да здравствует... раздавить... (*фр.*) [↑](#footnote-ref-8)
9. Одну религиозную основу (*фр.*). [↑](#footnote-ref-9)
10. Великолепного отдыха (*фр.*). [↑](#footnote-ref-10)
11. Разрядка (*фр.*). [↑](#footnote-ref-11)
12. Машины (*фр.*). [↑](#footnote-ref-12)
13. Трудолюбие, экономию, умеренность, супружескую верность, терпение, оптимизм, динамизм и современность (*фр.*). [↑](#footnote-ref-13)
14. Рынок (*араб.*). [↑](#footnote-ref-14)
15. Мираж (*фр.*). [↑](#footnote-ref-15)
16. Никакого шика (*фр.*). [↑](#footnote-ref-16)
17. Изделиями (*фр.*). [↑](#footnote-ref-17)
18. Научного социализма (*фр.*). [↑](#footnote-ref-18)
19. Нежелательный элемент (*фр.*). [↑](#footnote-ref-19)
20. Аптеку (*фр.*). [↑](#footnote-ref-20)
21. Прошу прощения (*фр.*). [↑](#footnote-ref-21)
22. Понятно (*фр.*). [↑](#footnote-ref-22)
23. Мило (*фр.*). [↑](#footnote-ref-23)
24. «Охота на единорога» (*фр.*). [↑](#footnote-ref-24)
25. Реальной политики (*нем.*). [↑](#footnote-ref-25)
26. Черный шоколад (*фр.*). [↑](#footnote-ref-26)
27. Слащавостью (*фр.*). [↑](#footnote-ref-27)
28. Презрительное прозвище американцев. [↑](#footnote-ref-28)
29. Образу (*нем.*). [↑](#footnote-ref-29)
30. Зонтиков (*фр.*). [↑](#footnote-ref-30)
31. Анисовой водкой (*фр.*). [↑](#footnote-ref-31)
32. Присаживайтесь (*фр.*). [↑](#footnote-ref-32)
33. Ужас! (*фр.*) [↑](#footnote-ref-33)
34. Мы пьем писанье (*фр.*). [↑](#footnote-ref-34)
35. Горючего (*фр.*). [↑](#footnote-ref-35)
36. «Олд» значит «старый». Имеется в виду автомобиль «олдсмобил». [↑](#footnote-ref-36)
37. Сержантов (*фр.*). [↑](#footnote-ref-37)
38. К оружию! К оружию! Желтые черти! (*фр.*) [↑](#footnote-ref-38)
39. Так иногда называют солдат в США. [↑](#footnote-ref-39)
40. Так иногда называют солдат в США. [↑](#footnote-ref-40)
41. Имеется в виду американский президент Эйзенхауэр. [↑](#footnote-ref-41)
42. Прощайте, Соединенные Штаты! (*фр.*) [↑](#footnote-ref-42)
43. Звук и свет (*фр.*). [↑](#footnote-ref-43)
44. Я — Эллелу (*фр.*). [↑](#footnote-ref-44)
45. Я знаю, знаю (*фр.*). [↑](#footnote-ref-45)
46. Господь с тобой (*араб.*). [↑](#footnote-ref-46)
47. Я исчезаю (*араб.*). [↑](#footnote-ref-47)
48. Революция — сейчас (*исп.*). [↑](#footnote-ref-48)
49. Свободный Квебек (*фр.*). [↑](#footnote-ref-49)
50. Малой смерти (*фр.*). [↑](#footnote-ref-50)
51. Да здравствует народ и братство социалистов и исламистов! Раздавите омерзительных капиталистов с их монополиями и очень, очень разложившихся! (*фр.*) [↑](#footnote-ref-51)
52. Я вас не знаю (*араб.*). [↑](#footnote-ref-52)
53. Господь проклинает тебя (*араб.*). [↑](#footnote-ref-53)
54. Основа всех ортодоксальных религиозно‑философских систем Индии. Время создания — VII—III вв. до н. э. — XIV—XV вв. н. э. [↑](#footnote-ref-54)
55. Закон — кадры (*фр.*). [↑](#footnote-ref-55)
56. Душечка (*фр.*). [↑](#footnote-ref-56)
57. Мой милый Феликс (*фр.*). [↑](#footnote-ref-57)
58. Открыто с 9 ч. до 12 ч., с 14 ч. до 17 ч. Входные билеты по 50 лю (*фр.*). [↑](#footnote-ref-58)
59. Голова короля (*фр.*). [↑](#footnote-ref-59)
60. Согласно принятому у шиитов учению — временный правитель, который установит справедливый порядок во всем мире. [↑](#footnote-ref-60)
61. Насколько я понимаю (*фр.*). [↑](#footnote-ref-61)
62. Разрядки (*фр.*). [↑](#footnote-ref-62)
63. Исчезнувшей (*фр.*). [↑](#footnote-ref-63)
64. Уже виденным (*фр.*). [↑](#footnote-ref-64)
65. Аскеты (*араб.*). [↑](#footnote-ref-65)
66. Африканского свободного сосисочного дома (*нем.*). [↑](#footnote-ref-66)
67. Помеха (*фр.*). [↑](#footnote-ref-67)
68. Смыслу существования (*фр.*). [↑](#footnote-ref-68)
69. Закон — кадры (*фр.*). [↑](#footnote-ref-69)
70. Заморской Франции (*фр.*). [↑](#footnote-ref-70)
71. «Счастливые сороковые» (*фр.*). [↑](#footnote-ref-71)
72. Выжатый лимонный сок (*фр.*). [↑](#footnote-ref-72)
73. Подпятник (*фр.*). [↑](#footnote-ref-73)
74. Игрушки (*фр.*). [↑](#footnote-ref-74)
75. Архитекторы экономического чуда (*нем.*). [↑](#footnote-ref-75)
76. Дело (*фр.*). [↑](#footnote-ref-76)
77. Товариществу (*фр.*). [↑](#footnote-ref-77)
78. Замеченное явление (*фр.*). [↑](#footnote-ref-78)
79. Черное прекрасно (*фр.*). [↑](#footnote-ref-79)
80. Знаменитостями (*фр.*). [↑](#footnote-ref-80)
81. Тетрадки (*фр.*). [↑](#footnote-ref-81)